

КИР БУЛЫЧЕВ

ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ



КИР
БУЛЫЧЕВ

ОБОЗРИМОЕ
БУДУЩЕЕ

КИР БУЛЫЧЕВ



ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ



Москва. 1995

**ББК 84Р7
Б90**

**Кир Булычев
(Игорь Всеволодович Можейко)**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Серия «Взрослая фантастика»**

Обозримое будущее

Булычев Кир
Б90 Полное собрание сочинений. Серия «Взрослая фантастика». Т.7: Обозримое будущее.— М: «Хронос», 1995.—416 с.
ISBN 5—85482—014—5

В данный том серии «Взрослая фантастика» полного собрания сочинений Кира Булычева включены циклы рассказов, написанных в 70—90-х годах: «Усилия любви», «В одной лаборатории», «Рассказы из письменного стола» и «Рассказы последних лет».

ISBN 5—85482—014—5

ББК 84Р7
© «Хронос», 1995
© Кир Булычев
© К. Сошинская

От автора

Этот том составлен в основном из рассказов, написанных с конца семидесятых годов и по сей день. То есть за годы, когда я, подчиняясь закону писательской эволюции, все реже обращался к рассказам и все чаще старался оторвать от земли штангу романа. А так как за полтора десятка лет изменился и я сам, и окружающая действительность, то том получается неоднородным. Поэтому, дабы не вводить читателя в растерянность, я позволил себе разделить его на четыре части, предпослав каждой из них краткое вступление.

Рассказы, составившие первую часть тома, увидели свет в восьмидесятые годы. Это традиционная фантастика, как я ее всегда понимал. В этих рассказах негласно присутствует мой внутренний цензор, который не рекомендует мне браться за темы неблагодарные, запретные и безнадежные. То есть в определенной степени они подчинены старинному принципу: «Да и нет не говорите, черного и белого не выбирайте... Вы поедете на бал?»

Второй раздел близок по составу и настроению к первому. Он выделен в особый небольшой цикл ввиду своего происхождения. Как я подробнее расскажу ниже, рассказы об одной лаборатории — память о моей неудачной и растянувшейся на несколько лет попытке создать фантастический роман, главами которого они и должны были стать. Но за отсутствием романа не стали.

Совсем иные рассказы включены в третью часть настоящего тома.

Это те рассказы, которые писались не для печати. Не будучи по натуре борцом или диссидентом, я оста-

вался лояльным гражданином Страны Советов, но время от времени, когда очень хотелось написать о том, о чем и думать не следовало, я поддавался этому желанию, писал рассказ или повесть и прятал ее подальше в ящик стола или под стол. Некоторое число этих опусов бесследно исчезло, иные отыскивались уже в наши дни и увидели свет в журналах или газетах, третьи только сейчас вылезли на белый свет. Сначала я полагал интересным составить из них отдельный том, но потом сообразил, что получится том длиной в четверть века, настолько разный по произведениям, что читателю придется все время перестраиваться и настраиваться. Ведь я всегда был уверен, что коммунизм в нашей отдельно взятой стране меня переживет и моим рассказам света не видать. Так что они остались как бы незаконнорожденными даже сегодня, когда времена стали либеральнее и коммунизм временно отошел в сторону.

Наконец, четвертый раздел этого тома включает в себя рассказы самых последних лет, когда все можно, но далеко не все хочется. К сожалению, к писанию рассказов уже не тянет, пишу я их редко, тем более что в пожилом возрасте трудно переходить в новую, вполне фантастическую (с позиций двадцатилетней давности) реальность и отыскивать в ее фантазмагии определенную систему и парадоксальные тенденции. Поэтому зачастую мои последние рассказы могут показаться недостаточно фантастичными. Или сиюминутными, фельетонными. Это происходит потому, что действительность меняется со скоростью газетной заметки, а в газетной заметке скупо сообщается о том, что Америка провалилась в океан, а Мордовия забросала атомными бомбами Бангладеш. И никто особенно не удивляется...

Итак, приглашаю вас сначала познакомиться с рассказами, написанным десять-пятнадцать лет назад, то есть в доисторическую эпоху.



УСИЛИЯ ЛЮБВИ

ШУМ ЗА СТеноЙ

Елизавета Ивановна отлично помнила темный длинный коридор на послевоенном Арбате, над зоомагазином, комнату, в которой умещались она сама, Наташа, Володя и мама, запахи шумной коммунальной кухни, выползающие в коридор, утренний кашель соседа, причитания соседки Тани и хриплый рокот бачка в уборной. Тогда собственная кухня казалась недостижимым символом житейской независимости.

Квартира на Арбате давно уж провалилась в воспоминании, после нее были другие, отдельные, но почему-то в последние месяцы Елизавете Ивановне снилась именно та, арбатская, гулкая кухня. Может быть, потому, что впервые в жизни Елизавета Ивановна осталась одна, если не считать пятилетней Сашеньки — внучки. Наташа, оставив Сашеньку, уехала на полгода к мужу.

Нет, не по кухне тосковала Елизавета Ивановна — просто в такой форме ютилась в ней грусть по соседскому общению, по людям.

Обычно в новых домах быстро создаются отношения некоторой близости (у вас соли щепотки не найдется?), ограниченные лестничной площадкой. Две двери по одну сторону лифта, две — по другую. Но как назло: на той стороне одна квартира так и не занята, наверное, держали в резерве, а во второй жила странная молодая чета. Эти молодожены вечно куда-то спешили, не ходили, а мелькали, не говорили, а кидались междометиями — то в кино бегут, то в туристский поход на байдарках. Другой сосед был фигурой таинственной. Он так тихо крался к своей двери, что Елизавета Ивановна не была уверена, всегда ли он здесь живет или только изредка заходит. Хотя, вернее всего, он скрывался дома: если зайти в ванную, то слышно, как за стенкой у соседа раздается шум. Иногда

похоже на завывание ветра, иногда словно водопад, иногда как будто море накатывается на берег, а чаще всего похоже на станок. Возможно, сосед был кустарем. хотя доброй Елизавете Ивановне хотелось, чтобы он был изобретателем.

Вечером раздался звонок в дверь. Елизавета Ивановна опрометью бросилась к двери, ложку уронила, чуть не разбудила Сашеньку. Ей показалось, что это приехал Володя, соскучился по матери. Может же так случиться?

Оказалось — сосед. В халате, сандалии на босу ногу.

— Ах! — сказал он, уловив на живом лице Елизаветы Ивановны разочарование. — Не обессудьте. Здравствуйте. И еще раз простите за беспокойство. У вас электрического фонарика не найдется?

Лицо у него было загорелое, почти молодое, улыбочливое. Но когда улыбка сходила — как сейчас. — становилось оно полосатым, как у дикого индейца. Получалось так оттого, что морщины на нем, спрятанные при улыбке, расходились и там, внутри, оказывалась белая кожа. Это значит, что сосед часто улыбается.

— У меня нет фонаря.

— Нет фонаря. — Сосед улыбнулся шире прежнего. — Как же так, нет фонаря? А я вот свой посеял. Ну вы уж меня извините...

Вроде бы ему надо уйти, а он медлил, топтался в дверях, словно ждал, что его пригласят. А Елизавета Ивановна так была разочарована, что это не Володя, а сосед, что и не пригласила заходить.

Сосед ушел. Елизавета Ивановна вернулась в комнату. Сашенька спала. Неладно получилось — сама хотела дружить с соседями, а когда один пришел, почти прогнала.

На следующий день, когда вела Сашеньку из детского сада, Елизавета Ивановна встретила соседа у подъезда. Тот спешил домой с удочками через плечо.

— С рыбалки? — спросила весело Елизавета Ивановна.

Сосед как-то не сразу сообразил, что к чему. Поглядел на удочки, пожал плечами, а Елизавета Ивановна уже поняла, что сморозила глупость, — кто же ходит на рыбалку без ведра или бидона, чтобы складывать пойманную рыбу?

— Нет, — сказал сосед, — вы уж простите, я на рыбалку попозже пойду.

Они задержались у подъезда, пропуская друг дружку вперед. Потом Сашенька обогнала взрослых, побежала к двери.

— Ну иди же, бабушка!

— Это ваша? — спросил сосед.

— Внучка, — сказала Елизавета Ивановна. — Ей уже шестой год.

— Никогда бы не подумал, что у вас внучка. Вы так хорошо сохранились. Удивительно просто, да, удивительно...

— А вы заходите к нам как-нибудь, — сказала неожиданно для себя Елизавета Ивановна. — Чаю попьем...

— Ну что вы, как можно, — не то обрадовался, не то огорчился сосед. — Я же человек занятой, но спасибо.

Так Елизавета Ивановна и не поняла, ждать гостя или нет.

На следующий день сосед позвонил часов в восемь вечера. В руке раскачивался пластиковый пакет, в котором вздрагивала сильная серебристая еще живая рыбина.

— Порыбачили? — обрадовалась соседу Елизавета Ивановна. — Ах, какую большую поймали!

— Это вам, — сказал сосед. — Я вот наловил и принес.

— Ну что вы! — смутилась Елизавета Ивановна. — Ну зачем так? Нам же ничего не нужно. Рыба денег стоит.

Сосед тянул к ней руку с пакетом, пакет раскачивался, и как дальше вести себя — было неясно.

— Нет, вы не подумайте, — совсем смутился сосед. — Я, если желаете, с вас деньги возьму, как в государственном магазине.

— Ну конечно. — Елизавета Ивановна поняла, что виновата, обидела человека — ну что стоило принять подарок соседа, человек хотел приятное сделать, а она в фонарике отказала, а теперь вот вынудила человека торговать подарками... Думая так, Елизавета Ивановна не могла уже отступить от содеянного и спросила вслух: — А сколько она весит?

И думала лихорадочно: ну куда же я кошелек положила? Где же этот проклятый кошелек? А там деньги есть? Получка только завтра...

— Не беспокойтесь, — засмеялся сосед; опомнился, — вы потом взвесите. И меня информируете.

Так, смеясь, он прошел на кухню, положил рыбину в таз, приготовленный для стирки, поглядел на часы и откланялся.

— Дела, — сказал он. — Дела меня ждут.

Вечером, позже, Елизавета Ивановна стирала в ванной, а за стеной шумел сосед — видно, работал. Ууух-пата-там, уу-ух пата-там. Она пошла спать, а он все трудился.

Назавтра Елизавета Ивановна приготовила рыбу, купила бутылку вина и торт «Сказка». Потом, уложив Сашеньку, набралась смелости, сама позвонила в дверь соседу.

Сосед долго не открывал, она уже решила, что его нет дома, потом отворил на ладонь, проверил, она ли, после этого скинул цепочку.

— Чего? — спросил он чужим голосом.

— Я, простите, вашу рыбу поджарила, думала, может, вы зайдете... Но, видно, не вовремя.

— Приду. — Сосед захлопнул дверь.

И в самом деле пришел через полчаса. Смоченные водой волосы гладко зачесаны, приличный и вежливый. Денег за рыбу не взял, отмахнулся, хоть Елизавета Ивановна на всякий случай подсчитала и положила на буфет в конверте. Сказал:

— Считайте, что оплатили мне приготовлением пищи.

Выражался он, как заметила Елизавета Ивановна, скучно, что бывает у пожилых людей, много имевших дела с казенными бумагами.

— Я, прошу прощения, не успел представиться, — сказал он, проходя в комнату. — Николин, Петр Петрович. О вас все знаю, в домоуправлении спросил еще при переезде. Полезно знать кое-что о биографии соседей по этажу. А вдруг какой бандит или хулиган попадется, правильно? А у вас здесь чисто, красиво.

Собирая на стол, Елизавета Ивановна рассказывала Николину о своей жизни, тот слушал внимательно, гулял по комнате, разглядывал книги и вещи, а когда Елизавета Ивановна вышла на кухню, замер на месте, ожидая ее возвращения, — проявлял деликатность.

— А я вот вам крайне признателен, — сказал он, снимая с полки какую-то книгу. — Будучи человеком одиноким, я вынужден питаться в предприятиях общественного питания или готовить себе дома, к чему я плохо приучен. У вас научная литература, я погляжу.

— Это не мои книги, зятя библиотека.

— Надо читать, следить за новинками. В моей трудной жизни я был лишен возможности достойного образования, но сейчас на досуге читаю журналы, слежу. Без образования в наши дни чувствуешь себя бессильным перед силами природы.

— Правильно, — отозвалась Елизавета Ивановна, ставя на стол рыбу, — меня иногда просто ужас берет перед всеми этими бомбами и ракетами. Мои-то в Алжире. Далеко.

— Если что случится, — сказал Николин серьезно, — то вы и не узнаете. Война будущего — дело минутное. Если некуда скрыться.

— Может, вы бутылку откроете? — спросила Елизавета Ивановна, чтобы перевести разговор на другое.

— С другой стороны, — продолжал Николин, открывая бутылку и разливая портвейн по рюмочкам, — для человечества в целом куда серьезней проблема мироздания. И я беру именно на таком уровне. Вы позволите мне иногда пользоваться вашей библиотекой?

Ушел он поздно, довольный, на прощание обещал позвать к себе.

— Как кончу одну работу, — сказал он, — обязательно позову.

Елизавета Ивановна думала, что он тут же заснет, все-таки почти в одиночестве выпил целую бутылку портвейна, но Николин сразу принялся за работу. Пока Елизавета Ивановна мыла посуду, она слышала, как шумит сосед за стеной — уу-х та-та-там, уу-ух та-та-та...

С тех пор Николин зачастил к Елизавете Ивановне. То за солью забежит, то телевизор посмотреть — своего у него не было, то пуговицу пришить попросит. А Елизавета Ивановна была рада. Да и сам он всегда был готов оказать услугу. Раз как-то заходил в садик за Сашенькой, когда у Елизаветы Ивановны было профсоюзное собрание, иногда помогал по хозяйству — прибил полку на кухне, за-

клеил окна. И все это он делал с улыбкой, легко, разговорчиво. А больше всего он смеялся, если приезжал с рыбалки, приносил в подарок рыбу.

— Ну что, — спрашивал он, — Лиза, будешь мне платить, как в государственном магазине?

Знала теперь Елизавета Ивановна о жизненном пути соседа — учился, служил, овдовел, одинок. Были у него увлечения — рыбалка, мечта купить машину и поехать на ней на юг. Была и какая-то тайна, связанная с этим постоянным шумом за стеной, но об этой тайне Петр Петрович молчал. А Елизавета Ивановна, разумеется, и не интересовалась: захочет — сам расскажет.

Книжки, которые брал Николин, он всегда возвращал вовремя, но был ими недоволен.

— Нет, не то, — повторял он, — не то. Некоторые важные проблемы они просто обходят, так сказать, игнорируют.

И может быть, такая мирная соседская жизнь текла бы еще долго, если бы не случай.

Как-то Елизавета Ивановна была в главке, ездила вместо курьера за бумагами. А там рядом рынок. И она решила купить зелени. Она не спеша шла по рынку и наткнулась на соседа, который с утра уехал на рыбалку. Перед ним грудой лежали рыбыны и еще бумажка: «1 кг — 2 руб.».

Елизавета Ивановна так смутилась, что готова была сквозь землю провалиться. Не потому, что торговля на рынке казалась ей постыдной, — ничего такого постыдного в торговле нет. У нее у самой двоюродная сестра продавала на рынке цветы и соленые грибы. Только не положено это было делать Петру Петровичу, солидному человеку, пенсионеру. И ясное дело — он сам это понимал. Иначе бы давно сказал об этом соседке.

Елизавета Ивановна быстро повернулась и поспешила с рынка, надеясь, что Николин ее не увидел.

Но Николин все-таки ее заметил. Вечером заявился.

— В смысле, — сказал он, — значит, так...

Сашенька капризничала, не хотела раздеваться, да и что разговаривать — каждый живет, как хочет.

Николин мялся в дверях, то улыбался, то хмурился.

— Вы не думайте, вам я всегда принесу бесплатно.

— Ах, — сказала Елизавета Ивановна, помогая Сашеньке снять колготки, — зачем вы об этом...

— Я, поймите, ценю вашу деликатность, вы же меня на рынке видели за занятием, которое, с вашей точки зрения, унижает человеческую гордость, но, с другой стороны, плоды моего честного труда могут иметь реализацию законным путем, не так ли?

— Да не видела я вас на рынке! — воскликнула Елизавета Ивановна, полностью выдавая себя. После таких слов ясно было — видела.

— Нет, не отпирайтесь, — говорил Петр Петрович. — Зачем же эта излишняя скромность? Я же за вами давно наблюдаю и понимаю, как вы скромны и благородны.

— Ну что вы!

— Более того, я давно хотел вам открыться, потому что человеку надо найти родственную ему и доверчивую душу. Думаете, легко мне существовать в таком моральном одиночестве?

Николин был взволнован. Елизавета Ивановна его пожалела, велела пройти в большую комнату и подождать, пока она кончит возиться с Сашенькой. Сашенька долго не засыпала, пришлось читать ей сказку, а Николин маялся, ходил за стеной, вздыхал, шуршал страницами в книгах.

Когда Елизавета Ивановна возвратилась к нему, он был на грани нервного взрыва.

— Все! — бросился он к ней. — Я решил. Я сейчас же вам все открою. Именно вам, понимаете? Мне же легче будет, устал я таиться, вы меня понимаете? — и потащил ее к дверям.

— Что вы? Куда?

— Ко мне! Я же приглашал, вы помните, что приглашал?

— Но не сейчас же, десятый час.

— Именно сейчас. Может, завтра я расскажусь.

— Но как-то неудобно, к одинокому мужчине... (Что я говорю, что я говорю, старая дура!)

Он все-таки выволок Елизавету Ивановну в коридорчик перед квартирами, не выпуская ее руки. Другой рукой, изгибаясь, как собака в чесотке, начал шарить по

карманам, разыскивая ключи. И тут Елизавета Ивановна даже засмеялась и сказала:

— Отпустите меня, не убегу, подожду.

— Спасибо. — Он с облегчением отпустил ее руку, сразу нашел ключи и открыл дверь — три замка по очереди.

— Добро пожаловать. Ну заходите же, дверь закрыть надо.

— Как бы Сашенька не проснулась.

— Я вас долго не задержу. Поглядите и обратно.

Он пошел первым к двери в комнату, из-за которой доносился шум, столь давно знакомый Елизавете Ивановне, распахнул дверь, и шум сразу усилился, и оттуда, из-за двери, пахнуло свежим теплым воздухом, влагой и запахом морской соли. Свет в двери был не электрический, а закатный, словно там, в комнате, садилось солнце.

И вдруг Елизавета Ивановна оробела.

— Нет, — сказала она, — в следующий раз.

— А ну! — Полуобняв соседку за плечи, Николин сильно подтолкнул ее к двери, и она вынуждена была подчиниться и переступить через порог.

Никакой комнаты за дверью не было. Был берег моря, опускающийся полого навстречу мягким волнам прибоя, было закатное алое небо и солнце, окруженное фиолетовыми с оранжевыми краями облаками, были какие-то высокие деревья вдали, где берег изгибался дугой, и полоса песка вдоль воды казалась почти белой. Добегая до песка, волны мягко тормозили, склоняя вперед зеленоватые головы. Среди кустов и некрупных пальм были воткнуты в землю палки, на которых была развешена небольшая сеть, стояли два ведра и самые обыкновенные высокие резиновые сапоги.

— Иди! — звал Петр Петрович. — Иди, Лиза! Попробуй, какая вода теплая. Здесь постоянный бархатный сезон. На Кавказ ездить не надо!

— Что же это творится? — сказала тихо Елизавета Ивановна. — Что за фокус?

— Я же говорю — обещал удивить, значит, удивлю. Никакой не фокус. Самое настоящее море в физическом выражении. Ты воду попробуй.

И видя, что Елизавета Ивановна не двигается, Нико-

лин сам легко сбежал к воде, зачерпнул в ладони, подпрыгнул, чтобы не замочить ботинки, и поспешил наверх, к гостье. Вода тонкими струйками лилась сквозь пальцы и пропадала в песке.

— Гляди!

На ладонях осталось немного воды.

— Соленая, — сказал Петр Петрович. — Умеренно соленая. Как в Черном море.

Петр Петрович был оживлен больше обычного, он был похож на мальчишку, который зазвал гостей и теперь хвастает перед ними своими мальчишескими сокровищами.

— Ты не представляешь, — он уже вновь бежал к берегу, — сколько любопытных предметов, так сказать, даров море выкидывает после непогоды. Я сейчас покажу.

Он делал круги по песку, пока не отыскал, чего хотел. И вот он уже возвращается, подпрыгивая, увязая в песке, несет на ладонях красивую светлую, свернутую в трубочку, как пирожное, раковину.

Елизавете Ивановне послышался сквозь шум моря плач. Сашенька проснулась!

— Мне надо идти, — сказала она. — Мне надо.

— Ну как же? Разве тебе здесь не нравится?

— Надо. Там Сашенька плачет.

Сразу с соседа слетела радость. Он покорился, проводил ее к отдельно стоящей на берегу двери и сказал скучным голосом:

— А вот здесь мои принадлежности. Я рыбу отсюда — с моря приношу, а?

И это «а» повисло в воздухе. Елизавета Ивановна уже была в прихожей, и Николин затворил дверь к морю, чтобы случайно кто не увидел с лестницы.

Елизавета Ивановна вбежала в квартиру, но там было совсем тихо. Сашенька спала. Елизавета Ивановна поправила ей одеяло и остановилась в нерешительности. Куда теперь идти? Она перешла в большую комнату и там обнаружила Николина. Оказывается, он без спроса проследовал за ней. Елизавета Ивановна понимала, что человек взволнован, и потому ничем не выказала недовольства.

— Это птица была, — сказал Николин тихо. — Там, на море. Там есть одна птичка — поет, как будто плачет

ребенок. Я тебе обязательно покажу. А я было подумал, что ты не к Сашеньке побежала.

— А куда? — удивилась Елизавета Ивановна.

— Куда? Разные люди бывают...

Елизавета Ивановна не поняла, что он имеет в виду, но расспрашивать не стала.

— Пошли снова? — спросил Николин. — Там закат у нас красивый.

— Нет, мне постирать надо.

— Ну какая может быть стирка, я же на море зову.

— Ну, в следующий раз, завтра, — пообещала Елизавета Ивановна.

Она закрыла дверь за соседом и только хотела накинуть цепочку, как раздался осторожный звонок.

— Это снова я, — сказал Николин громким шепотом. — Я только одну просьбу хотел высказать.

— Ну что?

— Я тебя прошу, надеюсь, сама понимаешь, чтобы ни одна живая душа... Понимаешь? Начнутся разговоры, а я человек пожилой, одинокий. Значит, договорились?

— Договорились.

— Обещаешь? Слово даешь?

— Даю-даю. Ну ладно, спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Только учти, что слово дала.

На следующий день, в субботу, Николин заташил-таки Елизавету Ивановну на свое море. Дело было утром, спешить некуда. На берегу было довольно жарко, пришлось даже отойти повыше, в тень. Море выпускало из себя яркие искры и вдали, в мареве, сливалось с небом. Елизавета Ивановна думала, какая гадкая стоит на дворе погода, а воспитательница в Сашенькиной группе, Галочка, молодая и рассеянная. Как бы не забыла шарф девочке надеть, когда пойдут гулять.

Петр Петрович был похож на отдыхающего — рубашка-сеточка, брюки засучены до колен, в сандалетах, на голове треуголка, сложенная из газеты. Лицо в тени было совсем черным, только белки глаз голубые.

Из большого ведра, стоявшего рядом, Петр Петрович вытащил, поболтав рукой в компоте мелкой рыбешки — на уху — зеленую черепашку. Черепашка спрятала голову под панцирь, но ножки вяло болтались, искали опору.

— Полагаю, — сказал Николин, — что Сашеньке такой подарок представит интерес. А то приходилось выкидывать некоторые редкие вещи — черепах, крабов или странных рыб. Зачем мне лишние вопросы — где достал черепаху, где краба нашел и так далее?

Он кинул черепашку обратно в ведро. Черепашка поплыла по кругу, расталкивая рыб, чтобы уйти поглубже.

Петр Петрович поднялся, разглядывая белое пятно на песке у воды.

— Дар моря, — сказал он. — Надо проверить. Чего только волны не выкидывают, просто любопытства не хватает.

Елизавете Ивановне было мирно, тепло, давно не отдыхала она в таком сказочном месте. Только при этом не могла отделаться от чувства, что все-таки это — кино, не настоящее. И от этого тянуло сходить на улицу, посмотреть, не пошел ли там дождь.

Вернувшись, Николин бросил на траву обкатанный морем обломок большой кости.

— Возможно, от кита, — сказал он. — Крупные животные должны скрываться в глубоких местах.

— А другие люди сюда заходят? — спросила Елизавета Ивановна.

— Других людей нет. Местность, полагаю, совершенно ненаселенная.

— Странно, — сказала Елизавета Ивановна. — Обычно на Черном море не протолкнешься. На каждом квадратном метре по отдыхающему. Мы в прошлом году были с Сашенькой в Евпатории...

— Так это ж не Черное море, — сказал Петр Петрович. — Ничего общего.

— Я понимаю, — сказала без убежденности Елизавета Ивановна. — Здесь растительность другая.

И замолчала, ждала, что Николин что-нибудь объяснит. Если у человека море в квартире, то он-то уж должен знать, откуда оно взялось.

— Это вовсе не Черное море, — сказал сосед. — Понимать надо.

Далеко-далеко пролетела птица, видно было, как она снижается к волнам и снова взмывает вверх.

— Мои конкуренты, — сказал Петр Петрович. —

Иногда улов на берегу оставить опасно. Налетят чайки и все расташат. Ну прямо стрелял бы их. Самим лень вылавливать, меня эксплуатируют.

— Все-таки не понимаю я с морем, — сказала Елизавета Ивановна, не дождавшись объяснения. — Какой это район?

— Эх, Лиза! — вздохнул Николин. — Если бы все так просто, у каждого бы море в квартире было. Каждому хочется. Я сначала подумал, что имею дело с Индийским или даже Тихим океаном.

— Быть не может!

— Но моя наблюдательность заставила меня пересмотреть свою первую теорию. Не океан это, а неизвестный водный бассейн.

— Так я думала, что все моря уже открыты, — сказала Елизавета Ивановна и мысленно укорила себя за глупость: ясно, что открыты.

— И даже не на Земле это море, — сказал Николин и сделал долгую паузу, глядя на соседку искоса.

— Как же так? — сказала Елизавета Ивановна. Надо ж было что-то сказать.

— А ты навверх посмотри. И сразу все сомнения пропадут.

Елизавета Ивановна послушно поглядела навверх, куда показал Николин. Там, в дополнение к обычному солнцу, что светило слева, было еще одно солнце, поменьше размером, оно ясно проглядывало сквозь листву.

— Вот так-то, — сказал Петр Петрович. — И это дает моему явлению научное объяснение. Я по этому вопросу осторожно с одним учителем разговаривал, популярную литературу просматривал. Есть, понимаешь, одна теория про параллельные миры. Не слыхала? Вот и я раньше не слыхал. А теперь увидел. В общем, будто Земля не одна, их несколько, и они между собой могут касаться. Теперь понятно?

— Так как же? — спросила спокойно Елизавета Ивановна. — Они бы коснулись, и выплеснулось бы ваше море в наше.

— Парадоксы, парадоксы, — сказал Петр Петрович, разводя руками. — Но не в этом дело. Море есть, и это самый реальный факт. Награда мне за мой долгий жиз-

ненный путь. И купаться можно. У тебя, Лиза, купальник есть? В следующий раз приноси, купаться будем.

Странно, подумала Елизавета Ивановна, обыкновенный человек, на улице и не поглядишь, и вот — собственное море. И никто не заметил, как эти миры соприкасались. Конечно, если бы кто-нибудь из ученых поглядел, наверное бы, объяснил.

— Можно прожить всю жизнь без счастья и, так сказать, не вкусить. Но некоторым людям выпадает по лотерее. И если много выпадет, хуже. Каждый знает, как истратить сотню, а что делать с десятью тысячами? Так и с ума сойти можно! Я лично за то, чтобы положить все в сберкассах и получать проценты.

— Я в садик пойду, — сказала Елизавета Ивановна. — Лучше пораньше заберу Сашеньку. А то погода плохая.

— Я бы, — сказал Петр Петрович, провожая соседку до двери, — с удовольствием пригласил бы сюда и Сашеньку. Девочка она хорошая, послушная. Но сама понимаешь, начнет она рассказывать иным детям, а те своим родителям — начнутся сплетни, пересуды: зачем ему море, еще жаловаться начнут. Ты уж меня прости...

Петр Петрович был человеком, в общем, незлым. Проблема с Сашенькой его, видно, задела. Иначе с чего бы он, придя в тот же день попозже, завел снова разговор об этом?

— Человек я одинокий, — сказал он, присаживаясь за стол в ожидании чая. — И единственная у меня радость — море. Какое-никакое, но свое.

— Хорошее море, — сказала Елизавета Ивановна.

— И, должен тебе сказать, Лиза, что за последние годы ты оказалась тем человеком, к которому я почувствовал искреннее расположение. Нет, не качай головой, ты человек хороший, отзывчивый и, главное, сдержанный. Мне же тоже нелегко — распирает от желания поделиться с кем-то событиями моей жизни. Ведь хожу я на берег, ловлю рыбу, люблюсь закатом, привык даже. Но разве можно Робинзону жить без Пятницы? Нельзя.

— Ну почему со мной делиться? Мало ли кто...

— Нет, ты не понимаешь. Потом поймешь. У меня же планы есть. И не маленькие. Вот ты, например, человек

не очень обеспеченный. Не возражай. А мы с тобой можем неплохие деньги зарабатывать, пользуясь дарами океана. Не отмахивайся, Лиза, от своего счастья. Ничего незаконного в моем море нету. Я за него квартплату плачу. Оно где? У меня в квартире, внутри. В твоей его нету, у соседей сверху нету, сам проверял. Да, я о чем поговорить хотел — о Сашеньке. С твоей точки зрения, нехорошо получается — ребенок остается без свежего воздуха. Я подумал, может, мне ей глазки завязать, а?

Елизавета Ивановна обиделась. Вроде бы человек от чистого сердца предлагал добро ребенку, но как же ты будешь завязывать глаза девочке, которая еще в школу не пошла? Как бандиты какие-то... Но вслух она ничего не сказала, а из-за этого ощутила неприязнь к себе самой, словно предала Сашеньку. И сосед почувствовал, как у Елизаветы Ивановны изменилось настроение, смешался, стал нести какую-то чепуху про физику и параллельные миры. Потом ушел, даже вторую чашку чая пить не стал. Вечер был испорчен.

Елизавета Ивановна мыла посуду, но что-то ее грызло, чего-то надо было сделать. Потом поняла. Заглянула в ванную и послушала. Море шумело, ровно и мерно. Уу-х — разбивается волна о песок, ползет обратно. Там, наверное, яркие звезды, как в Крыму. Заглянуть бы туда, хоть на минутку.

Елизавета Ивановна захлопнула дверь в ванную, вернулась на кухню и пустила струю в раковинке на полную силу, чтобы не было слышно морского прибоя.

Рано утром, в воскресенье, Сашенька еще спала, Елизавета Ивановна не успела поставить кашу на плиту, как снова звонок. Ну конечно, он. Она даже улыбнулась:

— Вы бы, Петр Петрович, проделали дырку в стенке, чтобы на лестницу не выходить.

— Не смейся, — сказал Петр Петрович. — Я не заслужил такого отношения. Прости за вчерашнее.

— Ну что вы так стоите? Заходите.

— Спасибо, спешу. На рынок иду, улов надо реализовать. Ты меня не осуждаешь?

— Бог с вами! — сказала Елизавета Ивановна. — Ваше море.

— Вот и хорошо. Я что подумал — соседи мы все-та-

ки. Не чужие. Вот ключи. Это верхний, а это средний. На нижний я не заперал. Заходи, отдыхай, пока я не вернулся.

— Ну что вы!

— Да, — сказал он быстро, всовывая в руку ключи, — ты и внучку взять можешь. Пускай на песочке поиграет. Ничего песочку не сделается... А если она кому расскажет, то ведь не поверят? Правда?

— Не надо мне ключей...

Ключи звякнули, упали на пол, а Николин уже спешил наружу, не оглядываясь, знал, что такая женщина, как Елизавета Ивановна, не оставит на полу ключи от чужой квартиры.

А когда она подобрала ключи и вернулась к плите, то в голове у нее сложились слова, которые надо бы сказать Николину, объяснить все, если он не так понимает. Слова получились значительные, неглупые, но не побежишь догонять...

После завтрака Елизавета Ивановна пошла с Сашенькой гулять во двор. Осенняя холодная погода все грозила дождем, но пока что было терпимо, если не считать ветра.

Посреди двора, за полосой мелких, робких еще саженцев, у песчаной горки, стояли мамы и бабушки, прогуливали детей. Порой кто-нибудь поглядывал на небо, потому что знали — дождь все-таки пойдет, не может не пойти. Ругали погоду. Ругали домоуправа, который обещал сделать качели, да все не делает. Еще кого-то ругали.

Потом, как бы по контрасту с погодой, кто-то заговорил о том, что в этом году была хорошая погода на Рижском взморье, а другая женщина сказала, как жарко было в Сухуми.

Елизавета Ивановна смотрела на Сашеньку, которая стояла в сторонке от других детей, тыча лопаткой во влажный песок.

— Тебе не холодно? — спросила она.

— Нет.

— Может, домой пойдем?

— Нет.

Ребенок был грустный, под стать погоде. Холодный ветер рвал последние листья с саженцев и раскидывал по ржавой траве.

— Пойдем, — сказала Елизавета Ивановна внучке.
— Я не хочу домой.
— Я не домой тебя зову. Мы в гости пойдем.
— Уже уходите? — спросила женщина, которая рассказывала про Сухуми. — Мы тоже скоро пойдем. Так недалеко и до бронхита.

Елизавета Ивановна оставила Сашеньку на лестнице, взяла ключи Николина.

— Это чужая квартира, — сказала Сашенька серьезно, глядя, как бабушка возится с замками. — Нас не звали.

— Дали ключи, значит, звали.

Дверь наконец открылась. Свежий теплый морской воздух ударил в лицо.

— Заходи, — сказала Елизавета Ивановна. — Только ноги вытри, а то дядя будет ругаться.

Она затворила дверь и сняла с девочки пальтишко.

— Ты не пугайся, — сказала она, осторожно открывая дверь в комнату. — И никому не рассказывай...

— А что? — Но тут Сашенька увидела море, очень обрадовалась и совсем не удивилась. Она пробежала несколько шагов к воде, оглянулась на бабушку и спросила: — А туфли снять можно? А то песок в них попадет.

— Разувайся, — сказала Елизавета Ивановна.

Над морем шли легкие пышные облака, белые чайки ссорились над сетью, развешенной на кольях, в которой запутались рыбешки, оставленные Николиным.

— Ты далеко не бегай, — сказала Елизавета Ивановна внучке.

— Я только попробую море и обратно, — сказала она.

Песок у самой воды был упругий, прибитый волнами, и идти по нему было легко и удобно. Но далеко Елизавета Ивановна не отходила, все оглядывалась на дверь, сиротливо стоящую посреди пляжа.

Сашенька нашла ракушку и подула в нее. Потом побежала за черепашкой. Она порозовела, глаза блестели, а Елизавета Ивановна подумала, что надо купить ей панамку.

— А там холодно и дождь пойдет, — радостно сообщила ей Сашенька. Она показала на дверь. «Странно», — подумала Елизавета Ивановна и сообразила, что она сама

забыла раздеться, так и идет в пальто по морскому берегу. Осенняя влага паром отходила с рукавов ее пальто.

— Пошли обратно, — сказала она вдруг Сашеньке.

— Я не хочу.

— Мы вернемся. Только сходим в ту комнату и вернемся.

Она схватила Сашеньку за руку и потащила наверх, к двери.

В прихожей она посадила девочку на стул, дверь к морю затворила и сказала Сашеньке строго:

— Жди меня здесь. Я сейчас.

— Только недолго, — сказала внучка. — А то мне скучно. Я к морю хочу.

Елизавета Ивановна выбежала из подъезда. Уже начался дождик, и матери с бабушками разводили детей по домам.

— Погодите! — крикнула она...

Когда через два часа домой вернулся Петр Петрович, он сразу прошел к комнате. Сверху, от двери, он увидел, как подюжины детей носятся по самой кромке воды в одних трусиках, а женщины сидят чуть повыше, устроившись в тени пальмы, и беседуют о чем-то женском и пустом.

— Это что еще? — крикнул он и, размахивая пустым ведром, бросился бежать вниз по склону. И натолкнулся на несмелую улыбку Елизаветы Ивановны. Она шла ему навстречу.

— Вы уж извините, Петр Петрович, — сказала она, краснея от смущения и робости. — Только на улице дождик и погода плохая. Так уж получилось...

— Как же так? — сказал Николин. — Я же доверился...

Он махнул рукой и почему-то пошел к развешенным сетям, отогнал чаек и стал сматывать свои снасти, стараясь не глядеть вниз и не слышать гомона ребятишек.

ЧЕЧАКО В ПУСТЫНЕ

Осенью в Пустыне наступает пора внезапных, злых, ледяных пыльных бурь. Осенью новичкам не следует удаляться от базы. Даже если неделю стоит тишь. Буря обязательно случится. И чем дольше затишье, тем злее буря. И уж, конечно, лишайники Ступенчатого каньона, какими бы редкими и желанными они ни были, не стоят того, чтобы на седьмой день затишья садиться в легкий флаер и нестись к каньону. Рассчитывая вернуться к обеду, так, чтобы никто на базе не заметил твоего отсутствия.

...Регина постучала обломанным ногтем по циферблату. Если верить приборам, кислород в резервном баллоне кончается и регенерационная система работает на голодном пайке. Регина до отказа открыла вентиль. «Не экономьте собственную жизнь, молодые люди», — как говорил профессор... Как его звали? Такой маленький, седой, и уши торчат?

По принципам, разработанным в художественной литературе, ты должна сейчас вылезти из этой тесной пещерки, встретить лицом пыльную пургу и, клонясь навстречу ветру, из последних сил брести к цели. Упасть в ста метрах от нее и красиво погибнуть. Но этот путь исключался, так как Регина совершенно не представляла, где цель, и не хотела красиво потгибать.

Она полетела к каньону, чтобы доказать геологам, что ее не зря к ним прислали. Куда это годится — уже год их просят добыть эти лишайники и отправить на Первую — от силы два часа работы, но у них не доходят руки. То дела, то снега, то бури. А запрет, который они наложили на ее самостоятельные действия, объяснялся, как решила Регина, комплексом вины. Неловко получается, если при-

езжая девушка сделает то, чего вы не собрались сделать за год.

Дальше все проходило в лучших традициях. Буря, начавшаяся как справедливое возмездие ослушнице. Прекрасная незнакомка, бредущая с сумкой лишайников неизвестно куда. Какие-то холмы и обрывы, встающие на пути. И, в конце концов, яма, где можно завершить свой скорбный путь. Где флаер, где база, куда брести из последних сил — неизвестно.

Можно было бы всплакнуть. Но это лишний расход влаги. Влагу следует беречь. Регина подумала, что рациональность крепко впиталась ей в кровь. Какая-нибудь Красная Шапочка, заблудившись в лесу и опасаясь встречи с Серым Волком, могла безбоязненно дать волю слезам, не задумываясь о расходе влаги. А впрочем, что ей за дело до влаги? Все равно никто не успеет ее найти и спасти. Дышать уже почти нечем...

В желтой стене пыли, затянувшей отверстие пещеры, показалась темная фигура. В лицо ударил слишком яркий луч фонаря. Регина обрадовалась, что не успела заплакать, и попыталась встать, чтобы достойно встретить своего спасителя, но воздуха совсем не осталось и она, хватая ртом его жалкие остатки, упала на руки мужчине.

Как сквозь звенящий туман донесся голос:

— Самоубийца.

Это не было осуждением. Это была констатация факта.

Регина пыталась сказать, чтобы он отдал ей свой резервный баллон. Но, видно, спаситель и сам догадался.

Было похоже на то, как выныриваешь из глубины, — воздуха уже нет, кажется, вот-вот вдохнешь воду, а вместо этого весь свежий воздух Земли влетает тебе в легкие. Успела.

— Спасибо, — прошептала Регина.

— Не за что, — ухмыльнулся спаситель. — Я позволил себе подключить ваш же запасной баллон. У вас оставалось кислорода часов на десять.

— Но ведь я смотрела...

— Какое умение устроить трагедию на пустом месте! — заметил спаситель.

Разглядеть его Регина не могла. Она сказала:

— Уберите фонарь.

Наверное, в ее голосе прозвучало раздражение. Обидно быть щенком, которого тычут носом в лужу. Луч фонаря сдвинулся в сторону, уперся в стену пещерки.

— Можно идти, — сказал спаситель. — Держитесь за меня. Мой вездеход недалеко. Для лучшего эффекта вам стоило бы выключить аварийный передатчик. Раньше, чем через сто лет, в эту дыру никто бы не заглянул.

Регина произвольно взглянула на кнопку передатчика. Она глубоко вздохнула. Пожалуй, нет смысла исповедоваться спасителю в том, что передатчик она не включала. Он работал только потому, что она час назад упала в овраг и так неудачно...

— Пошли, — кивнула Регина.

В вездеходе он сразу уселся впереди и, включая мотор, предупредил:

— Не снимайте шлем. Кабина не герметизирована. Некогда добираться до базы и разбираться, в чем дело. Потерпите еще десять минут.

Профиль у него был острый, крупный, словно у вороны. И брови слишком густые, черные.

— Разве вы меня не отвезете на базу?

— Не добраться, — сказал спаситель. — Переждете бурю на моем посту.

Он включил рацию и связался с базой.

— Нашел, — сообщил он. — Без особого труда. Можете давать отбой.

Рация забормотала что-то в ответ. Регина смотрела в иллюминатор на желтый непрозрачный занавес пыли.

Тон у него был насмешливый, снисходительный. Тон бывалого следопыта. Чечако, подумала Регина. Я — чечако. Такие не выживали на Клондайке.

Спаситель выключил связь и впервые обернулся к Регине. Его брови были изломаны посередине, а глаза оказались очень светлыми. В фас он не был похож на ворона, скорее на Мефистофеля.

— Они спрашивают, не нужен ли врач. Я ответил отрицательно. Я не ошибся?

— Вы не ошиблись.

— Ну и отлично. Держитесь крепче. Будет качать.

Это было вежливым преуменьшением. Вездеход не качало. Его подбрасывало, мотало, чуть не опрокидывало.

Регина большую часть пути провела в подвешенном состоянии, порой взлетая к потолку кабины. Хорошо еще, что здесь небольшое притяжение, — движешься сравнительно медленно.

Наконец вездеход остановился. Спаситель выскочил первым и протянул Регине руку в блестящей жесткой перчатке. Словно схватил клещами.

Сделав шаг, Регина обернулась — вездеход уже казался призраком, отделенным несколькими слоями летящей кисеи.

Когда они раздевались в микроскопическом тамбуре поста, спаситель сказал:

— Вы правильно сделали, что потерялись в начале бури. Сейчас вас труднее было бы найти.

Мелкая пыль висела в воздухе.

— Погодите несколько минут, — продолжал спаситель, — а то мы напустим полный пост пыли. Приборы ее не любят. Кстати, раз уж мы теперь будем жить вместе, как вас зовут?

— Регина.

— Очень приятно. Станислав.

Пыль нехотя оседала на пол и на стены, щекотала в ноздрах.

— Потерпите, — сказал Станислав без улыбки, заметив, что гостя сморщила нос. — Чихнете внутри. А то поднимете тучу. Почешите переносицу. Говорят, помогает.

И такова сила убеждения, что Регина послушно почесала переносицу, хоть это и не помогло. Пришлось снова ждать, пока уляжется пыль, спаситель молчал, хотя Регина ожидала выговора за то, что чесала переносицу не по правилам.

Внутри все было, как и следовало. Порядок почти монастырский. Она представила себе, как этот Станислав все свободное время бродит с тропочкой по двум тесным комнаткам к туалету поста и вытирает пыль с приборов и мебели. Хотя мебели было мало. Две типовые откидывающиеся койки в жилом отсеке, два стола. Один рабочий, другой, у мойки, — кухонный, он же обеденный.

— Знаете, как делать душ? — спросил Станислав.

— У нас такие же курятники, — сказала Регина.

Мефистофельские брови картинно приподнялись.

— Мы типовые посты курятниками зовем, — пояснила Регина, краснея. Как будто бы ее уличили в детской шалости. Может, сказать ему, что «курятник» — неологизм профессора Вегенера? Ни в коем случае.

Станислав извлек из стенового шкафчика полотенце.

— Мыло в тюбике на полочке, — сказал он. — Там же и щетка для волос.

Ну и терзается он сейчас! Его любимое чистое полотенце! Его обожаемая щетка для волос! Его драгоценный тюбик с мылом...

Регина задернула пластиковую занавесочку, присоединила шланг к крану.

За занавеской раздался многозначительный кашель.

— Что случилось? — В голосе Регины звучал металл.

— Может, вам нужно...

Рука Станислава появилась из-за занавески. Он протягивал — даже сразу не сообразила — мужское белье. Чистое, как и все в этом курятнике.

— Спасибо, не надо, — отказалась Регина, безуспешно стараясь придать голосу строгость. — Надеюсь, что буря к ночи прекратится и за мной пришлют флаер.

— Белье лежит в правом верхнем ящике, — сказал Станислав. — Буря сегодня не прекратится. Постарайтесь не очень разбрызгивать воду. Живу на замкнутой системе. Должны были подвезти бак, но вот буря...

Станислав успел быстро приготовить обед. Раздобыл откуда-то два высоких бокала, протер до блеска, тонко порезал картошку. Регина вытирала волосы и смотрела, как лучи солнца, прорываясь сквозь завесу пыли и влетая в окно, искрились на стенках бокалов. Индивидуальность дома, сошедшего с конвейера, воплощается лишь в мелочах. Бокалы были первой мелочью. Картинка на стене — резкий пустынный пейзаж — второй. Обычно здешние жители старались повесить на видном месте изображения березок или прохладных озер. Станислав был не сентиментален.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он, ставя на стол шипящую сковородку с яичницей. Редчайшее угощение. Регина могла это оценить.

— Как будто и не выходила на улицу.

Господи, он извлек откуда-то белую сорочку. Пред-

ставляете, притащил сюда, через половину Галактики, белую сорочку.

— И давно вы здесь? — спросил Станислав голосом вежливого хозяина. Оказывается, он умеет принимать гостей.

— В Пустыне? Третий день. Я работаю на Первой базе.

Он больше не иронизировал. Регина подумала, что у него очень приятно вьются волосы.

— Вы задумались? — спросил Станислав.

— Нет. Ничего. У нас там океан, скалы, брызги до самой базы долетают. И видно километров за десять. Вы не были на Первой базе?

— Нет, никогда. Я тут почти безвылазно, четвертый месяц. Вот кончу через две недели серию опытов, может быть, побываю у вас. Хотя вряд ли. Меня ждут на Ваяле.

— Я тоже полечу на Ваялу. Не знаю, скоро ли? Наверное, здесь одному очень скучно?

— Мне некогда скучать. Скука — это занятие для бездельников.

— Я не так выразилась. Я хотела сказать — грустно.

Станислав улыбнулся. Пожал плечами.

— Вы ешьте, а то остынет.

У него были красивые кисти рук. Сухие, с длинными плоскими пальцами.

— Простите, — сказала Регина, — что я заставила вас выбираться в такую бурю.

— Вы же не нарочно заблудились, — возразил Станислав. Видно, это было единственное оправдание для нее, которое он смог изобрести.

Мирная атмосфера чаепития в гостях — вот уж чего Регина час назад подозревать не могла. Во всем виновата она одна. Зачем винить геолога, который вынужден был бросить свои дела и разыскивать в пустыне чечачо?

— Вы геолог? — спросила Регина.

— Да. Вам чай покрепче?

И чай у него был душистый. И настоящий фарфоровый чайник для заварки.

Сам хозяин к чаю почти не прикоснулся. Да и яичницу не ел.

— Я не люблю апельсинов, — сказала Регина.

— Не понял.

— Я читала как-то исторический роман. Там была бедная семья, и мать говорила детям: «Я не люблю апельсинов». Ну, чтобы им больше досталось.

— А я в самом деле не люблю яичницу, — сказал Станислав.

— Держите яйца для гостей?

— Дом всегда должен быть готов к приему гостей.

Для него это дом. И все курятники, палатки, пещеры, где ему приходится жить, — все это дом. Бывают же на свете люди, которые умеют придать любому жилью нормальный человеческий вид.

— Возникает новая проблема, — сказал Станислав. — Вам ведь здесь придется ночевать.

— Но, может быть, еще...

— Думаю, что буря скоро не кончится.

Регина понимала, что он прав. Буря разошлась так, что от ее порывов вздрагивали стены вросшего в скалу курятника.

— Так в чем же проблема? — сухо спросила Регина. — У вас есть свободная койка.

— Понимаете, — Станислав смотрел ей в глаза серьезно, словно собирался предложить ей руку и сердце, — обычно я сплю на нижней койке, и я даже привык к этому. Но если вам лучше внизу, я перенесу свое белье наверх.

— И в этом вся проблема?

— Разумеется, — ответил Станислав.

Он собрал со стола и принялся мыть посуду.

— Давайте я вам помогу, — предложила Регина. — Я это сделаю лучше.

— Вы гостя, — сказал Станислав. — Кроме того, я не понимаю, почему вы умеете мыть посуду лучше, чем я? Вы специально этому учились?

Он не шутил. Он просто интересовался.

— Нет, — засмеялась Регина. — Я следую традиции.

— Вы не ответили мне о койке, — напомнил Станислав.

— Я очень люблю спать наверху, — заверила Регина.

— Этим вы сняли с моих плеч большую проблему, — сказал Станислав. — Я открою вам правду — я боюсь спать наверху. Боюсь упасть.

И опять непонятно — шутит он или слишком серьезен. Где у него грань между юмором и наивностью?

— Я не упаду, — в тон ему ответила Регина.

— Если вы не возражаете, я бы теперь немного поработал, — признался Станислав.

— Разумеется. У вас не найдется какой-нибудь женской работы для меня?

— Что вы имеете в виду под женской работой?

— Штопка, шитье, стирка...

— Вон там, на полке, последние номера «Биологического вестника Ваялы». Вы их, наверное, еще не видели.

— Нет. Вы их привезли с собой?

— Полнстайте. Наверное, это лучший вид женской работы.

Регина рассеянно проглядывала номера журнала, беззастенчиво исчерченные, с восклицательными знаками на полях, загнутыми углами страниц...

— Вы интересуетесь и биологией?

— Умеренно, — ответил Станислав. — Это плоды деятельности моего брата. Он работает на Ваяле, прилетал ко мне и оставил.

— Тогда понятно, — сказала Регина. — Не в вашем характере так обращаться с журналами.

— Это не зависит от характера, — возразил Станислав. — Брату так удобнее.

— Но не вам.

— Не мне.

Семейная сцена, подумала вдруг Регина. Он за рабочим столом, она в кресле. За окнами буря, бессильная нарушить уют и спокойствие... И что за чепуха лезет в голову?

— Хотите, я вас постригу?

— Что?

Станислав не сразу смог переключиться — видно, предложение пришлось некстати.

Он покачал головой.

— Если будет нужно — сам справлюсь. Вам скучно?

Регина хотела было согласиться, но тут же вспомнила, как Станислав относится к скуке.

— Нет, что вы, — сказала она. — Где моя сумка с лишайниками? Наверное, от них ничего не осталось.

— Я ее поставил в тамбуре. Достать?

— Не надо. Я вам постараюсь больше не мешать.

— Мешайте, — разрешил Станислав. — Я ничего не имею против. Мне приятно, что вы ко мне пришли.

К вечеру буря внезапно прекратилась. Станислав захотел выйти поглядеть, надежно ли стоит вездеход.

— Вы отвезете меня? — спросила Регина.

— Нет. Через час, а может, раньше буря разыграется куда сильнее. Мы сейчас с вами попали в глаз тайфуна. Вам приходилось слышать о таком?

— Это самый центр бури? Глаз тайфуна — это почему-то связано у меня с Конрадом, Эдгаром По...

— Ветер в снастях, сломана грот-мачта, во втором трюме помпы не справляются с течью...

— Правильно. А можно с вами выйти наружу?

— Я буду рад. Только позвольте мне самому проверить ваши баллоны.

— Вы злопамятный.

— Я осторожный.

Они сидели на большом плоском камне у входа в пост. Было очень тихо, лишь над низинами висела, никак не могла улечься сизая в вечернем воздухе пыль. Блики заходящего солнца скользили по округлому забралу шлема и, попадая в серые глаза Станислава, превращали зрачки в маленькие круглые прозрачные озера.

Он сказал:

— Когда я получил известие с базы, что вы потерялись в моем районе, то сначала рассердился. Извините, но именно так: рассердился. Ну как же можно: взять легкий флаер и отправиться в Пустыню, когда в любой момент может начаться буря? А буря такая, что по доброй воле я бы и на сто метров от поста не отошел... Нет, я рассказываю не затем, чтобы вызвать в вас раскаяние. Наоборот, я виноват в том, что был груб. А потом вы пришли ко мне, и я обрадовался тому, что вы здесь.

Солнце исчезло за краем стены пыли, стало темно. Порыв ветра подхватил горсть песка и кинул его в лицо Регине. Песчинки взвизгнули, царапая забрало шлема.

— Пора прятаться, — окликнул ее Станислав и протянул руку.

Регина поняла, что ждала этого. Чтобы он протянул

ей руку. Она не могла почувствовать теплоту его ладони, но это не так важно...

В тамбуре, ставя на полку шлем, Регина спросила:

— Вы любите свою работу?

— Вряд ли это вопрос любви или нелюбви, — ответил Станислав. — Но, очевидно, я получаю удовлетворение от процесса исследования.

— И от результатов?

Его лицо было совсем близко. В полутьме тамбура глаза были светлее кожи. Регина непроизвольно подняла руку и дотронулась кончиками пальцев до щеки Станислава.

Его глаза расширились удивленно.

— Простите, — растерялась Регина. — Я нечаянно.

— Нечаянно?

Он улыбнулся. И добавил:

— Я думал, что испачкал щеку. Или вы соринку сняли...

— Считайте, что соринку.

Регина бросила на полку перчатки.

— Ужином занимаюсь я, — предложила она. — Могу я за вами поухаживать?

— Вряд ли, — сказал Станислав, открывая внутреннюю дверь. — Это неразумно. Мне легче самому сделать ужин, чем рассказывать, где что лежит.

И конечно, он настоял на своем.

Ночью Регина долго не могла заснуть.

Маленькая каютка — спальный отсек — казалось, плыла по бурному морю. Если приложить к стене ладонь, то ощутишь, как бьются о стену волны песка и ветра. С верхней койки виден освещенный прямоугольник двери и угол стола, за которым работает Станислав. Вот он откинул голову, переворачивает страницу, поднялась рука, поправила лампу. Вот он взглянул в сторону Регины — он не видит ее, не знает, что встретился с ней глазами. Прислушивается, спит ли она. Окликнуть его? Зачем? А может быть, он догадается, придет, скажет ей «спокойной ночи», можно будет опустить руку и найти в темноте его пальцы... Он снова отвернулся, подвинул к себе спектрограф. Он не придет пожелать ей спокойной ночи, разве это принято, когда у тебя случайный гость,

заблудший чечако, который исчезнет вместе с бурей? Последняя мысль вдруг разозлила Регину неравноправием чувств. Не думай глупостей, приказала она себе и отвернулась к стене. Но пока не заснула, старалась представить себе, что сейчас делает Станислав.

Проснулась она поздно. Станислав не стал ее будить.

— Выпались? — спросил он, услышав, что она соскочила с койки.

За иллюминаторами несется желтая мгла. Круглые часы над рабочим столом показывают 11.34. Регина задержалась в жилом отсеке, вспоминая, где щетка для волос: меньше всего на свете ей хотелось появляться перед Станиславом взъерошенной, как щенок после драки. Но щетка лежит у мойки, в том отсеке...

Широкая ладонь Станислава возникла в дверном проеме. На ладони лежала щетка.

Станислав сказал из-за двери:

— Я пойду приберу в тамбуре. Вернусь через десять минут. Чтобы к этому времени вы были в полном порядке и готовы завтракать. Вы едите манную кашу?

— Ем! Обожаю! — сказала Регина, принимая щетку и со сладкой безнадежностью понимая, что безумно, безнадежно влюблена в этого вежливого сухаря...

— А потом что? — Стас закурил, и Станислав, не любивший табачного дыма, кашлянул, разгоняя дым перед лицом.

— Она прожила у меня в курятнике еще два дня. Вернее, два с половиной дня.

— Кончилась буря?

— Нет. Мимо шел большой вездеход. Они завернули к нам и взяли Регину.

— И что она сказала на прощание?

— Ничего. Она вежливо попрощалась. Как и принято. Поблагодарила меня за гостеприимство.

— И все?

— Она была сердита на меня.

— Почему?

— Мне кажется, в глубине души она полагала, что я нарочно вызвал вездеход, чтобы отделаться от нее.

— А ты вызывал вездеход?

— Нет, я тут совершенно ни при чем. Но если бы я мог вызвать его, я бы это сделал. Так что ее догадки были недалеко от истины.

— Ты испугался?

— Мне было жалко девочку.

— Она не девочка. Она взрослый человек. Ей подошло время полюбить. И тут попался ты. Не очень красивый, но вполне самостоятельный мужчина, притом спаситель. Ты же не проявлял никакой инициативы: безотказный капкан.

— Не старайся показаться циником.

— Я не стараюсь. Это не цинизм, брат. Это констатация факта. Вполне вероятно, что, увидь она тебя здесь, на Ваяле, прошла бы мимо, не обратив внимания. Таких мужчин, как мы, здесь тысячи.

— Она бывала на Ваяле, она выросла на Земле. Но полюбила меня.

— Она о тебе уже забыла.

— Нет.

Станислав достал письмо, протянул его брату.

Стас развернул его и заметил:

— Банальный почерк.

— Не в почерке дело, — терпеливо сказал Станислав.

Стас небрежно пробежал глазами строчки, перевернул лист на другую сторону — не написано ли там чего-нибудь.

— Что ж, — произнес он наконец, — очень трогательно.

— И все?

— Что же я еще могу сказать? Не я внушал ей эти чувства.

— Ты шутишь?

— Нет, я серьезен.

— Порой я не знаю, когда ты шутишь, а когда серьезен. Я видел ее глаза, когда мы прощались. Она писала искренне.

— Ни на минуту в этом не сомневаюсь. Да и не мои сомнения тебя тревожат.

— Нет, не они. Но, клянусь тебе, я не предпринял никаких шагов для того, чтобы...

— Соблазнить ее?

— На этот раз ты шутишь.

— Шучу.

Станислав поднялся с кресла и подошел к окну. Станислав приблизил лицо к стеклу, глядя вниз, в пропасть улицы.

— Послушай, брат, — сказал Стас. — Ты бессилен ей помочь. И клянусь тебе: пройдет неделя, месяц, она утешится, она молода и обо всем забудет. Пусть же тебя не мучат угрызения совести. Я повторяю: ей пришло время полюбить, и ты вовремя попался ей на пути.

— Ты не видел ее, — возразил Станислав. — Она очень милая и умная. Она искренняя. Мне очень жаль ее.

— Иному на твоём месте я предложил бы на ней жениться.

— Опять шутишь?

Станислав резко обернулся. Густые черные брови сошлись к переносице одной изломанной черной линией.

— Ты сердишься, Цезарь, — сказал Стас. — Значит, ты не прав.

— Ты должен увидеть ее, — сказал Станислав.

— Я ждал этой просьбы.

Брови Стаса сошлись в такую же черную изломанную линию. Те же серые глаза с секунду выдерживали взгляд андроида, метнулись в сторону, рука с длинными плоскими пальцами отыскала на столе пачку сигарет.

— Не кури, — попросил Станислав. — Я не люблю этого. Мне вредно.

— Ты унаследовал мои достоинства, но знаешь, чего тебе не хватает, чтобы стать человеком?

— Знаю. Слышал. Недостатков.

— Я повторяюсь.

— Да. Порой я задумываюсь о жестокости людей. Нет, не отдельных индивидуумов, а людей в целом. Я понимаю, что, создавая андроида, вы идёте по пути наименьшего сопротивления — максимальное дублирование оригинала. Замечательного, выдающегося оригинала. И забываете о недостатках. Забываете о том, что я не только неполноценен, но и настолько совершенен, что сознаю свою неполноценность. Мне претит тщеславие биоконструкторов. Я должен быть примитивнее. Биоробот, и все тут. Робот, от слова «работать».

— Станислав, не пытайся быть несправедливым к людям.

— Почему я несправедлив?

— Потому что ты человек.

— Андроид. Почти человек, притом без недостатков.

— Хорошо, андроид. Возьми письмо обратно. Оно адресовано тебе.

— Неужели ты до сих пор не понял, что не мне, а тебе. Я же не могу испытывать любви...

— А ты задумывался, как близка к любви жалость?

— Жалость — функция мозга. Это доступно даже моему, наполовину электронному, мозгу.

Стас погасил сигарету.

— Она пишет, что ждет тебя...

— Да.

— Хотя бы на минуту...

— Да.

— У входа в зоопарк...

— Да.

— А на сколько процентов твоя филиппика против жестокого человечества была театральным представлением, а не душевным порывом?

— Не более чем на десять процентов, — улыбнулся Станислав. — Не более. И не хмурься, брат. Я не лгу. Это мне не по зубам.

— Ну уж что-что...

Станислав напомнил:

— Она будет там через десять минут. Ты только успеешь дойти до зоопарка.

— Как ты все рассчитал! — сказал Стас. — Я бы не смог.

— У тебя нет нужды заставлять свой оригинал действовать по-человечески.

— Как я ее узнаю?

— Она сама тебя узнает.

— И все-таки?

— Твое сердце тебе подскажет.

— Твое ведь не подсказало?

— Оно не могло подсказать. Оно почти синтетическое. Зато я функционирую надежнее тебя. Как почка? Побаливает?

— Чуть-чуть.

— Трансплантация займет три дня.
— У меня нет этих трех дней.
— Я тебя заменю. Я в ближайшую неделю свободен.
Стас накинул куртку.
— Нет, — Станислав подошел к нему, — возьми мою.
— Ты боишься, что она меня не узнает?
— Ей приятнее будет увидеть меня... то есть тебя в старой куртке.
— Ну и знаток женского сердца!
Стас открыл дверь в коридор. И остановился.
— Слушай, а что я ей скажу?
— Извинись, что был занят... ну, скажи что-нибудь.
Можешь даже разочаровать ее в нас. Только не обижай.
— Жалеешь?
— Иди-иди. Я бы на твоём месте не колебался.
— Регина?
— Да-да, Регина. У нее светлые волосы, прямые светлые...

Стас пошел к лифту.

Станислав сел в кресло, рассеянно вытащил из пачки сигарету. Посмотрел на нее, словно не мог сообразить, что делать с этой штукой, потом сунул сигарету в рот, щелкнул зажигалкой. Закашлялся и расплющил сигарету в пепельнице.

— Берегите составные части, — пробурчал он чьим-то чужим голосом. — Они вам дадены не для баловства.

Он посмотрел на часы.

Стас уже у входа в зоопарк.

Станислав снова поднялся, подошел к окну и, упершись лбом в стекло, смотрел вниз и направо, в темную зелень парковой зоны. Словно мог разглядеть кого-то за три километра. Ничего он, конечно, не увидел. Вернулся к столу, раскурил еще одну сигарету и затянулся. А когда откашлялся — затянулся еще раз.

1976 г.

УСИЛИЯ ЛЮБВИ

Радик подвез Басманного до дома. Оба молчали — устали смертельно. Басманный вяло шлепнул Радика по плечу, вздохнул на прощание. Радик тоже вздохнул на прощание. Сыпал мелкий, холодный, паскудный дождь, никому не нужный — ни людям, ни сельскому хозяйству.

— Не простудись, — сказал Радик вслед. — Ты нам еще пригодисься.

Человек в летнем костюме сутулился у подъезда. Он промок, одежда прилипла к телу, с длинного носа в такт мелкой дрожи срывались капли. Кто же, подумал Басманный, та фея, что может подвигнуть на такой подвиг мужчину средних лет?

— Вы Басманный? — строго спросил человек, встретившись с ним взглядом.

Вот тебе и фея, улыбнулся Басманный.

— К вашим услугам, — сказал он.

— Я из-за вас простужусь, — сообщил мокрый человек.

— Жаль, — сказал Басманный.

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

Кто он? Изобретатель вечного двигателя? Охотник за автографами?

Черные глаза, близко посаженные к переносице, уперлись в лицо Басманного. Оранжевый отсвет из подъезда сверкал в них адским пламенем.

— Заходите, — сказал Басманный. — В любом случае глупо стоять под дождем.

— Я боялся пропустить вас, — сказал мокрый человек.

— Подождали бы в подъезде, подъехали бы в институт...

— А вы знаете, сколько сейчас времени? — спросил мокрый человек. — Пять минут двенадцатого.

— Неужели? — Басманный пропустил гостя в подъезд, вызвал лифт. От одежды мокрого человека пошел пар.

— Так что же вам нужно? — спросил Басманный.

— Две минуты вашего времени, — сказал мокрый человек, шмыгая носом. — Вы скажете «да». И я уйду.

— Тогда я скажу «да» немедленно, — ответил Басманный. — И лягу спать. У меня завтра трудный день.

— Знаю, — сказал мокрый человек и первым вошел в лифт. — Третий этаж?

— Третий.

— Завтра вы летите на Титан, — сказал мокрый человек. Длинными пальцами он убрал со лба прилипшие черные волосы. — И не пытайтесь отрицать.

— Тут нет тайны, — сказал Басманный. — Если запуск не отменят.

— Все будет в порядке, — сказал мокрый человек. — И я полечу вместо вас.

— Почему? — удивился Басманный.

Двери лифта раскрылись. Басманный пропустил вперед гостя, и тот сразу прошел к двери в его квартиру.

— Потому что мне надо завтра, в крайнем случае послезавтра быть на Титане.

— Почему?

— Потому что послезавтра оттуда уйдет рейс к Плутону. Я там должен быть раньше. У вас есть кофе?

Мокрый человек прошел к креслу, опустился в него, вокруг ботинок образовалась небольшая лужа.

— Сейчас сделаю, — сказал Басманный. — Но вы явно обратились не по адресу.

— Вот это мне лучше знать, — возразил гость. — У меня разработана последовательность действий. Вы в ней — только этап.

Басманный включил кофемолку. Она зажужжала густо, солидно. Дождь смочил подоконник — утром Басманный забыл задвинуть окно. В комнате пахло мокрой листвой и грибами.

— Очень приятно, — сказал Басманный. — А чем вы намерены заняться на Титане? Вы геолог?

— Я арфист, — сказал мокрый человек, вдыхая запах

молотого кофе. — Меня зовут Ник. Ник Прострел. Не слышали?

— К сожалению, нет. Я далек от мира арфистов. А что арфисты делают на Титане?

— Не знаю, — признался Прострел. — Я буду первым. Мне нужно застать Таисию.

Кофе поднялся над туркой рыжим горбом, и Басманный разлил его в чашки. Прострел жадно схватил чашку и принялся мять ее пальцами. Басманный не мог оторвать взгляд от пальцев гостя. Чашке было двести лет, и никто прежде не старался ее раздавить.

— Кем же вам приходится Таисия? — спросил Басманный, надеясь отвлечь Прострела от уничтожения чашки. — Она заболела?

— Она совершенно здорова, — возмутился Прострел. — С чего вы решили, что она больна?

— Тогда объясните мне.

— Я не могу без нее жить. У меня арфа валится из рук.

— Я думал, что арфы на подставках, — сказал Басманный.

— Не понимайте меня буквально, — обиделся Прострел. — Мы знакомы с Таисией три года. Она была на моем концерте. Женщина редкой профессии. Специалист по хондритам. Представляете? Нас влекло друг к другу. Мы собирались соединиться. Если бы не обстоятельства. Я не спал всю ночь. Это нервы!

— Может быть, — сказал Басманный. Ему очень хотелось, чтобы гость поскорее ушел и оставил его в покое.

— Я послал ей письмо, что должен еще раз обо всем подумать. Брачный союз — это серьезный шаг. Вы со мной согласны?

— Согласен.

— Но она не стала ждать.

— Пошлите ей телеграмму, что раскаялись.

— Дело в том... — Вдруг в глазах Прострела начали зреть слезы, скапливаться блестящим валиком на нижнем веке. — Это уже было. Шесть раз. Как минимум. Я говорю вам об этом как мужчина мужчине. Я бы на ее месте не поверил мне. Я ненадежен.

— Так зачем вам на Титан? Вы же снова передумаете.

— Нет, — ответил Прострел. — Она всегда прощала меня. А теперь сказала, что улетает на Плутон. А там Степанян.

— Ну и хорошо. Она ждала три года...

— Я решил, — сказал Прострел. Он сделал усилие, красные пятна выступили на щеках, чашка, которой было двести лет, разлетелась, кофе брызнул между пальцев на кожу белого медведя на полу, на светлую обшивку кресла.

— Я не спал ночь, — сказал Прострел, не обращая внимания на бесчинства, которые он натворил.

— Этой чашке было двести лет, — сказал Басманный.

— Как вам не стыдно думать о чашке! — Слезы сорвались с нижнего века, покатились по щекам. — Вы бессердечный человек, Басманный. Я не буду вас жалеть.

— Не надо меня жалеть, — мрачно сказал Басманный. Он собрал осколки чашки и понес их на кухню. Когда он вернулся, в руках Прострела была уже вторая чашка. И он уже начал мять ее в пальцах.

Басманный сказал:

— А ну-ка, отдайте мне чашку.

Прострел чашку вернул, проворчав:

— При чем тут чашка? Я вам завтра достану таких двадцать. Я лечу на Титан и там ей все скажу. Уступите мне свое место.

— Это от меня не зависит.

— А если бы зависело?

— Я бы вас близко к Титану не подпустил.

— Тогда я готов уйти на Титан пешком.

— Это выход, — сказал Басманный. — Я не возражаю.

— Вы смеете шутить!

— Я надеюсь, что ваша Таисия будет счастлива со Степаняном.

— Нет! Я понял, что люблю только ее. Почему вы считаете, что арфист — это не человек? Почему арфист не имеет права полететь на Титан?

— Через год, — сказал Басманный, отхлебывая кофе и разглядывая пятна на коже и на обивке кресла. —

Арфистов мы будем отправлять через год, когда полеты на Титан станут обычны.

— Безобразия! А если бы я играл на кларнете?

— Кларнетистов мы обслуживаем в первую очередь. Я больше вас не задерживаю.

— А я и не намерен задерживаться, — сказал Прострел. Он поднялся. Он почти высох. — Я понял, что вами руководит стремление к славе. Иначе бы вы уступили мне свою очередь.

— Господи! — удивился Басманный. — При чем тут слава! Нет никакого подвига в том, чтобы телепортироваться на Титан. Даже в специальных отчетах моя фамилия не будет фигурировать. Все уже испытано тысячу раз. До свидания.

— Прощайте, — сказал Прострел, направляясь к двери. — И все-таки я полечу вместо вас.

— Пожалуйста. Летите раньше меня, вместо меня, идите пешком, только оставьте меня в покое. И Таисию тоже.

— Посмотрим, — сказал Прострел, задерживаясь в дверях. — Хотя с вами я, пожалуй, больше не увижусь.

Дверь хлопнула.

Басманный, борясь с ощущением нереальности, огляделся. Нет, Прострел не был кошмаром.

Басманный отхлебнул еще кофе. Кофе совсем остыл. Он подошел к окну. Из подъезда вышла сгорбленная тонкая фигура и бросилась к стоявшему неподалеку флаеру.

Высокий сутулый человек с крепким носом и выразительными глазками вошел в кабинет шефа и робко улыбнулся с порога.

Для своего появления в кабинете шефа Прострел выбрал самое неудачное время. С утра все в институте шло наперекосяк. Связь с Титаном вдруг начала барахлить, из Центра сообщили, что на четырнадцать часов энергию не гарантируют, на второй станции контроля полетел резервный компьютер. Лисичка была в истерике, куда-то пропал Басманный...

— Здравствуйте, — сказал высокий человек. — Я рад с вами познакомиться.

— Да? — удивился шеф. — Как вы сюда проникли? Я сегодня никого не принимаю. И вообще сейчас ухожу на запуск.

— Знаю, — улыбнулся посетитель. — Моя фамилия Прострел. Я арфист. Мне надо на Титан.

— Очень приятно, — сказал шеф. — Но я не понимаю, кто вас пропустил.

— Ваша секретарша, — сообщил Прострел и уселся в кресло.

— Тогда обращайтесь в управление пассажирских перевозок, — сказал шеф, который не выносил нахалов.

— Когда?

— Года через два. Почти наверняка года через два установки пойдут в серию.

— Это меня не устраивает, — также серьезно сказал Прострел. — Мне надо быть на Титане завтра. Это последний срок.

— Почему?

— Несчастливая любовь, — сказал Прострел.

— Ничего не выйдет, — сказал шеф, поднимаясь, потому что замелькавшие на пульте справа от стола огоньки показали, что присутствие шефа в пусковом зале требуется немедленно.

Прострел поднялся вслед за ним.

— Вы тратите свое и мое время, — сказал шеф.

— Ничего подобного. Вот результаты медицинского обследования.

— Это еще зачем? — Шеф попытался отмахнуться от аккуратно сложенной пачки бумаг и перфокарт.

— Чтобы у вас потом не было неприятностей из-за того, что вы отправили на Титан неподходящего человека.

— Вы будете неподходящим, даже если принесете мне справку из Космического Центра.

— Они именно оттуда, — сказал Прострел.

Шеф быстро шел по коридору, автоматически раскланиваясь со встречающими. Прострел тоже мотал головой, словно прожил в институте по крайней мере год.

— Это невозможно, — сказал шеф. — Космический Центр не обследует арфистов. Вы не представляете, до чего они загружены.

— Представляю, — сказал Прострел негромко. —

Мне пришлось потратить целый день, пока я всего добился.

— Добились?

— А как же иначе?

Шеф на секунду остановился, посмотрел на Прострела мрачным из-под седых бровей взглядом, взял бумажки и бросил взгляд на гриф: «Космический Центр». Затем поспешил к пусковому залу.

— Я понимаю, Артур Артурович, — догнал его арфист, — что все эти документы и рекомендации от академика Пыхова и третьего института Воскобойникова не играют для вас роли...

— У вас и это есть?

— Все есть. Запуск является, так сказать, внутренним делом нашего института. И состояние здоровья теленавта — дело третье...

— Как вы сказали?

— Теленавт. Это мое изобретение. Я полагаю, что теленавтика, основателем которой вы, Артур Артурович, являетесь, станет со временем основным направлением в мировой науке. А вы как думаете?

— Я на эту тему не думаю, — буркнул шеф, который знал цену грубой лести, но устоять против нее ему было трудно, как и любому основателю мировой науки.

Пусковой зал представлял собой сцену в разгар Бородинского сражения. Разноцветными суетливыми жучками техники различных служб института облепили громоздкую серую матовую установку, словно хотели растащить ее на винтики, что было неправдой — шла последняя проверка узлов. Красивая женщина в голубом халате рыдала на алюминиевом табурете, рядом стоял толстый брюнет со стаканом воды, который при виде шефа громко сказал:

— Басманного все нет. — Это был Радик.

— Домой звонили?

— Не отвечает.

— Он не мог струсить! — произнесла, глотая слезы, красавица.

— Ты, Лисичка, молчи, — сказал Радик. — Связь с Титаном опять барахлит. Кого вместо Басманного отправлять будем... в случае чего?

— Меня, — быстро сказал Прострел. — Я уже готов.

— Это ещё кто? — удивился Радик.

Лисичка с интересом поглядела на кандидата в теле-навты. Слезы продолжали струиться по ее прекрасному лицу.

Из-под потолка возник глухой голос:

— Артур Артурович, связь с Титаном. У них срочное сообщение.

— Иду, — сказал шеф и быстро побежал к ажурной лестнице на галерею — полы халата в двух метрах позади.

— Вы будете дублером Басманного? — спросила Лисичка. — Я его не выношу.

Из радиорубки донесся страшный рев шефа. В пусковом зале наступила мгновенная тишина. Но так как вопль не повторился, все вернулись к своим делам.

— Я вас раньше в институте не видела, — сказала Лисичка.

— Это не играет роли, — сказал Прострел. — Мне там нечего делать.

— Басманный тоже не совершает подвига, — сказала Лисичка, и в голосе ее прозвучала неуверенность. Ей хотелось, чтобы ее разубедили.

— Это может каждый, — как назло согласился Прострел. — Через год так будут отправлять грудных детей. Я, например, отношусь к этому буднично. Если бы не любовь, никогда не стал бы связываться. А дальше что? Ждать на Титане следующего запуска? Сколько ждать?

— Совершенно неизвестно, — сказала Лисичка.

В зал вошла экскурсия, впереди дама в голубых очках.

— А сейчас нам покажут пусковой зал, — сказала дама уверенно. Повела головой, как ящерица в пустыне, и спросила строго: — Кто нам покажет пусковой зал?

Прострел пошел к установке и остановился в нескольких шагах от нее, за спинами техников в желтых халатах, биологов в голубых, теоретиков в костюмах а-ля шеф.

— Вы видите перед собой, — сказал Прострел, глядя поверх голов экскурсантов, — первую в мире действующую межпланетную телепортационную установку.

Подростки достали магнитофончики, щелкнули кнопками.

— Вековая мечта человечества сбылась, — продолжал Прострел. — Фактически мгновенное перемещение материи на космические расстояния разрешает проблемы транспортировки в пределах Солнечной системы.

— А к звездам? — спросила худенькая девочка.

— И к звездам. В свое время. — Прострел отечески улыбнулся. — Принципиально это уже возможно, однако количество энергии, требуемое для такого перелета, превышает возможности всех станций нашей планеты. Даже сейчас... — голос Прострела окреп, и техники оглядывались на него, не смея сказать, что оратор мешает им работать, — даже сейчас телепортация на Титан заставит Северное полушарие отдать половину энергетических резервов, которые измеряются в миллиардах... — Прострел замолчал, обводя аудиторию горящим взглядом. Он, к сожалению, забыл, в миллиардах чего измеряется энергия.

— Если это так дорого, — сказала дама в голубых очках, — зачем тратить средства...

— Отвечаю! — Прострел направил руку вверх и продолжал: — Человечество стремится к небу. В свое время первые спутники Земли казались слишком дорогими. Теперь их запускают школьные астрономические кружки.

Подростки согласно склонили головы. Они запускали спутники Земли. В свободное от занятий время.

— Но даже в настоящей форме мгновенное перемещение было бы невозможно, если бы не деталь, найденная уважаемым Артуром Артуровичем, которая обессмертит его имя.

Прострел чуть опустил указующий перст, уткнув его в приземистую фигуру шефа, который появился на лестничной площадке, сжимая в кулаке синюю ленту космограммы. Артур Артурович, встретив взгляды экскурсантов, на секунду растерялся и поклонился.

— Именно ему удалось натолкнуться на элементарную, но великую идею! Когда тело определенной массы движется вдоль гравитационных лучей, расход энергии тысячекратно уменьшается в случае, если навстречу из

точки, куда оно стремится, будет двигаться тело точно такой же массы в обратном направлении. Эффект качелей — называли это решение ученые. Эффектом Артура Артуровича назвал бы его я!

— А массы не столкнутся? — вякнула худенькая девочка.

— Массы условны, — сказал Прострел. — Масса фактически не существует. Это потоки элементарных частиц.

— Это что такое? — пришел в себя шеф. — Кто допустил? В день запуска! Что здесь делает Прострел?

— Проследуем дальше, — сказала дама в голубых очках и увела экскурсию в соседний зал.

— Я готов к телепортации, — сказал Прострел.

— Забудьте об этом, — сказал шеф.

— Не могу! — крикнул в ответ Прострел, задрав голову, чтобы удобнее сверлить шефа черными глазами. — Только вы можете понять, что значит любовь.

— Ах, что за пустяки! — отмахнулся шеф и, увидев Радика, потряс перед его носом космограммой. — Что теперь делать? Все пересчитывать, а Басманного нет.

— С минуты на минуту он явится, — сказал Радик. — Он верный человек.

— А если не явится?

— Значит, что-то случилось. Трагическое. И тогда лететь придется другому. Хотя нежелательно.

— Почему нежелательно? — спросил шеф.

— Потому что никто не знает, когда он вернется обратно. У нас запланирована лишь одна телепортация. Никто в Совете не даст в этом квартале энергию на вторую. Вы это знаете.

— Тогда полетите вы, — сказал шеф.

— У меня на послезавтра билеты в театр, — просто сказал Радик. — А на той неделе теща уезжает в отпуск, оставляя меня с женой и пятью детьми. Вы понимаете, что это значит?

— И это настоящий ученый! — сказал шеф. — Долой из института! Мы найдем другого. Любого.

Шеф развернулся всем корпусом и столкнулся с Пузисом, который обмахивался стопкой перфокарт, ожидая очереди поговорить с шефом.

— Пузис, — сказал шеф, и в его улыбке была неу-

веренность, — вы полетите сегодня вместо Басманного? Правда?

— С удовольствием, — сказал Пузис. — Когда обратно?

— Может быть, через полгода. Но для вас это не проблема?

— Нет, не проблема, — сказал коварный Пузис. — И монография, которую мы с вами заканчиваем, Артур Артурович, подождет. Она все равно в плане будущего года.

— Правильно, — сказал шеф. — Монография подождет. Кстати, вам совершенно нечего делать на Титане, Пузис. Он не по вашей специальности.

— Слушаюсь, шеф, — сказал коварный Пузис и исчез в радиорубке. Шеф обвел глазами армию техников и ученых у его ног. Все слышали разговор, все делали вид, что заняты делом. Только Губернаторов поднял взгляд и сказал тихо:

— Можно, я полечу? Я не женат. Мне всю жизнь хотелось побывать на Титане.

— Вот! — сказал шеф. — А вы говорите.

— Не пойдет! — крикнул снизу Прострел. — Он не поместится в установку. В нем сто пятьдесят килограммов живого веса.

— Сто двадцать, — сказал Губернаторов, который явно не поместился бы в установку.

— Во всей Вселенной не хватит гравитонов, — сказала Лисичка, — чтобы перенести массу Губернаторова на Титан. Но на меня не рассчитывайте. Я завтра лечу в Коктебель.

— Вас, Лисичка, — сказал шеф, — я и не приглашал. Вы даже в виде потока элементарных частиц чрезвычайно опасны. И если вместо Титана вы попадете к вашей косметичке, никто не удивится.

— Спасибо, — сказала оскорбленная Лисичка и вспомнила, что косметичка Алла Семеновна ждет ее вечером. Скорей бы прошел этот запуск.

В зал вбежал Иван Сидорович.

— Он дома! — крикнул Иван Сидорович с порога, жуя половецкий ус. — Он не приедет.

— О ком речь? — спросил в растерянности шеф.

— Мы посылали Ивана Сидоровича к Басманному, — сказал Радик.

— Почему он не приедет? — спросил шеф. — Через час телепортация на Титан. Разве не так?

— Он спит, — сказал Иван Сидорович. — И не хочет просыпаться.

— Так разбудите его!

— Он сказал, что не будет просыпаться.

— Напомните ему в конце концов, что он участник исторического события.

— Он сказал, что знает.

— И что?

— Перевернулся на другой бок, — сказал Иван Сидорович.

— Я вас предупреждал, — сказал Прострел. — На Басманного нельзя полагаться.

Шеф бросился в радиорубку — шла космограмма с Титана.

— Это удивительно, — сказала Лисичка.

— Я у него вчера был, — прошептал ей Прострел. — Он произвел на меня впечатление слабого человека, не знающего, что такое истинная любовь.

— Ему этого не понять, — ответила Лисичка. — Я знаю.

— Я был вынужден подсыпать ему в кофе снотворного, — сказал Прострел.

— Это преступление! — ахнула Лисичка.

— Да, — согласился покорно Прострел. — На него меня толкнула любовь. Вы понимаете?

— Понимаю, — сказала Лисичка. — Но все равно это преступление.

— У вас не хватит совести выдать меня, — сказал Прострел.

— Не хватит, — согласилась Лисичка.

Большие часы с восемнадцатью циферблатами пробили двенадцать. До запуска оставалось меньше часа.

В радиорубке шеф передал Радiku последние данные с Титана.

— Кто летит с Титана? — спросил шеф. — Пирелли?

— Пирелли.

— Еще вчера он был легче на три кило. Разве это не безответственность?

Радик посмотрел на шефа печальными преданными глазами.

— Я не пойду в театр, — сказал он. — И жене придется одной возиться с детьми.

— Спасибо, — сказал шеф. — Я буду приходить к ней по вечерам.

— Да? — И неизвестно было, рад Радик такому решению шефа или нет.

— Ну ладно, — сказал шеф, не дождавшись должной благодарности. — Иди. У тебя какой вес?

— Сейчас узнаем, — мрачно сказал Радик. — Не представляю, как жена управится.

В коридорчике, ведущем к весовой — «массограбитонному отсеку», почему-то не горел светильник. Радик на секунду приостановился, поджидая Лисичку, чтобы она направила его на верный путь.

— Где ты? — спросил он.

— Я здесь, — ответил мужской голос.

В то же мгновение сильная рука прижала к носу и рту Радика вату, пахнущую хлороформом. Мир закружился и исчез. Последним ощущением Радика была уверенность в том, что его куда-то тащат. И голос Лисички: «Он не заслужил иного».

Ровно за восемь минут до запуска теленавт быстрыми шагами вошел в пусковой зал. Он был в длинном махровом халате с капюшоном, низко надвинутым на глаза. Из рукавов вылезали длинные руки с тяжелыми браслетами — дополнительным весом. Сзади шли два пусковика и Лисичка.

Кинув пронзительный черный взгляд на почтительную толпу техников, первый в мире теленавт исчез в черном люке установки. Пусковики нырнули вслед. Лисичка осталась стоять снаружи, словно охраняла установку от врагов.

Теленавт поглядел на установку, спросил:

— Все готово? Он там?

— Он там, — ответила Лисичка.

— Он там, — ответили техники.

Шеф проследовал к пульта. Пульт сверкал огнями,

как карнавальная улица в Рио. Метроном отсчитывал последние секунды. Еще немножко, и теленавт перестанет существовать. Он превратится в поток гравитонов и мгновенно перенесется к Титану. А встречный поток с теленавтом с Титана материализуется в установке, поблескивающей под множеством прожекторов и сканеров, линз и объективов...

— Десять, девять, восемь, семь, шесть...

В этот момент в зал вполз Радик.

— Шеф, — сказал он тихим голосом, которого никто не услышал.

— Пять, четыре, три, два, один... пуск!

— Шеф! — сказал Радик громче.

Шеф обернулся.

— Кто же полетел? — спросил он тихо. — Дезертир!

— Меня подменили, — сказал Радик.

Еще ярче вспыхнули экраны и сигналы.

На экране, который смотрел внутрь установки, появилось торжествующее лицо пусковика. Пусковик поднял вверх большой палец.

— Есть телепортация! — закричал он.

Техники, ученые и обслуживающий персонал бросились друг другу в объятия. Дело свершилось.

Лисичка помогла Радик, от которого сильно пахло хлороформом, подняться на ноги.

— Это, — сказала она, — песнь торжествующей любви.

Из установки, кутаясь в купальный махровый халат, оставленный теленавтом Прострелом, вышла полная молодая женщина.

— Я так больше не могу, — сказал шеф. — Мне семьдесят лет. У меня слабые нервы. Это не Пирелли.

— Нет, — ответила женщина. — Я не Пирелли. Но Пирелли — настоящий джентльмен. И сотрудники вашего института, Артур Артурович, которые работают у нас на Титане, тоже настоящие джентльмены. Когда они поняли, какова сила моей любви к арфисту Прострелу — это имя вам, к сожалению, ничего не говорит...

— Говорит, — сказал Артур Артурович. — Говорит.

— Говорит, — сказала Лисичка.

— Тем более, — сказала решительно женщина в халате.

— Таисия, здравствуйте, — сказала тогда Лисичка. — Он так к вам стремился, чтобы вы не ушли к Степаняну.

— А вы не знаете случайно его адреса? — спросила Таисия. — Я бы поехала к нему немедленно. Я намерена спросить его, женится он на мне или будет колебаться всю жизнь?

— Его адрес, — сказал Радик, тряся головой, чтобы прогнать следы одурения, — Солнечная система. Титан.

— Когда он туда улетел? — тихо спросила Таисия.

— Одновременно с вами, — сказал Радик. — Вы должны были встретиться на полпути.

Таисия молча повернулась, сделала шаг обратно, к установке, но кто-то из техников мягко остановил ее и сказал:

— Следующий запуск через полгода.

1979 г.

ИЗ ЖИЗНИ ДАНТИСТОВ

Не знаю, кого на нашем курсе ненавидели больше — профессора Самойло или старичка Кикина. Тем более что эти совершенно разные люди сливались в нашем сознании в единого мучителя. Другие их тоже осуждали. Я сам слышал в коридоре, возле кафедры, как незнакомый мне преподаватель говорил Самойло: «Вы путаете студентов с морскими свинками». «Нет, не путаю, — отбрыкивался грузный Самойло, — но хочу, чтобы они не считали свинками пациентов». Басеев клялся Милочке, что в министерстве Самойло категорически отказали и что он все сделал в обход постановлениям. Я не удивился. Самойло может игнорировать даже приказ министра. Он никого не боится — гений стоматологии.

Разумеется, Кикин не единственный наш индуктор. К примеру, мне куда больше неприятностей доставила девочка с воспалением надкостницы. Но в ней не было садизма. В Кикине садизм — основная черта характера.

В понедельник мы на Кикине должны были отрабатывать местную анестезию. Когда я проснулся и вспомнил об этом, у меня участился пульс и подскочила температура. К сожалению, недостаточно, чтобы остаться дома. К тому же я, конечно, понимаю, что Самойло, при всей его первобытной жестокости, желает добра больным. Но все равно невыносимо.

Я пришел в аудиторию минут за десять до Кикина. Лаборантка уже раскладывала по столам приемники. Тот же Гордеев бродил по проходу и спрашивал всех:

— Если у меня несварение желудка, всю ночь не спал, при наложении может возникнуть летальный эффект? Как думаешь, Самойло примет во внимание?

Ему не отвечали. Все знали, что не примет. Свой понос Гордеев придумал по дороге в институт.

Я сел за свой стол и взял приемник. Совершенно безвредная на вид машинка. Похожа на наушники, только вместо мембран присоски к вискам и провод к коробочке самого приемника. Я примерил прибор. Он не был включен, но меня буквально пронизала дрожь — от предчувствия.

Сейчас вплывет Самойло, приведет очередного страдальца, усадит в кресло, лаборантка опутает этого кролика проводами, и мы начнем страдать. Это ужасно, но мудро. Я объективен. Я признаю, что в этом есть мудрость.

Краем глаза я увидел, что прибежала Милочка — отрада моих глаз, мечта моего сердца. И, разумеется, бросилась сразу к Басееву. Пошептались. Милочка клялась мне позавчера, что к Басееву у нее чисто товарищеское чувство. Это что, чувство локтя? Милочка сидела рядом с Басеевым, вертела в руках его приемник, потом они перешли к ее столу и продолжали свои таинственные переговоры, а я старался не смотреть в их сторону и, разумеется, смотрел.

Припелся Кикин. Махонький старичок с ватой в ушах, в большом пиджаке, на создание которого ушел пуд ваты. Желтая кожа на ручках и лице кое-где провисает складками, а кое-где натянута, и мне кажется, что туда тоже подложена вата. А клочки ваты над ушами образуют волосяной покров. Кикин со всеми поздоровался и вцепился в меня. Этого я и боялся. Он почему-то выделял меня из группы.

— Я сегодня не спал, — сообщил он мне. — Совершенно замучил радикулит. Доходит до степени люмбаго.

За свое долгое общение с медициной Кикин нахватался разных слов и употребляет их почти правильно.

— Песочку, — сказал я ему. — Накалите на сковороде, в мешок и прикладывайте к спине. Народный способ. Многим помогает.

— Мне народные способы не помогают, — сказал Кикин. — Я по натуре аллопат. Отрицаю. Верхний правый резец меня сведет с ума.

«Нас тоже сведет с ума твой верхний правый резец», — хотел я ему ответить.

— Вы не представляете, — сказал он.

— Давно пора запломбировать, — сказал я.

— А вы как же? Как же вы без меня? — удивился Кикин. — У меня четыре группы. С кем работать будете?

Он искренне считал, что жертвует собой ради Науки. Переубедить его невозможно.

Вошел толстый Самойло, окинул нас взглядом Наполеона перед Аустерлицем, хохотнул, сказал какую-то банальность о погоде. Я уже к нему не прислушивался. Я жил в ожидании кикинских страданий.

А сам Кикин — хоть бы что. Уже подбежал к креслу, придерживаясь лапкой за поясницу. Семьдесят два года. Приличная пенсия. Ну что еще ему надо? Зачем культивировать в себе болясти и нести их людям, самой несчастной категории людей — студентам-стоматологам?

— Сегодня, — сказал Самойло, — занятие легкое и безболезненное. Местная анестезия. Считайте, что вам повезло.

— А общую анестезию нельзя? — спросил Гордеев.

— Шутка, — понял Самойло. И громко засмеялся. Но при том уже дал знак лаборантке, чтобы привинчивала ватного Кикина к креслу. Вбежал Миrowsкий, анестезиолог. Вообще-то обошлось бы и без него, но Самойле надо, чтобы все проходило на высшем уровне.

— На-деваем! — скомандовал Самойло, как на параде.

Я поглядел на Милочку. Она была прелестна и похожа на радистку партизанского отряда. В глазах ее отражался великий ужас, потому что в любую минуту могли ворваться эсэсовцы, застукавшие передатчик. Басеев ленивым движением поправил присоски на висках и откинулся на стуле, словно собирался посмотреть по телевизору передачу о испанской живописи в Эрмитаже.

Крепкая короткопалая рука Самойлы повисла над кнопками пульта. Включение наших приемников он производил сам после того, как заметил, что некоторые слабовольные студенты забывают включать их добровольно.

Сейчас начнется. Что-то Кикин морщится. Наверняка правый верхний мучает. Самойло смотрит на Кикина с сыновней любовью — Кикин лукаво подмигивает ему в ответ. Рука Самойлы врубает кнопки. Я подсказываю на

стуле. Вся группа подсакивает на стульях. Господи, за что такое мучение!

— Вот! — кричит Самойло. — Теперь вы понимаете, от чего мы должны спасать человечество!

Это очень простые, можно сказать, элементарные приемники, плод неразумного творчества какой-то лаборатории в Киеве. Они улавливают болевые ощущения индуктора и точно передают их перцепиенту. Род био-волн. Ничего эти приемники не могут уловить: ни мыслей, ни чувств — только ощущение боли. И когда очкастый доктор наук привез их в Москву в расчете на мировую известность и стал внедрять в больницах, медики, будучи по натуре самыми консервативными и недоверчивыми людьми на свете, от использования прибора при диагностике временно воздержались. До отработки и утверждения. А вот Самойло, как узнал, буквально вцепился в приемник. Ему было легче, чем другим, у него были морские свинки — студенты, беззащитные и покорные. С тех пор мы уже полгода учим симптомы различных болезней полости рта на собственной шкуре. А Самойло вкупе с мазохистом Кикиным, скопищем страданий в ватном нимбе, рассчитывает, что в светлом будущем врачи даже и разговаривать с пациентом не будут, не подключившись предварительно к его болевым центрам.

— Нет больших путаников, чем больные, — уверяет Самойло. — Больному кажется, что его схватил гастрит, а у него на самом деле ничего подобного. Мы вступаем в новую эру медицины. И вы ее предтечи, вы ее пионеры... Не забудем и об этическом аспекте. Настоящий врач не имеет права абстрагироваться от страданий пациента. Он должен разделять их. Понятно?

— Ой, как понятно!

Как же Кикин терпит эти мучения?

— Стоп, стоп, стоп! — кричит Самойло. — Почему боль в пояснице?

— Меня радикулит схватил, — радостно сообщает Кикин, — А что, ощущаете?

Самойло держится за собственную поясницу, он ведь всегда работает с нами вместе. Надо отдать ему должное — терпит, как все.

— Надо было предупредить, — говорит Самойло. — Это искажает картину.

Еще как искажает. Зуб мой ноет, спина болит, а анестезиолог Мировольский, естественно, не спешит. Ему спешить некуда, он не подключен.

Самойло тратит еще пять минут на описание симптомов и рассказ о том, как они будут, по его мнению, изменяться после укола. Я постепенно привыкаю к боли и гляжу на Милочку. Но раньше вижу Гордеева. Человека большого, лобастого, но удивительно ограниченного. Я вижу, как Гордеев достает пачку аспирина и кидает две таблетки в рот. Дурак, сколько я ему говорил: нельзя лечить себя, если ощущаешь чужую боль. Но он твердит, что это ему помогает. А Милочка что-то пишет. Это почти невероятно. С ее страхом перед болью — она даже хотела уйти из института, когда Самойло разыгрался, — она пишет! Неужели тоже аспирина наелась? Басеев наклоняется к ней через проход и что-то шепчет. Милочка складывает записку и передает Басееву. Может быть, я чувствительнее других к боли? Я сейчас и слова бы не написал. Мне хочется вскочить и бегать по комнате, схватив себя за щеку.

Самойло наконец делает знак Мировольскому, тот заставляет Кикина открыть рот, и я непроизвольно хватаюсь за десну — почувствовал укол.

— Ну осторожнее, голубчик, — говорит Самойло Мировольскому. — Очень болезненно.

Марта в соседнем ряду всхлипывает. Она молчаливая, терпеливая эстонка, но сколько можно терпеть?

Боль постепенно отпускает. Но не так, как хотелось бы. Тем более разыгрывается радикулит.

— А радикулит убрать нельзя? — спрашивает Гордеев. — Он же к делу не относится.

Как будто угадал мои мысли.

— Глупо, — отвечает Самойло. — Разве в реальной практике вам не встретится больной, отягощенный радикулитом? Или желудочными коликами? Надо быть ко всему готовым.

— Я отягощен, — говорит Гордеев. — Собственными коликами.

— Вы хотите покинуть аудиторию? — вежливо спрашивает Самойло.

— Потерплю, — отвечает Гордеев. — Скоро зачет.

Потом Самойло сам чистит Кикину канал, пломбирует зуб. Я ассистирую. Анестезия на Кикина действует плохо. Она всегда на него действует плохо. Я с ужасом смотрю на зубы Кикина — они почти все свои и почти все нуждаются в лечении. Но Кикин тянет. Кикин хочет быть необходим науке. Бедные первокурсники. Они еще не подозревают, что их ждет. Кикина хватает лет на пять.

Когда очередная страда мучений кончилась, Самойло, осыпав нас на прощание вопросами, покидает аудиторию (Кикин убежал первым в буфет, хотя ему это не положено. Я подозреваю, что он нарочно будет сейчас грызть кости, чтобы пломба вылетела).

Ко мне подходит услада моих очей Милочка и спрашивает:

— Больно было?

— А ты не знаешь? — спрашиваю я настороженно. Ее близость к Басееву вызывает во мне холодность.

— Нет, не заметила, — говорит она с легкой джокондовской улыбкой.

— Как так? — спрашиваю я.

— Людмила! — кричит из другого угла аудитории Басеев. — Не забывайся.

Людмила хохочет и уходит в коридор.

В курилке я становлюсь свидетелем, а потом и участником необычного разговора. Басеев глядит прозрачными наглыми глазами на Гордеева. И спрашивает:

— Что бы ты отдал за то, чтобы забыть о Кикине?

— Все, — говорит Гордеев. — Буквально. Полцарства и коня.

— Полцарства не нужно, — говорит Басеев. Он знает, что я слышу разговор, но это его не тревожит. — Десятку со стипендии — и гарантирую освобождение от грехов.

— Десятку за что? — не понимает Гордеев.

— Ты надеваешь приемник, а боли не чувствуешь.

— Это невозможно, — говорит Гордеев. — Пробовали уже.

— Пробовали на любительском уровне. А я взял под

узды своего братца, он технарь, по жидким кристаллам работает, с ним вместе мы отыскивали этого киевского инженера. Я брата представил как еще одного потенциального испытателя. Инженер уши развесил, все ему показал, даже разобрал машинку, а дальше проще простого. Брат подумал и подсказал наивному медику, как это делается.

— Что делается? — спросил Гордеев.

— Болевые ощущения отключаются, вместо этого ощущаешь приятную теплоту во всем теле. Я в прошлый раз сам попробовал, а сегодня Людмиле дал. Спроси у нее, если не веришь.

— А зачем десятка? — Этот Гордеев сохранил детскую непосредственность до двадцатилетнего возраста.

— На такси мы тратились? Тратились. — Басеев был совершенно серьезен. — Коньяк я брату покупал? Покупал.

— Но всего три занятия осталось, — вякнул Гордеев.

— Не хочешь — гуляй. Страдай.

— Может, пять рублей, а?

Тогда я ушел. Даже не могу объяснить, почему ушел. Неприятно стало. Сколько раз я сам мечтал, чтобы придумать что-нибудь, сломать эту проклятую машинку, не слышать боли проклятого Кикина, не страдать за других... Если врач будет подключаться к чужой боли, он сам скоро помрет. Это несправедливо...

Милочка ждала меня у входа, сидела на скамейке у почты напротив института, жевала яблоко.

— Что я тебе расскажу! — сказала она.

— Не надо. Знаю. Басеев Гордееву уже продавал обезболивание.

— Продавал?

— А тебе он почему дал? За прекрасные глаза? Авансом?

— Не хами, я этого не люблю. Дал, потому что мой поклонник. Я и тебе могу устроить.

— Со скидкой?

— Не хочешь — не надо. Страдай дурью. Пошли, что ли?

Мы пошли.

Я все никак не мог сформулировать. Ну, Басеев. Бог

с ним! Он человек практичный, холодный, он никогда чужую боль слушать не станет. Но Милочка... Мы же с ней говорили, что это открытие гуманно...

Милочка умеет угадывать мои мысли.

— Тысячу лет врачи лечат, не болея сами, — сказала она. — И мы обойдемся.

— Но если есть возможность! — закричал я на всю улицу. — Если мы этим будем спасать людей!

— Зачем же за свой счет?

— Слова Басеева?

Милочка долго молчала. Потом сказала:

— В тебе нет жалости. Ко мне...

Была у меня к ней жалость. И даже больше, чем жалость. Я даже согласен был, чтобы она и дальше обманывала профессора Самойло. Но я все равно зол на Басеева. И теперь понимаю, почему. Зависть здесь не играет никакой роли. Просто это уже бывало в истории человечества: кто-то думает, старается, ночей не спит, в кино не ходит для того, чтобы людям было лучше. Потом приходит кто-то другой. Он деловой. Он трезвый. Он тоже хочет добра. Но только себе. И обязательно за чужой счет...

1980 г.

ПЕТУШОК

1

Улица, огражденная глухими заборами, которые порой нехотя раздвигались, чтобы дать место одноэтажному фасаду в три окна, повернула под прямым углом, и неожиданно я увидел внизу реку.

Улица круто стремилась к берегу, к пристани, а затем, на том берегу, так же круто поднималась вверх и исчезала в лесу. Город переплеснул через реку, но сил его хватило еще на десяток домов.

Пристань была внизу, я видел ее красную крышу. Под крышей прочел название «Мослы». Название меня удивило, потому что сам городок назывался иначе. Но и слово «Мослы» что-то означало.

Возле пристани толпились люди, стояли два фургона и автобус. Снимали кино.

Я знал, что там снимают кино, потому что специально шел туда. И знал, что действие этой комедии происходит в городе «Мослы», потому что такого города нет, я его сам придумал — маленький, чудаковатый городок. Но обыкновенность вывески на пристани и обыкновенность самой пристани заставили меня забыть, что город «Мослы» пять лет назад родился в моем воображении, а надпись сделал, конечно же, художник киногоруппы.

И когда я осознал, в чем дело, то улыбнулся от благодарности к художнику, который обманул меня и заставил так просто поверить в собственную выдумку.

Розинский, режиссер фильма и мой приятель, стоял у камеры. Он увидел меня издали, когда я спускался к реке, но, как молодому человеку и начинающему режиссеру, ему важно было показать, насколько он занят. Поэтому он не пошел ко мне навстречу, а ждал меня у камеры.

— Ну как? — спросил он меня. — Ты так себе все представлял?

— Иначе, — сказал я. — Но мне нравится, как ты все это представляешь.

Подошла девочка с белым щенком на руках. Она нетерпеливо ждала, пока мы кончим говорить, ей наш разговор был неинтересен, а я непонятен и чужд. Наконец она не выдержала и сказала:

— Иван Сергеевич, посмотрите, я принесла.

— Вот именно, — сказал Розинский. — Именно такой.

Голос его приобрел несвойственную сладость. Так люди, не умеющие вести себя с детьми, разговаривают с ними.

— Надюша, — сказал он, — наша звезда. И первая помощница. Правда, Надюша?

— Я его кормила, — сказала Надя, глядя щенка. — Можете не кормить.

— Ты будешь играть с ним на травке, — сказал Розинский. — Вон там. А когда проедет машина, ты помажешь ей рукой.

— Я знаю, — сказала Надя. — Мне Виктория говорила.

— Удивительно талантливый ребенок, — сказал Розинский. — Вообще я хочу снимать детский фильм. С детьми так интересно работать. У них есть непосредственность, утерянная актерами. Ты как думаешь?

Я не успел ответить, потому что оператор отбросил окурок сигареты и сказал:

— Солнце уйдет.

Оператор, второй режиссер Виктория и директор картины — старые киноволки — относились к Розинскому снисходительно и не скрывали своего снисхождения. Розинский это чувствовал и старательно скрывал обиду. Это была его первая полнометражная картина, а они сделали по двадцать картин на своем веку и насмотрелись разных режиссеров. И потому, хоть фильм только начинал сниматься, уже были уверены, что из Розинского ничего путного не выйдет.

Они были не правы, но мы с Розинским не могли и не хотели с ними спорить или оправдываться. Доказывать правоту надо было картиной, а пока приходилось терпеть,

так как снисходительное отношение к режиссеру выражалось не только во взглядах, но и в полном нежелании совершать лишние движения или усилия, из которых и состоит обычная жизнь съемочной группы.

Проезд машины, которой Надюша должна была помахать рукой, состоялся только к вечеру. Мы с ней оба к тому времени устали, потому что нет ничего утомительнее безделья, когда вокруг тебя все заняты. Надя все время возилась с щенком — щенку было скучно, он капризничал и просился домой. У меня в сумке оказался бутерброд, который я купил утром на вокзале, — из того набора в целлофановом пакете, в который входят два крутых раздавленных яйца, бутерброд с колбасой и огурец.

Мы смотрели с Надей, как щенок безгласно водит носом над бутербродом, и тут сообразили, что голодны. Я ехал в поезде, а Надя искала щенка. Поэтому я уговорил Надю пойти в столовую, которая была в двухэтажном доме на косогоре. Половина первого этажа — столовая, половина — хозяйственный магазин.

Надя сначала отказалась идти, потому что у нее не было денег, но я убедил ее, что питание проводится за счет киногруппы. Я так и сказал: «Питание проводится», — и казенный оборот ее сразил.

Выбор блюд был невелик — столовая вот-вот должна была закрыться. Щенок улегся под столом. Мы ели щи, а потом подавальщица сказала:

— Рыженькая, возьми котлеты.

Надя вскочила и побежала за котлетами, а я поглядел ей вслед, потому что удивился словам подавальщицы. И в самом деле увидел, что у Нади темно-рыжие волосы, густые и непослушные, собранные на затылке резинкой. А когда Надя вернулась с тарелками и поставила их на стол, сказав мне: «Пожалуйста, кушайте», — я пригляделся к ней. У нее была очень белая кожа в веснушках и зеленые глаза.

Надя почувствовала мой взгляд, и, видно, он показался ей странным.

— Я сейчас, — сказала она. — Я уже наелась.

— Не спеши, — сказал я. — Ты в каком классе?

— В четвертом.

— А почему ты не в лагере?

— А у нас городской лагерь при школе. Виктория пришла и стала отбирать для массовой. Сначала только десять человек отобрала, а потом все начали кричать, что нечестно, и она всех взяла. Мы вчера снимались, а сегодня Виктория сказала, что щенок нужен. Она мне сказала, я сама не напрашивалась.

Я постарался вспомнить, в какой сцене нужны были дети, много детей. И не вспомнил.

— А что вы вчера играли? — спросил я.

— Мы кросс по улице бежали, а Лаврентьев за нами. Знаете Лаврентьева?

Лаврентьев был старым актером, всю жизнь игравшим эпизоды, из тех актеров, лица которых известны любому — фамилия почти никому.

— Тебе интересно было?

— Очень, — сказала Надя. — А сегодня неинтересно.

— Но ведь ты можешь смотреть, как снимаются другие.

— Один дубль интересно, а они по три дубля снимают. И солнца ждут.

Как быстро, подумал я, эти малыши впитывают кинолексикон. Слова «дубль», «массовка» звучали естественно, как «щенок».

— Можно, я ему кусок котлеты дам? — спросила Надя.

Я разрешил. Она тихонько сунула половину котлеты под стол, и щенок выхватил ее из пальцев Нади и принялся чавкать.

— Потихе ты! — сказала ему Надя. — Нас выгонят.

— Компот будете брать? — спросила подавальщица.

Когда Надя подошла к ней за стаканами, подавальщица сказала:

— Собак у нас кормить нельзя.

— Я больше не буду, — сказала Надя.

— Ты хорошо учишься? — спросил я.

Надя удивилась вопросу. Хоть он был и стандартен в разговорах со взрослыми, от меня она его, видно, не ждала.

— Когда как, — сказала она.

Я поймал себя на том, что стараюсь вспомнить, что еще надо спрашивать в светском разговоре с незнакомым

ребенком. Надя глядела на дверь. Я понимал, что она терпит сидение в столовой, хотя компот уже выпит, потому что я взрослый, который ее накормил и накормил щенка. Но со мной ей неинтересно. И наше общение, таким образом, зашло в тупик.

К счастью, в солнечном прямоугольнике открытой двери возник округлый силуэт Виктории.

— Я так и знала, — сказала она. — Кинозвезду похитили. Простите, автор, Надю ждут.

— Спасибо, — сказала Надя и быстро поднялась со стула. Сделала шаг к Виктории, и я физически ощутил овладевшее ею облегчение. Но, сделав шаг к Виктории, Надя вспомнила, вернулась к столу собрать посуду. Виктория ждала в дверях.

— Ничего, — сказал я. — Я отнесу. Иди.

— Пускай приучается, — сказала Виктория. — Успеем.

Мы с Надей отнесли грязную посуду на мойку. Надя кивнула мне и убежала. Я пошел следом. Я не спешил. Почему-то мне неловко было оттого, что Виктория застала нас в столовой. С какой стати московскому писателю кормить обедом девочку из массовки?

Я уселся на траву в сторонке, за камерой, чтобы режиссер меня не видел. Потому что, увидев меня, он обязательно стал бы спрашивать моих советов. Эти советы были ему не нужны, да и давать их — подрывать и без того хлипкий авторитет Розинского. Но ему казалось, что, если он пригласил на съемки автора, то вежливость требует, чтобы автор не чувствовал себя покинутым.

«Жигуленок» раза четыре проехал мимо лужайки, и каждый раз Надя деловито махала «жигуленку», а щенок, словно заучив роль, вскакивал и лаял на машину.

Заходящее солнце создавало медный ореол вокруг Надиной головы. Она потеряла резинку и часто выпячивала нижнюю губу и дула вверх, чтобы отогнать с лица прядь волос.

Потом Розинский крикнул: «Стоп!» — и начал совещаться с оператором. Я потерял Надю из виду, а ко мне подошел знакомый актер, который начал патетически жаловаться на режиссера, потому что Розинский вызвал его с утра на площадку, но до сих пор так и не снял.

Я удивился, когда увидел Надю совсем рядом. Она держала щенка на руках и явно ждала меня.

— Ты что? — спросил я.

— Моя мама пришла, — сказала она. — Хотите поглядеть?

Несколько женщин стояли возле складного столика у сходней. За столиком сидел администратор и оплачивал талоны массовки.

Надя угадала мое желание. Мне хотелось поглядеть на ее мать, потому что я надеялся в матери увидеть Надю, какой она станет лет через двадцать.

Я долго не мог угадать ее мать среди женщин. Она оказалась сухонькой чернявой женщиной лет тридцати с узким капризным лицом. Надя поняла мое разочарование, сказала, как всегда, рассудительно:

— Я на отца похожа. Он от нас ушел.

Надина мать спорила о чем-то с администратором.

— У нас с деньгами несладко, — сказала Надя. — Отец совсем не присылает. А мать санитаркой в больнице.

И, увидев, что мать считает деньги, Надя пошла к ней, не попрощавшись со мной, потому что больше нам не о чем было разговаривать.

На следующий день я не выспался. Сначала в номер к Розинскому пришли оператор и звукооператор, и мы ужинали. Жена Розинского наварила картошки. Пришел тот актер, который жаловался на простой, принес копченого леща, которого ему подарили поклонники из военной части. В буфете было только шампанское. Мы разговаривали бестолково, долго, я затруднился бы вспомнить, о чем. Вернее всего, об экстрасенсах, плохом климате, лесных пожарах, рыбалке, интригах на студии, машинах, акселерации, катастрофах, футболе. А может быть, о летающих тарелочках, плохих комедиях, землетрясениях, ценах на помидоры, хоккее.

Потом пришла Виктория выяснить завтрашние объекты и сказала, что оркестр не сможет быть к двум, а придет лишь к четырем часам. Оператор сказал, что освещение будет неподходящим. Розинский обиделся на Викторию, которая могла бы сказать об оркестре раньше. Жена Розинского усадила Викторию за стол. Виктория

постепенно перестала дуться на Розинского, а режиссер на нее. Виктория сказала:

— А наш автор сегодня водил звезду в ресторан.

— Какую звезду, в какой ресторан? — удивился Розинский, который во время съемок ничего вокруг не видел.

Виктория, посмеиваясь, рассказала, как застала нас в столовой с Надей, и в ее устах это звучало, словно я был бесстыжим соблазнителем малолетних, и мне хотелось, чтобы она поскорее убралась, хотя и смеялся вместе со всеми.

Потом, за полночь, все разошлись, и Розинский до утра жаловался мне на группу и на неудачно сложившуюся жизнь.

Утром, когда я увидел, что в толпе, собравшейся у пристани в ожидании группы, стоит и Надя с белым щенком на руках, я отвел глаза, хотя девочка смотрела на меня в упор. Мне показалось, что Виктория, которая вылезла из автобуса вслед за мной, смотрит мне в спину.

Но Надя не понимала этих тонкостей и побежала ко мне, как к старому знакомому.

— Доброе утро, — сказала она.

Ее зеленые глазищи уставились на меня требовательно. Она освободила одну руку — ноги щенка повисли и задергались — и взяла меня за пальцы. Она не удержалась и мотнула головой в сторону, и тогда я понял причину ее оживления: в толпе стояли несколько детей ее возраста, которые внимательно смотрели на то, что делает Надя.

Раз ей нужен был союзник, то я согласен был им стать.

Я взял ее за руку, пожал осторожно робкие пальцы и бодро спросил:

— Будем сниматься?

— Не знаю, — сказала Надя. — Как Виктория.

И снова оглянулась на непричастных к высокому искусству друзей.

Виктория как раз проходила рядом.

— Вика, — спросил я, — сегодня Наде надо сниматься?

Наверное, мне надо было спросить это тихо, не привлекая внимания. А Виктории почему-то доставило удовольствие громко ответить мне:

— Что вы, эту девочку уже отсняли. — Она кинула снисходительный взгляд на Надю и спросила: — Твоя мама получила деньги? Ну тогда иди играй. Спасибо.

— А щенок? — спросила Надя.

— Щенка тоже отнеси домой.

Надя освободила мои пальцы и медленно пошла прочь. А у меня было гадкое чувство, что именно я ее предал. И я даже ощутил недоброжелательство к ребятам, которые улыбались, глядя на Надин провал. Не знаю, чего наговорила им Надя вечером, но, видно, она искренне полагала, что теперь будет сниматься каждый день, иначе бы не привела зрителей.

Зрители остались у площадки. Надя ушла. Я видел, как она поднимается по откосу к столовой. Она не оборачивалась. Я чуть было не пошел за ней следом, чтобы как-то утешить, поговорить. Но не решился. Из-за Виктории. Вместо этого подошел к Розинскому и почему-то раздраженно стал возражать против мизансцены.

Я думал, что больше никогда не увижу эту девочку. Был человек и улетел на Луну.

А случилось так, что я ее увидел еще дважды. Первый раз через полчаса.

Розинский понял, что машина проезжала мимо лужайки вовсе не так, как положено проезжать машине мимо лужайки. И тут ему понадобился щенок с девочкой. Виктория сообщила, что девочка отпущена домой, так как никаких иных указаний не было. В голосе ее бушевало торжество. Она была ни в чем не виновата. Режиссер был виноват во всем. Более того, ехать за девочкой, чтобы отыскать ее и вернуть, Виктория тоже не могла, так как ей надо было встречать оркестр. И вообще, ехать было некому, так как оба ассистента отправились по каким-то загадочным делам. И я сказал Розинскому, что съезжу, если Виктория даст адрес, так как мне все равно делать нечего. Виктория, разумеется, адреса не имела, но я подошел к Надиным товарищам, которые все еще толпились возле съемочной площадки, и один из них согласился поехать со мной.

Надя жила на горе, за рынком, в двухэтажном деревянном доме, заселенном густо и шумно. Я сразу узнал ее

мать, которая развешивала во дворе белье, и, когда я спросил Надю, она ответила:

— Хватит с нее, вскружили голову.

Я промолчал, и тогда мать спросила, заплатят ли за сегодняшний день. Я сказал, что заплатят. Тогда мать нехотя крикнула Надю. Я полагаю, что Надя слышала, как подъехал наш «рафик», и слышала разговор с матерью, потому что она появилась во дворе мгновенно и тут же, не спрашивая, почему я приехал, направилась к машине. Щенок тоже догадался, в чем дело, он выбежал за Надей.

В машине мы неловко молчали, и мальчик, который привез меня к Наде, тоже молчал. Потом я спросил:

— Тебе нравится сниматься в кино?

— Когда как, — ответила Надя.

А когда мы приехали на площадку и вышли из машины, она сказала:

— Спасибо вам.

И раскрыла ладонь. В ней лежала елочная игрушка — таких теперь не делают: плоский, из давленного картона, ярко раскрашенный золотой петушок.

— Возьмите, — сказала Надя. — Вам пригодится.

Интересно, подумал я, она успела взять, когда я разговаривал с матерью во дворе, или давно ждала, надеясь, а вдруг за ней приедут? И загадала, что, если это буду я, то она даст мне петушка. И сидела перед окном, таясь за занавеской, в потной ладошке держала петушка, а ходики отбивали время... Тут я понял, что воображение понесло меня черт знает куда.

Надя глядела на меня, не отходила. Я должен был сказать какие-то правильные, ожидаемые от меня слова. Я их не придумал. Я сказал:

— Спасибо, я его сохранию.

— Навсегда, — сказала Надя.

— Навсегда, — согласился я. — А через много-много лет ты узнаешь меня по этому петушку.

Надя улыбнулась.

— Я вас все равно узнаю, — сказала она, — хоть вы будете совсем старей.

И Надя пошла на лужайку, где ей долго пришлось

ждать, пока кончат снимать эпизод с оркестром. Она возилась со щенком и на меня не глядела.

Я уехал на следующее утро. И только в поезде вспомнил, что не спросил Викторю, выписали ли деньги Наде за последний съемочный день.

2

С академиком Бессоновым я учился в одном классе.

Есть принципиальная разница между теми, кто учился с тобой в одном классе, и теми, кто учился в институте. Школьные соученики всегда безмерно гордятся успехами своих товарищей. «Я учился с ним в одном классе», — звучит чем-то вроде заклинания. Институтские же сверстники обычно не прощают тебе успехов. Ревность профессионалов. А в школе никто не задумывается всерьез, кем станет.

Кроме Андрюши Бессонова.

Он уже в пятом классе знал, что станет великим физиком. Именно великим. Мы привыкли к этому настолько, что уже через много лет после школы, встречаясь на улице, одноклассники спрашивали: «Как там Андрюша Бессонов, стал великим физиком?» И самое удивительное и приятное заключалось в том, что он стал великим физиком. А мы с ним учились в одном классе.

В журналистской молодости я брал у него интервью, и с тех пор мы не теряли друг друга. Оказалось, что мои скромные писательские успехи волнуют его не меньше, чем меня его достижения. Я помню, как мы с ним встретились случайно в Ялте, летом, на набережной. Он был с молодой красивой женщиной типа «вторая жена великого человека». И он сказал ей: «Это Николай, мы с ним учились в одном классе. Он писатель». И в словах его звучала гордость за меня.

Разумеется, тема, которой занимается его институт, называется туманно и научно. Но Бессонов всегда говорил: «Я делаю машину времени, а мне все твердят, что это невозможно». — «Ну и что? — спрашивал я. — Как успехи?» — «Не спеши, — говорил Андрюша Бессонов. — Еще не вечер».

Его звонок застал меня в мрачном настроении. Если

каждому человеку время от времени становится совершенно ясно, что жизнь его прошла зря, что он ничего не сделал, ничего не стоит и, главное, его никто не любит, то у писателя средней руки, к каковым я себя отношу, такое состояние случается чаще, чем у бухгалтеров и баскетболистов. С утра мне позвонили, что сценарий телефильма зарезал худсовет, потом позвонила бывшая жена и долго рассказывала, что ее новый муж — гений, к сожалению, непризнанный. А он, по-моему, вполне благополучный фокусник. Он умеет так ловко завязывать и развязывать веревочки, что никогда не догадаешься, как же это ему удастся. Потом почтальон принес отвергнутую журналом рукопись и письмо от дочери, из которого я узнал, что она ждет второго ребенка, собирается вступать в кооператив и хочет узнать, смогу ли я ей помочь. Я попытался написать рассказ и через два абзаца сообразил, что я писал именно его лет десять назад, только лучше, чем сейчас. Потом я решил отнести в химчистку костюм и купить чего-нибудь на ужин. Когда освобождал карманы пиджака, то вытащил золотого петушка и долго не мог вспомнить, как он попал ко мне в карман. А когда стоял в очереди в химчистку, то принялся рассуждать о том, что мне скоро пятьдесят лет, хотя больше сорока мне мало кто дает и в троллейбусе ко мне обычно обращаются со словами «молодой человек». В моем возрасте уже надо иметь свой дом, место в жизни и основательные достижения. Потому что после пятидесяти уже не сможешь писать лучше, чем в тридцать. Задача — еще несколько лет удержаться на том же уровне, что и раньше. А у меня нет достижений, достаточных для того, чтобы меня помнили хотя бы в редакциях. Ведь если я завтра улечу на Марс, никто этого даже не заметит. Придет молодой человек, принесет рассказы не хуже, чем у меня, и займет экологическую нишу.

С такими мыслями я вернулся домой, открыл окно, чтобы выгнать застойный запах переполненных пепельниц, и тут позвонил Андрюша Бессонов.

— Коля, — сказал он быстро, — можешь меня поздравить.

— Поздравляю. С чем?

— Я ее сделал. Скептики посрамлены, хотя, конечно, не убеждены.

— Ты имеешь в виду машину времени?

— Для вас, простых смертных, эта штука будет называться машиной времени. Сам понимаешь, что я всю жизнь буду избегать этого названия, чтобы не стать посмешищем.

— Но войдешь в вечность с кличкой «изобретатель машины времени», — сказал я.

— Хочешь поглядеть? — спросил Андрюша. — Я тебе выпишу пропуск.

Была суббота. Андрюшин институт пустовал. Мы с ним облазили множество залов и комнат, и я увидел все, кроме машины времени. И пульта управления, и компьютер, и даже склад. Машины не существовало. Было «место для машины времени». Оно скрывалось в центре набитого аппаратурой зала, и я так и не понял, как туда добраться.

— Сейчас я тебе покажу, — сказал Андрюша.

Пришел юноша с серебряным кубиком, показал его мне, как новый муж моей жены показывает зрителям крапленую игральную карту, потом исчез, и Андрюша велел мне глядеть в круглый иллюминатор. Вдали, за сплетением приборов, я увидел этот кубик на каком-то столе. Потом раздалось довольно неприятное жужжание. Кубик пропал.

— Вот и все, — сказал Бессонов. — Убедительно?

— Убедительно, — сказал я. — Ты буквально фокусник.

Бессонов немного обиделся и спросил:

— А ты чего бы хотел?

— Не знаю. Я никогда еще не видел машины времени. А когда он вернется?

— Вернется? Никогда. Там, куда он улетел, нет машины времени.

— Он так и останется лежать? Среди динозавров?

— Да ты что! Он лежит в будущем году.

— Ага, — проявил я начитанность... — Значит, ровно через год он здесь материализуется?

— Совсем дурак, — сказал Бессонов, словно мы с ним

вместе изобретали машину времени и я забыл нечто весьма очевидное. — Это же невозможно.

— А что возможно?

— Коля, милый, как только этот кубик улетел от нас, он пропал навсегда. Для нас с тобой. Он сейчас не на Земле, то есть не на нашей Земле.

— Где же?

— На той, альтернативной Земле, существование которой предполагает присутствие кубика в то время, когда он там появится. А на нашей Земле его нет и быть не может. Разве непонятно?

— Сколько же у тебя Земель?

— Не у меня. Во Вселенной. Во Вселенной их бесконечное множество.

— И они все существуют?

— Разумеется, потому что вариантов тоже бесконечное множество.

— И значит, есть Земля, на которой Наполеон победил в битве при Ватерлоо?

— Честно говоря, сомневаюсь. Экономические возможности союзников были куда выше, чем у Наполеона. Он был обречен.

— Ты слишком серьезен.

— Я вынужден быть серьезным.

— А когда будешь посылать туда людей?

— Хоть сегодня.

— И уже посылал?

— Еще чего не хватало!

— Почему?

— Ни один местком не разрешит, даже добровольцу. Это же смерть.

— Почему?

— Да потому, что этого человека больше не будет. Понимаешь, он будет там, откуда нет возврата.

— А если он захочет?

— Ну ты захотел бы?

— Еще не знаю.

— Узнаешь, позвони.

— Конечно, позвоню, — сказал я.

Ну, хорошо, рассуждал я в тот вечер. Я проживу здесь еще десять лет, может быть, двадцать. Лучше писать я не буду. А ведь когда-то я хотел стать палеонтологом. Даже ходил в кружок при музее. Но не стал палеонтологом именно потому, что осознал: я никогда в жизни не увижу ничего, кроме выветренных костей и отпечатков в песчанике. Что за смысл изучать фантомы? Ну вот, а теперь есть возможность увидеть этих нелепых динозавров, хочешь издали, хочешь вблизи, хочешь кинуть камень — кидай. Я представил себя голым, изможденным, камень в руке и одиночество такое, какое здесь и не снилось. Мне даже стало страшно от одиночества среди динозавров. И этот страх продолжался во сне. Сон был реальным и однообразным. Я бежал по папоротниковому лесу, увязал в болоте, а за мной лениво трусил тираннозавр, порой открывая широко многозубую пасть, чтобы я не подумал, что он шутит. И я знал, что в конце концов — не сегодня, так завтра — он догонит меня и съест, потому что я в том мире один.

На следующий день позвонил Розинский, который вернулся в Москву, позвал смотреть материал. Я поехал. В маленьком зале сидели человек пять. Мы курили, сбрасывая пепел в пустую коробку от пленки. Я ждал, когда будет Надя. Сначала я угадал ее в толпе детей, бежавших кросс. Надя бежала серьезно, старательно, но ее все время закрывали от меня более шустрые дети. Потом она бежала во втором дубле. Потом в третьем.

Что интересовало меня в этой девочке? Девочка как девочка, рыжая. Лет через десять она вырастет в дебелую ленивую женщину, а я буду уже старым и никто не будет говорить мне в троллейбусе: «Передайте билет, молодой человек». «Но она добрая, — твердил я себе, будто переубеждал. — Она простая и добрая. Она такой и останется. Я же смотрю не на нее, а на ту женщину, которая будет. Только она тогда не узнает меня, даже с золотым петушком».

Потом Надя была на лужайке, она играла с песиком и махала рукой проезжавшей машине. Она делала это три

раза. И еще два раза, когда ее переснимали. Но Розинского интересовал только проезд машины.

— Вот именно, — сказал он торжествующе Виктории. — Теперь я хоть вижу выражение его лица.

А я так и не заметил выражение лица героя.

— Этот дубль и оставим, — сказал Розинский монтажера.

Потом все хвалили материал — почему не похвалить материал, если это ни к чему не обязывает. Картина будет делаться в монтажной. Я хотел попросить у монтажера срезку — кадры с Надей из ненужного дубля, но не решился.

А потом, дня через два, я долго говорил по телефону с моей приятельницей. Она художница, делает кукол. И для выставок, и для театра. Она делает хороших кукол, но у нее не сложилась жизнь. Живет одна и делает кукол. И она сказала мне:

— Я тебе завидую, Коля. Через десять лет мои куклы изнасятся. А твои книжки будут в библиотеке. И фильмы твои иногда будут идти в кино. Ты зря расстраиваешься. Ведь то, что ты делаешь, накапливается. Мне хуже: то, что я делаю, — исчезает.

— Поглядим через десять лет, — сказал я.

И, повесив трубку, я услышал собственные слова: «Поглядим через десять лет».

И вдруг я понял, чего хочу. Я хочу проснуться через десять лет. И я даже объяснил себе, почему. Я хочу увидеть, останется ли что-нибудь через десять лет от того, что я делаю сегодня. Если художница права, то я должен быть известен и кому-то нужен. У меня есть пропуск в будущее — золотой петушок. В конце концов оттуда, из будущего, будет виднее, что я делал неправильно, а что зря. И я не буду повторять своих ошибок, и не буду лениться, и не буду откладывать на завтра. У меня будет десять лет форы. Я ничего не теряю, даже ни дня жизни не теряю. А приобретаю. Сто лет — слишком много, за сто лет меня наверняка забудут. Да и мир изменится так, что мне в моем возрасте не найти в нем места. А десять лет — приемлемый срок. Десять лет назад случились совсем недавно. Десять лет вперед тоже близки, очень близки. Я окажусь там, минувя все горести и неприятности,

болезни и потери, которые меня ждут, если я поплечусь в будущее вместе со всем человечеством, значительно постарев, а может, и померев по пути.

Так я себя уговаривал. Словно почти незнакомая девочка была ни при чем. Впрочем, она и была ни при чем. Только если бы ее не было совсем, я бы не вернулся к Андриюше Бессонову и не сказал ему, что хочу стать добровольцем.

4

Андриюша Бессонов, с которым я учился в одном классе, сказал мне решительное «нет». Он поднял меня на смех. Он объяснил мне снова, что я не смогу вернуться обратно. И совершенно неизвестно, что представляет собой альтернативная Земля, в которой предусмотрено мое появление через десять лет.

Я жал на то, что я совершенно одинок. Что никто не спохватится. Что никто не узнает. Что пора ему переходить к экспериментам с людьми, потому что иначе его машина времени останется лишь теоретической конструкцией, а это обидно.

В конце концов Андриюша Бессонов догадался, но догадался неверно.

— Ты болен? — спросил он очень серьезно.

— Болен, — сразу согласился я.

— И это... они отказались дать тебе надежду?

— Я надеюсь, что через десять лет они мне помогут, — сказал я. — Доктор уверяет, что вопрос создания лекарства — месяцы.

Андриюша поверил мне. Ему нужно было логичное и разумное объяснение моему странному желанию. Незлечимая болезнь была единственным объяснением, которое его могло удовлетворить. Но он снова мне отказал.

А потом почти согласился. И не знаю, что было важнее — его желание помочь мне, учившемуся с ним в одном классе, или страсть ученого. Ему в самом деле безумно хотелось отправить человека в будущее. Ведь он был изобретателем машины времени.

В результате я сделал это без его разрешения, вроде бы обманув его. Категорически запретив мне приближать-

ся к машине, он показал, как она действует и что надо сделать, если уйти на десять лет в будущее.

Я не стал прощаться с ним. Я просто пошел поглядеть на «место времени» вблизи — и провалился в темень...

5

Я спускался к реке по улице, огражденной глухими заборами, которые порой нехотя раздвигались, чтобы дать место одноэтажному фасаду в три окна. Улица повернула под прямым углом, и неожиданно я увидел внизу реку.

Улица круто стремилась к берегу, к пристани, а затем, на том берегу, так же круто поднималась наверх и пропадала в лесу. Город переплеснул реку, но сил его хватило только на два десятка домов.

Пристань была внизу, я видел ее красную крышу. Под обрезом крыши было название «Мочалки». Название меня удивило, потому что город назывался иначе. Но слово «Мочалки» было знакомо.

Возле пристани толпились люди, стояли фургоны, автобус.

Снимали кино.

Я знал, что снимают кино, потому что специально шел туда. И знал, разумеется, что действие будущей комедии происходит в городке «Мочалки». Такого городка нет. Я его сам придумал — маленький чудачковатый город. Но обыкновенность вывески и обыкновенность самой пристани заставили меня забыть, что городок «Мочалки» пять лет назад родился в моем воображении, а надпись — плод трудов художника киностудии.

И когда я осознал, в чем дело, я улыбнулся от благодарности к художнику, который так нечаянно обманул меня и заставил на минутку поверить в собственную выдумку.

Розинский, режиссер фильма и мой приятель, ждал меня у видеокамер, которые полукругом осаждали площадку.

— Ну, как? — спросил он меня, надвигаясь круглым животиком. — Ты себе это так представлял?

— Не так, — сказал я, — но мне нравится, как ты себе это представляешь.

Сейчас он потянет меня в сторонку, подумал я, и

начнет жаловаться на группу, на качество видеокассет, на Викторию, на директора. Удивительный человек. Мы с ним снимаем пятую картину, пятую картину он работает с той же Викторией, с тем же директором и все равно подозревает их в неуважительном к себе отношении, в снисходительности, даже в презрении.

— Пошли к монитору, — сказал Розинский вместо жалоб. — Поглядим материал, который до обеда снимали.

Мониторы стояли в комнате начальника пристани, которую тот освободил для группы, хотя сам из любопытства остался и сидел теперь за пустым столом.

Оператор крутил дубли сразу на двух мониторах. Второй брал сцену под прямым углом к главному. Катер на воздушной подушке причаливал к пристани, с него сходили пассажиры. Старик Поляковский крутил головой, разыскивая в толпе свою невестку. На секунду его взгляд задержался на высокой плотной девушке с темно-рыжими волосами, непослушными, даже буйными, скрепленными сзади резинкой. Оператор дал ее крупный план, и я увидел, что у нее ярко-зеленые глаза.

— Это кто? — спросил я. — Я ее не знаю.

— Это не актриса, — сказала Виктория. Могучая седовласая Виктория. Как она изменилась за те годы, что мы работаем вместе! — Это местная, из массовки. Розинский от нее без ума.

— Это я от нее без ума! — сказал оператор. — С такими данными давно надо в Москву.

— Ее не уговоришь, — вздохнул Розинский. — У нее хозяйство, мать больная. Жених скоро из армии вернется.

Когда мы кончили смотреть материал, то оставили второго оператора корректировать световую гамму снятых кадров, а сами вышли на теплый вечерний склон. Приехал оркестр, который должен был играть на проводах героя.

Я поймал себя на том, что кручу головой в поисках девушки с зелеными глазами. Ее не было.

— Где же ваша находка? — спросил я Розинского. Он сразу догадался, о ком речь.

— Надя? — сказал он. — Честно говоря, почти уверен, что Виктория с ней расплатилась и отправила ее домой. Сейчас проверим.

Розинский поднял руку, и тут же рядом возник адми-

нистратор. «Ну и вышколил группу мой давний друг, — подумал я. — Когда ты начинал свою первую картину, администраторы тебя просто не замечали».

— Миша, — сказал Розинский, — вчера у нас такая рыженькая работала. Надя...

— Виктория Олеговна сказала, что больше ей приходиться не нужно.

— Вот видишь, как я их всех знаю, — и тут же Розинский обернулся к Мише-администратору и приказал: — Чтобы немедленно отыскать и на площадку.

— Но Виктория Олеговна...

— Я сказал.

Миша бросился к своему «жигуленку» — розовому, тридцать шестой модели, недавно купил. Я догнал его.

— Миш, я с тобой.

— Пожалуйста, — сказал он. Он ничего не понял. Он спросил: — Вас по дороге в гостиницу завезти?

— Нет, я с тобой к Наде.

Миша не осмелился перечить. Сам Николай Дмитриевич, маститый, заслуженный, лауреат, пожелал! Им, великим людям, дозволены маленькие причуды.

Надя жила в двухэтажном доме на окраине. Он каким-то чудом остался здесь, хотя всех соседей его уже снесли. От одиночества дом казался молчаливым и пустым. Маленькая седая женщина с нервным, видимо, вечно озабоченным лицом обернулась к нам.

— Надю! — сказал бесцеремонный Миша.

— Не будет она больше сниматься, — буркнула сердито женщина. У меня было такое ощущение, что я ее когда-то видел. Хотя скорее всего просто знаю этот тип женщин. — Ей заниматься нужно. Опять провалится в институт.

— Только на один день, — сказал Миша. — По личной просьбе режиссера. Видите, даже наш автор приехал. И вообще ей прямая дорога в кино.

В этот момент Надя вышла из дверей. Мне показалось, она была уверена, что за ней должны были приехать и позвать. Нет, она не была накрашена или как-нибудь особенно одета. У нее была очень белая, в веснушках кожа. И волосы ее были не то чтобы рыжими, а очень

густого, темного медного цвета. Она знала силу своего взгляда. Она внимательно поглядела на меня.

— Николай Дмитриевич. Знаменитый писатель, — поспешил представить меня Миша. В иной ситуации я бы одернул его. Но что поделаешь, пускай Надя слышит именно эти слова.

— Я знаю, — сказала Надя. — У меня ваша книжка есть. А Виктория Олеговна сказала, что в моих услугах она больше не нуждается.

Она удачно скопировала голос Виктории и даже надменную — графскую — каменность ее лица. Миша хихикнул:

— Сам Розинский просит.

— Мама, — сказала Надя, — я буду вечером.

И пошла к машине.

«Как она естественна! — подумал я. — Как она правильно садится в машину».

В машине она поглядела на меня оценивающе. Гожусь ли я в знаменитые писатели?

— Я думала, что вы старый, — сказала она.

— Я и так немолодой, мне скоро пятьдесят будет.

— Никогда не дашь, — сказала Надя. — Вас, наверное, в автобусе еще молодым человеком называют? Молодой человек, передайте билет. Правильно?

— Еще называют.

— Режиссер кажется старше вас.

— Только кажется.

— Я вообще считаю, что молодым девушкам нечего делать со своими сверстниками. Скучно до ужаса. Мужчина должен иметь опыт.

Это были не ее слова. Наверное, из какого-нибудь кинофильма. Она положила ногу на ногу, колени у нее тоже были белые.

— Я совсем не загораю, — заметила она мой взгляд. — Обгораю и снова белая. Даже обидно, как будто в отпуске не была. Вы мне завтра книжку свою подпишете?

— Обязательно.

Мы приехали. Розинский ждал, не начинал без Нади. Не потому, что она была ему нужна, а потому, что таким образом устанавливал свою безграничную власть в группе. Виктория дулась, но молчала.

Надя прошла к толпе провожающих главного героя так, словно была единственной звездой на площадке. Роли у нее никакой не было, но я заметил, как вторая камера периодически замирала на ее крупном плане.

Был перерыв. Поехали за кассетами, конечно, не рассчитали и забыли запас в гостинице. Надя отыскиала меня на берегу.

— Мне этот Сема надоел, — сказала она.

— Кто?

— Сема, оператор. Он меня сегодня в кино звал. Операторы ничего не решают, правда?

— В чем?

Она не ответила. Продолжала, словно не слышала:

— У нас кино идет интересное, индийский фильм, в двух сериях. Вы не смотрели?

Глаза ее были настойчивыми, чистыми.

— Не люблю индийские фильмы, — сказал я.

— Я тоже не люблю, — сказала Надя слишком быстро. — Они такие примитивные. Но иногда хочется развлечься и ни о чем не думать.

— Надя! — закричал Розинский. — Ты куда ушла? Начинаем.

— Зовет, — сказала она. — Обратил на меня внимание. Говорит, что у меня данные.

Она отошла к группе. Но недалеко. Остановилась и спросила:

— А вы специально к речке отошли?

— Нет, — удивился я.

Она засмеялась низким сочным смехом.

А я понял, что специально отошел к реке, надеясь, что она подойдет ко мне.

Этого еще не хватало, рассердился я на себя. Знаменитый писатель. Сколько ей лет? Двадцать, не больше. Девушка хочет в кино. Девушка совершенно не представляет, что это такое. Она думает, что это и есть красивая жизнь. Ей все говорят: ах, у тебя удивительные глаза! Ах, какие волосы! Понятно, почему сердится Виктория: непозволительно острое внимание со стороны мужчин. Я поглядел наверх. Виктория стояла, ждала Надю, но смотрела на меня. Как мне показалось, с осуждением.

На следующий день мне надо было уезжать.

Перед поездом я зашел на площадку. Посмотреть, как будут снимать. А может, взглянуть на Надю. Может быть. Вчера я уехал раньше других, был зол на себя, устал как собака. Уехал, пока снимали, лег спать.

Я знал, что Наде делать на площадке нечего. Но почти не сомневался, что она придет.

Она меня увидела, когда я шел по улице.

Она сидела, болтала с оператором Семей.

Сразу поднялась и пошла мне навстречу.

— Вы вчера ушли, даже не попрощались, — сказала она с осуждением. Как будто я нарушил обещание ждать ее.

— Устал.

— А я в кино ходила. С Семей. Ужасная тоска эти индийские фильмы.

У Нади были губы очень нежного розового цвета.

— Как вы думаете, — спросила вдруг Надя, — у меня есть шансы поступить во ВГИК? Или в театральное училище?

— А почему ты хочешь?

— Я обязательно поступлю, — сказала Надя. — А вы мне поможете?

— Как же я вам помогу?

— Ну, у вас связи, вас все знают. Вот я книжку принесла, подпишите.

Пока я подписывал книгу, а она корректировала надпись: «Напишите лучше — «Дорогой Наде», так лучше», — подошел Миша, сказал, что машина ждет.

Надя взяла книгу, спрятала в сумочку.

— Что вы ей написали? — спросил Миша.

— Не твоего ума дело. — Надя четко разбиралась, кто ей может помочь в Москве, а кто ей не нужен.

Но Миша не обиделся. Пошел к машине.

— Вы верите, что я поступлю? — спросила Надя.

— Убежден, — искренне ответил я.

— Я в Москве вас найду. Мне даже вашего телефона не надо. Осенью приеду.

Потом она протянула мне руку, как послушная девочка.

— Не уходите еще. Я вам тоже подарок приготовила.

Она извлекла из сумочки елочную игрушку, таких давно уже не делают. Петушок из давленого картона, позолоченный.

— Если увидимся в Москве, — сказала она серьезно, — я вас по петушку узнаю.

— Николай, ты с ума сошел! — крикнула Виктория. — На поезд опоздаешь.

Я побежал к машине. От машины оглянулся. Надя стояла, приветственно подняв руку. Очень белую руку.

В поезде я снова расстроился. Попытаюсь объяснить, почему. Мне скоро пятьдесят лет. Формально я вроде бы достиг многого. Меня знают, печатают, снимают. И если я завтра умру или улечу на Марс, то, полагаю, еще долго будут говорить о моем тоне, моей стилистике, моем видении мира. А если честно — добился ли я того, чего хотел? Нет, ничего не изменилось. Двадцать лет назад я писал лучше, хоть многого и не умел. Сейчас я на площадке, с которой путь только вниз. Поэтому мое общение с тщеславной и прямодушной в своей целенаправленности Надей было ложью. Не видела она меня. Видела только имя на обложке книги или в титрах фильма. Улыбаясь, превратила меня в ступеньку, по которой можно подниматься к заветной вершине. А в сущности, никому я не нужен и ничего не стою... Я полез в карман, достал золотого петушка. Он был потерт на краях. Видно, много раз его доставали из коробки и вешали на ёлку. Узнает она и без петушка. Я положил петушка обратно в карман, и пальцы нащупали что-то еще. Я вытащил это что-то. Оказался снова картонный позолоченный петушок. Второй. Я положил их рядом на колени.

Фантастика, подумал я. Петушки размножаются.

ЮБИЛЕЙ «200»

Славная дата — двести лет Эксперименту. В истории Земли ничего подобного не было. И не будет.

Второй месяц кипят страсти. Сама длительность начинания подавляет воображение. Создатели Эксперимента кажутся небожителями.

На самом деле они существуют лишь в виде портретов в актовом зале.

Дарвин. Мендель. Павлов. Соснора. Джекобсон. Сато.

Разумеется, первые три благополучно скончались, не подозревая об Эксперименте. Три последние не дожили до первых результатов.

Мне надоела суета. Я пошел в библиотеку. Там тоже не было покоя.

Марусенька уговаривала пылесос — дефицитнейший, ценнейший, драгоценнейший прибор в институте — заняться книжными полками. Фолианты на верхних полках — Бюффона, Кювье и Ковалевского никто не трогал лет сто. Я представил себе, сколько поднимется пыли, если пылесос согласится приступить к работе. К счастью, пылесос не соглашался. Как мог, он пытался втолковать Марусеньке, что его услуги нужнее в институтском музее, куда тоже придут гости.

Марусенька увидела меня, развела ручонками и спросила:

— Мне, что ли, лезть туда?

Очевидно, она ожидала, что я проявлю себя настоящим джентльменом и ради ее прекрасных глаз буду ползать по стремянкам.

Я ушел вместе с пылесосом.

В саду тоже не спрячешься. По странному приказу хозяйственника Скрыпника решено перекопать клумбы, на которых только что отцвели тюльпаны, и сотворить

одну клумбу в виде цифры 200. Главный садовник Кумарасвами сидел на бортике ящика с рассадой и тоскливо следил за тем, как культиваторы перемалывали плоды его весенних трудов.

Я пошел на детскую площадку. Детишек не было — и понятно, почему: ставили новую ограду. Силовую, невидимую, современную, которую потом все равно придется убрать. Представьте себе, какие комплексы она будет вырабатывать в малышах, которые неизбежно будут наткаться на несуществующую стену. Начнутся неврозы, истерики, все будут искать причину душевных травм у молодых шимпанзе, пока какой-нибудь шустрый аспирант не догадается, что виной всему — невидимость ограждения.

Молодняк резвился на берегу пруда. Там, к счастью, землечерпалка уже перестала мутить воду и бортики были подновлены и покрашены.

Я уселся в тени под явором, который, по преданию, посадил сам академик Соснора, и принялся наблюдать за детенышами.

Малыши с визгом носились по берегу, а воспитательницы семенили за ними, потому что им казалось, что кто-нибудь из малышей обязательно упадет в еще холодную воду и схватит воспаление легких.

По внешнему виду малышей я без труда угадывал генетические линии.

Некий живший больше века назад самец Старк, со светлой короткой шерстью, гомозиготный по этой доминантной аллее, утвердил себя на много поколений вперед. Вот и проявляется доминантный фенотип в малышах, не подозревающих о своем прадедушке. Помните скошенные подбородки и висячие усы Габсбургов — на шестьсот лет, если не больше, это очевидно по портретам, как бы ни старались приукрасить их художники.

Мы покоряем природу, а природа находит обходные пути, чтобы не покоряться.

Эксперимент был внешне скромн, но потенциально помпезен и полон человеческого тщеславия: заменить бога, проследить возможность очеловечивания обезьяны, призвав на помощь радиационную генетику, включив все кнопки биологических достижений. Мы, всесильные, берем стадо шимпанзе, мобилизуем механизм направлен-

ных мутаций, выводим из тупика эволюционный процесс, ускоряем его в тысячи раз и глядим — дозволено ли нам природой создать себе братьев по разуму.

Те, кто планировал Эксперимент, добивались кредитов и помещений, убеждали академические и финансовые органы в том, что именно этот эксперимент жизненно важен для человечества, понимали, что сами до результатов не доживут. То есть понимали абстрактно — в самом деле ни один человек не верит в свою смерть, и каждому из них казалось, что произойдет чудо — через тридцать лет уже народится мутант, который начнет изъясняться словами или выучит таблицу умножения.

Разумеется, все получилось так, как планировали, и ничего не получилось из того, на что надеялись.

Я как-то отыскал в библиотеке журнал двухвековой давности с бойкой статьей о том, как разыскивали по зоопаркам и институтам самых умных, сообразительных, продвинутых шимпанзе и как свозили их в выделенный уже для них комплекс — нечто среднее между зоопарком, генетическим институтом и общежитием для идиотов.

Энтузиазмом на первых порах компенсировали нехватку кредитов и оборудования. Далеко не каждый в мире понимал, что этот эксперимент должен иметь предпочтение перед прочими занятиями человечества. Но во главе института стоял Соснора, который в качестве подсобного хозяйства и полигона разводил коров и увеличивал их лактацию до фантастических пределов. Так что с помощью этих безмозглых тварей, стадо которых по традиции и теперь пасется за прудом, он доказал рентабельность предприятия. Но сам умер лет через десять.

Последующие директора постепенно расширяли хозяйство, пополняли стадо шимпанзе новыми особо одаренными экземплярами, чтобы не получилось чрезмерной изоляции генетического пула и не возник новый вид обезьян, не способный к скрещиванию с себе подобными дикими особями.

Удивительно то, что, несмотря на социальные катаклизмы, кризисы и конфликты, институт так и не закрыли. В самом принципе его деятельности было нечто ирреальное. Это была наука с претензией на божественность.

Директора приходили и уходили, научные сотрудники

получали зарплату, делали открытия, защищали диссертации, уходили на пенсию — в общем, их деятельность ничем особым от деятельности их коллег в смежных институтах не отличалась.

По ходу дела менялись генетические концепции и методы, возникали новые теории или возрождались забытые. Вдруг возвышался неоламаркизм, затем торжествовал постдарвинизм, это сменялось временным господством джекобсонизма, чтобы вернуться к суперменделизму.

И каждый из поворотов теории в той или иной мере отражался на политике по отношению к шимпанзинему стаду. Наиболее перспективные особи попадали в немилость, и их списывали в зоопарки или медицинские институты, достижения оборачивались поражениями, чтобы потом, через несколько лет, превратиться в эпохальные открытия.

Взлеты, поражения, упадки и смены теорий больнее всего били по шимпанзе. Создавая из обезьян новую породу разумных существ, люди отказывали тем, кто находился в процессе очеловечивания, в гуманности.

Относительно недавно был случай, когда списали в зоопарк и окончательно там погубили Сиену-4, самку, которая обладала удивительными математическими способностями. И по простой причине: ее шеф — человек милый, талантливый, но беспутный, насмерть поругался с заведующим отделом и ушел из Эксперимента. А кроме него, никто не пользовался доверием и любовью Сиены-4.

Поэтому я, будучи участником Эксперимента, сотрудником его, остаюсь в глубокой внутренней оппозиции к тому, что у нас делается. За двести лет направленных мутаций, беспрестанных тестов и операций, изменений среды обитания, медикаментозных опытов — стабильных результатов так и не добились. Более того, по мере роста результатов углубляется пропасть между гомо-шимпами и экспериментаторами. Как ни странно, человек, придумавший Эксперимент, ухлопавший на него двести лет и кучу средств, сгубивший на нем сотни умов, которые могли бы принести куда больше пользы в иных областях знания, внутренне не готов к тому, чтобы признать отказ от собственной исключительности. Гомо-шимп остается для людей не более как шимпом. Объектом для исследования, но не партнером по разуму...

Эти мои довольно печальные мысли были прерваны криком бихейвиористки по прозвищу Формула.

— Джон! — кричала она, несясь по коридору. — Где ты?

Увидев меня, она спросила:

— Джона не видел? — но ответа не стала дожидаться и помчалась дальше. Меня она не выносила.

Джон — старый гомо-шимп, ублюдок с анатомической точки зрения — почти безволосый, лобастый и коварный, пользуется доверием некоторых сотрудников Эксперимента. Тот небольшой набор слов, которым он оперирует, кажется им вершиной собственных достижений. Когда приезжает комиссия или важные гости, Джона всегда к ним выводят и Джон изображает из себя пародию на человека, даже натягивает трусики и красную рубашку, делает вид, что поддерживает элементарную беседу, оставаясь не более как попугаем в окружении обезьян.

Мне стало любопытно, зачем Формуле в такой сумасшедший день мог понадобиться Джон. Я подошел к окну и увидел, как Формула крутится возле бывшей клумбы, повторяя: «Джон, где ты? Джонни, ты мне нужен!»

Разумеется, Джон, который дремал где-то поблизости, лениво вышел из кустов, поскребывая могучий живот, отращенный на подачках.

— Джонни! — возрадовалась Формула. — Прими новенькую. Ты лучше всех это умеешь делать. Умоляю!

— Что дашь? — спросил Джон.

— Джонни, я никогда тебя не обижала.

— О'кэй, столкнемся, — сказал Джонни и пошел за Формулой, сгибаясь чуть больше, чем нужно, и касаясь земли пальцами рук. На этот раз он был лишь в синих трусах и в белой кепочке, сдвинутой на затылок, так чтобы любой мог полюбоваться его лобными долями.

Они вышли к стоянке флаеров. Транспортный флаер стоял на лужайке, возле него маялся могучий детина из службы заповедников, державший на цепочке молодую самку шимпанзе, которая была насмерть перепугана полетом и необычной обстановкой.

При виде хорошенькой самки гордость генетической науки Джон на глазах превратился в самца шимпанзе. В похотливом мозгу Джонни уже шевелились надежды на то, что он получит молодую наложницу.

Джонни начал вытягивать трубкой губы, подпрыгивать, бить себя кулаками в грудь, видно, вообразив, что он — горилла. Разумеется, он еще более напугал самочку.

А девушка была в самом деле сказочно хороша. Мозг ее еще спит, да никто и не намерен вдуть в него разум. Она нужна лишь для продолжения рода, для свежей крови, свежей струи генов, уродец в среде уродцев.

— Джонни, не пугай ее, — взмолилась Формула. — Объясни ей, что она будет жить в хороших условиях и никто не стеснит ее свободы.

Удивительная наивность, свойственная ряду наших научных сотрудников. Создав расу гомо-шимпов, они полагают, что и обыкновенные шимпы владеют какой-то примитивной речью и могут объясняться с такими, как Джонни. Джон же, никогда не знавший языка диких сородичей, языка примитивного, но всеобъемлющего, должен был поддержать свое реноме. Разумеется, ничего у него не получилось. Девушка скалилась и старалась спрятаться за ноги детины из службы заповедников, полагая, что обыкновенный человек все же лучше, чем неизвестной породы зверь в белой кепочке.

Я понял, что создалась тупиковая ситуация, и вышел на лужайку. Я направился прямо к девушке, уверенный, что мне удастся успокоить это несчастное создание, зная, как я красив и силен.

И все кончилось бы благополучно, если бы не эта проклятая Формула.

— Стой! — завопила она. — Джон, удержи этого хулигана! Ну где же шланг? Надо вызвать Прокопия!

Джон нахмурился, изображая из себя защитника человечества, хотя в душе он трепетал передо мной.

Я встретил восхищенный и доверчивый взгляд самочки шимпанзе и улыбнулся девушке. Я знал, что отныне она — моя покорная рабыня.

Я тихонько фыркнул, чтобы ее успокоить, и дал ей понять гримасой, что ей здесь нечего бояться.

Затем под вопли Формулы и угрожающие жесты ничего не понявшего, но встревоженного детины из службы заповедников я прыгнул на ближайшее дерево, раскачался на нижнем суке, перемахнул наверх, ощущая спиной восторженный взгляд девушки.

По проторенной дорожке, деревьями, не спускаясь на землю, я добрался до спален.

Несколько гомо-шимпов отдыхали на койках, кто-то читал, молодежь разглядывала видеоленты. В этот день мы старались поменьше попадаться на глаза людям.

— Что случилось? — спросила Дзитта, старая умная гомо-шимпа, наделенная великолепной интуицией.

— Черт бы побрал эту Формулу! — сказал я. — Там привезли чудесную крошку для размножения, а она надеялась, что Джонни введет девушку в курс дела. А этот старый козел...

— Не надо, все ясно, — сказал Барри, откладывая видеогазету. — Знаешь, сегодня утром меня снова таскали на тесты.

— И ты думал о бананах?

— И об апельсине, — засмеялся Барри. — Они разочарованы.

— Ой, трудно! — сказала Дзитта. — Особенно я боюсь за молодежь. Рано или поздно с их аппаратурой они нас обязательно поймают.

— А какая альтернатива? — спросил я. — Все признать? Стать объектом нездоровой сенсации и остаться существами третьего сорта, говорящими куклами?

— Только бы сегодня все обошлось, — сказал Барри.

— А меня утром спрашивал о тебе доктор Вамп, — сказал молодой гомо-шимп Третий. — Он спрашивал, уважаю ли я тебя.

— А ты что сказал?

— Ты знаешь, что я плохо говорю, очень плохо говорю, совсем не знаю слов, такой вот тупой гомо-шимп, я сказал, что Лидер хорошо, Лидер сильный.

— А девушка красивая? — спросил Второй.

— Не твое дело, — сказал я. — Будешь в лесу, отыщешь себе еще красивее.

— Сейчас идет совещание, — сказал Барри. — Надо идти послушать.

— Боюсь, что сегодня ничего интересного не узнать, — сказал я. — Они обсуждают, как разместить гостей и что приготовить на банкет.

— Может, тогда я схожу? — спросил Барри.

— Нет, я сам, — сказал я. День был ответственный, и я не мог доверять даже старине Барри.

Я выбрался через окно, поднялся по ветви винограда на крышу и прополз до окна комнаты совещаний.

Все эти маршруты были проверены поколениями гомо-шимпов, и если мы далеко уступаем людям в интеллекте, то, к счастью, не разучились лазить по деревьям, так как законы леса в нас куда сильнее, чем законы города, и двухсот лет слишком мало, чтобы наша кровь и мышцы забыли о прошлом. Я не знаю, кто был первым, пробравшимся скрытым снаружи желобом к окну комнаты совещаний. Это было, наверное, много лет назад, когда какой-то гениальный гомо-шимп понял, что разум его развит настолько, что лучше научиться утаивать от людей то, что проснулось в нас, — сознание собственной исключительности.

Люди окружили нас тончайшими приборами. Людям кажется, что любой всплеск мысли, любое движение чувств тут же будет отражено самописцами и биофонами. И они совершили ошибку — они построили весь этот мир по своему образу и подобию, они старались сделать и нас по своему образу и подобию. Но природа оказалась сильнее. Связи в мозгу, реакции, блокировка центров мозга — все это зиждется на иных, чем у людей, правилах. Мы это поняли, когда обнаружили, что, доверяясь показаниям приборов, люди судят о нас ложно.

И с тех пор по мере того, как мы развивались, подчиняясь людским приборам и жестоким экспериментам, которые были направлены не только на то, чтобы развить наш мозг, но и на то, чтобы лишить нас приватности, чтобы мы всегда и при всех обстоятельствах ели, спали, думали, действовали, любили, размножались только на глазах, под контролем, мы учились скрытности, учились обманывать приборы — мы не второсортные люди, не уроды, мы новая раса — гомо-шимпы!

Я подобрался к комнате совещаний вовремя. Как раз разговор шел о моей персоне. Выступала Формула.

— Он становится невыносим, — щебетала она. — И оказывает дурное влияние на остальных особей.

Ах, подумал я, как они избегают слова «животное»!

— Конкретнее, — сказал доктор Вамп.

Если выделять из числа людей наиболее положительных «особей», то доктор, безусловно, относится к таковым. Может, потому, что он ведает лечебницей и зачастую выступает против излишне жестоких экспериментов — он лишь лечит, и у него добрые руки.

— Сегодня к нам поступила новая самочка, — сказала Формула.

И перед моими глазами возник сладостный образ девушки, пугливо прижимающейся к ногам детины из управления заповедников.

— Я попросила Джона помочь мне.

— Джон не вызывает во мне доверия, — сказал Батя, директор института.

— Но он очень развитое «существо», — сказала Формула. — И часто нам помогает. Обезьянка очень боялась. Наверное, мы вдвоем справились бы с ней, но тут из кустов выскакивает этот Лидер и бросается на животное. По-моему, он хотел надругаться над зверушкой.

Формула была близка к слезам. Черт побери, подумал я, за какое чудовище она меня принимает!

Неожиданно Формула получила подкрепление от Скрыпника, заведующего хозяйством.

— Он становится диким зверем, — сказал толстый Скрыпник. — Он вчера забрался на склад и распотрошил половину запасов. Я не представляю, как мы будем устраивать банкет.

Я внутренне улыбнулся. Операцию на складе проводили мы с Дзиттой и двумя молодыми ребятами. На первое время нам будут нужны сгущенное молоко, кое-какие консервы. Но похищение пришлось обставить в форме бандитского налета. Иначе бы оно вызвало подозрение.

— Пора его отдавать в зоопарк, — сказала Формула. — Если он и мутант, то регрессивный. Обыкновенная обезьяна. Опасность для большого эксперимента.

— А что вы скажете, доктор? — спросил директор.

— Я воздержусь от выводов, — сказал доктор. — По моим наблюдениям, Лидер — здоровый индивидуум, обладает авторитетом в стае.

— Вот именно — в стае, а мы стремимся создать общество! — воскликнула Формула.

— А что вы думаете? — директор обратился к заведующему контрольно-измерительной лабораторией — моему главному противнику, которого мы не без успеха водили за нос, зная, когда нужно изгнать из головы все мысли, кроме мыслей о еде.

— Уровень интеллекта невысок... — Контрольщик углубился в свои записки, извлекая их из карманов, раскладывая на столе, путая мои данные с данными других гомо-шимпов, и в результате запутал все настолько, что директор остановил его. Затем он спросил мнение других специалистов. Все были единодушны. Я хулиган, плохо влияю на молодежь, и от меня надо избавиться.

С одной стороны, мне все это было приятно слушать, потому что это значило: я их провед. С другой — любому разумному существу обидно, когда его хотят отправить в зоопарк.

— Подытоживаю, — сказал директор. — Лидера готовить к отправке. В полной тайне. Созвонитесь с зоопарком в Сухуми, оттуда есть запрос. Полагаю, что лучше всего это сделать нынче ночью. Теперь перейдем к другим заботам. Во сколько прилетает рейсовый с гостями?

— В семнадцать тридцать, — сказал Скрипник. — Мы его паркуем на запасном поле, машина большая.

Об этом флаере я знал. Он прилетит из Австралии. Остальные гости будут слетаться на малых машинах. Нам нужен именно этот флаер.

Ну что ж, мне можно было уходить. Я узнал две важные вещи.

Во-первых, время не терпит. Если мы сегодня вечером не сделаем задуманного, ночью меня тайком, подло, предательски люди отправят в зоопарк. Второе — нужная нам машина с половины шестого будет стоять на запасном поле — удивительная удача! Запасное поле окружено лесом, и подходы к машине скрыты зеленью.

Я спустился в сад.

С некоторой грустью я смотрел на пруд, на спортивную площадку, на классные комнаты. Никогда я уже не увижу этого мира, в котором я вырос, осознал себя и свой долг перед расой.

Ну что ж, всему на свете бывает конец, вспомнил я чьи-то слова. Даже сказке бывает конец.

В спальне меня ждали.

— Все в порядке, — сказал я. — Флаер прилетает в семнадцать тридцать. Стоит на запасном поле.

Моя информация была встречена возгласами радости.

О решении отослать меня в зоопарк я говорить не стал. Недоброжелатели, а их немало даже в маленьком сообществе, сочтут меня эгоистом, спасающим свою шкуру.

Мы наблюдали сверху, как съезжались гости. Так как уже наступал вечер, а юбилейные торжества состоятся лишь завтра, то с гомо-шимпами гости пока не должны были встречаться. Лишь идиот Джонни, конечно, шастал между приезжими, фотографировался с ними и говорил банальности, которые поражали гостей, как поражает заявление попугая: «Попка дурак, сам дурак».

Еще засветло с большими предосторожностями мы перетащили из лесных тайников поближе к флаеру некоторую часть грузов. Мы не намеревались в Большом лесу, на берегах Конго становиться дикими животными. Мы забирали с собой и учебные микрофильмы для детей, и запас голокассет, кое-какие приборы и инструменты — в общем, начиналось великое переселение маленького народца. Народца, которому надоело быть подопытным кроликом. И который обрел вожда в моем лице.

Вечером в саду зажгли иллюминацию. Подъезжали все новые гости, под яблонями Скрыпник поставил длинные столы с закусками. Перед сном к гостям вывели малышей, которые хором спели песню «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Гости умилялись.

Я тайком проверил, все ли нужные замки сломаны.

Темнело. Все было готово.

Хорошо бы они не догадались оставить стражу у большого флаера.

Флаер мне понравился. Он был в самом деле велик, я на таком еще не летал, никто из наших не летал. Но мы знали, как работает автоматика. Мы полетим низко, они хватятся, когда мы будем уже над Африкой.

Луна была ущербной, так что мы двигались свободно, почти не прячась. По крайней мере здесь люди с нами не могут сравниться.

Все стихло. Лишь из окон гостиницы и дома сотрудников, отданного гостям, доносились голоса и песни. Тем

лучше, пускай веселятся. Завтра их ждет большое разочарование. Некого им будет демонстрировать.

— Слушай, — спросил я мудрую Дзитту, — мы берем Джонни или оставляем?

— А ты как думаешь?

— Я бы его оставил людям в утешение.

— Я с тобой согласна. Тем более что с нами он не будет счастлив. Он привык к комфорту, а мы от него отказываемся.

Третий привел детей. Детей сопровождали матери, дети были сонные и капризничали.

Мы быстро посадили их во флаер. Как хорошо, что люди столь самоуверенны, что даже не оставили у него никакой охраны, даже запереть его толком не сумели.

Дзитта пересчитала гомо-шимпов.

— Шестьдесят четыре «особи», — сказала она с улыбкой. Она умела копировать Формулу.

— Все? — спросил Барри. Он уже поднялся внутрь. Он будет вторым пилотом.

— Стой! — сказал я. — Мы же ее забыли!

— Кого? — не поняла Дзитта.

— Девушку, которую привезли сегодня. Неужели ты хочешь, чтобы она досталась Джонни?

— В лесу ты найдешь невесту и получше, — попытался поддразнить меня Третий.

Я так зарычал на него, что он шустро залез во флаер и, полагая, будет молчать до Африки.

— Не делай глупостей, — сказала Дзитта, — ты переполошишь весь институт.

— Нет, — сказал я твердо. — Устраивайтесь удобнее. Я скоро буду.

Большими прыжками я помчался к изолятору.

Как назло дверь была заперта. Я подошел к окну. Окно было непробиваемым, ничем его не возьмешь.

С той стороны из темноты на меня смотрели большие прекрасные глаза девушки. Она понимала, что я пришел к ней. Она расплывалась о стекло свои большие губы, как бы зазывая меня. Глупая, милая, неразумная тварь.

В два прыжка я оказался на крыше. Отвинтить вентиляционную решетку было делом двух минут. Я спешил, я представлял себе, как волнуются мои соплеменники. Без

меня мог начаться бунт, ведь зачастую лишь моей железной волей удавалось удержать их в повиновении.

Вот наконец решетка летит в сторону.

Но кто-то идет по дорожке.

Пришлось лечь, прижаться к крыше.

Я почуял запах Джонни. Этого еще не хватало. Я чуть не рассмеялся! Романтическое приключение! Соперник во тьме!

Я услышал, как этот недоумок стучит в стекло, вызывая девушку. Жуткая ревность обуяла меня. Но что делать? Затеять с ним драку?

Тогда мне в голову пришла рискованная идея.

— Кто здесь шляется? — спросил я громким басом, подражая директору. — Немедленно спать! Иначе отправлю в зоопарк.

Мой розыгрыш подействовал. Раздались быстрые шаги — Джонни перетрусил и покинул поле боя.

Теперь следовало спешить втройне. Меня могли услышать. Особенно я не выносил сторожевого робота, который, правда, вступает на вахту лишь после полуночи. Мы хотели его сломать, но, разумеется, природное наше легкомыслие победило — забыли.

Я проник в вентиляционный люк. Там было тесно.

Я загудел, призывая девушку. Она поняла. Протянув вниз руку, я нащупал ее нежные длинные пальцы.

Я помог ей выбраться на крышу.

Она доверчиво последовала за мной.

Какое счастье! Она всем своим видом, каждым движением говорила: «Ты мой избранник».

«Ты у меня еще научишься говорить», — подумал я.

У флаера начиналась паника. Я исчез, указаний нет. Дзитта еле удерживает все мое воинство внутри. Барри накинулся на меня с упреками. Я передал ему барышню, а сам быстро прошел к креслу пилота.

— Внимание! — сказал я. — Всем занять места. Матери, держите детей. Мы спешим. Нас ждут леса Африки. Нас ждет свобода!

Через стекло я кинул прощальный взгляд на институт. Некоторые окна еще светились. Старинное здание, построенное по моде XX века, томной громадой поднималось над деревьями.

Я провел рукой над пультом, мысленно включая автоматику. Загорелись огоньки на пульте.

Я набрал код — я знал, как это делать. Направление... Загорелась карта Северного полушария. Я нашел на ней Конго. Дотронулся указкой до нужной мне точки. Дал старт. Флаер быстро пошел вверх.

Сзади верещали ребяташки.

Институт провалился в темень.

Огни на земле тускнели. Мы пронзили редкие облака. Машина поворачивалась, ложась на нужный курс.

Я смотрел на карту передо мной. Тонкая зеленая полоска — наш маршрут — начала расти и изгибаться к югу. Я задумался.

Неожиданно я почувствовал прикосновение.

Я обернулся. Моя возлюбленная стояла рядом. Она хотела быть со мной.

Я улыбнулся ей.

— Мы в безопасности, — сказал я Барри, который сидел в соседнем кресле. — Они нас не догонят.

— Они могут поднять машину с аэродрома на пути.

— Вряд ли, — сказал я. — Они до сих пор не хватились. А если и хватились, то не догадаются, куда мы делись.

И в этот момент зловеще вспыхнул экран связи.

Первым моим движением было желание спрятаться, скрыться от глаза экрана. Я пригнулся.

Ахнул рядом Барри.

Но потом я понял, что скрываться нет смысла. Лучше встретить опасность лицом к лицу.

На экране было лицо директора института. Батя был серьезен.

— Лидер, — сказал он, — я знаю, что ты здесь.

— Я здесь, — сказал я, выпрямляясь. — И вы можете убить нас, но вы не сможете остановить нас.

— Лидер, — сказал Батя, — может, ты хочешь, чтобы наш разговор был без свидетелей? Тогда скажи Барри, чтобы он ушел.

— Хорошо, — сказал я.

— Я останусь, — сказал верный Барри. — Я не боюсь.

— Директор прав, — сказал я. — Выйди. У тебя длинный обезьяний язык.

Барри обиделся. Он медленно вылезал из кресла, вор-

чал что-то. Девушка оробела, она смотрела на меня, на директора, который ее не замечал. Он знал, что она ничего не понимает. В отличие от многих других директор знал всех нас в лицо.

Я протянул руку — пилотская кабина невелика — и закрыл дверь.

— Что вы хотите сказать? — спросил я. — В чем ваш ультиматум?

— Это не ультиматум, — сказал директор, — а только информация.

— Прошу. — Я отчаянно трусил. Против меня был весь мир — три миллиарда людей.

— Лидер, вот уже несколько лет, как мы осознали, что приборы наши не дают объективной картины вашего состояния. Мы не сразу и не единодушно поняли, что наш Эксперимент удался. Удался даже более, чем мы на то рассчитывали. Двести лет работы накладывают стереотипы поведения на экспериментаторов. Мы закоснели. Но когда мы поняли, что загнали вас, наших младших братьев, которым мы дали разум, не спрашивая их разрешения, в тупик, привели к необходимости таиться...

— Вы давно это поняли?

— Давно.

— Почему вы тоже таились?

— Потому что не могли прийти к общему мнению, потому что неизвестно было, как продолжать Эксперимент, потому что надо было передавать ответственность за него тем, кто вырос у нас на глазах... Это сложно. Может быть, со временем мы сядем с вами, Лидер, и обсудим эту проблему за чашкой чая.

Я понял, что впервые за двести лет к шимпанзе обращаются на «вы».

— Простите, — сказал я твердо, сжимая руку девушки, — но мы не вернемся. Опыты кончились!

— Да я же не спорю! — ответил директор. — Хотя мне, честно говоря, жаль с вами расставаться. Я прожил рядом с вами двенадцать лет. Ты был еще младенцем, когда я пришел в институт.

— Я помню, — сказал я. — Но мы не вернемся.

— Летите, вас никто не задерживает. И учтите, что в багажном отделении флаера лежит запас продуктов. Вы

же взяли очень мало, а прежде чем вы освоитесь, детям нужна калорийная пища.

— Значит, вы все знали! — И вдруг я понял, что это удар. Удар по моему самолюбию, по моему тщеславию, по моей тайне...

— Не расстраивайтесь, — сказал директор. — Это не умаляет ваших заслуг. Вы сделали: не меньше, чем весь институт. Я говорю искренне.

Я знал, что он не притворяется. У нас, гомо-шимпов, куда лучше, чем у людей, развита интуиция. Мы еще многому можем людей научить.

А директор как будто угадал мои мысли.

— Я надеюсь, что вы сможете нас многому научить. И поэтому нам надо было расстаться. Вовремя. Вы нашли выход, которого не могли найти мы.

— И сегодняшнее заседание с решением отправить меня в зоопарк...

— Было частично инсценировано. Мы уже давно знаем, что вы подслушиваете все наши совещания.

— И Формула? — Этого я не мог вынести.

— Доктор Пименова не в курсе, — улыбнулся директор. — Она бы никогда не согласилась отпустить вас в тропический лес, где вся вода некипяченая.

— Ничего, — сказал я с облегчением, — с ней остался ее любимый Джонни.

Дверь сзади открылась. Я обернулся. Там торчали встревоженные морды Дзитты и Барри.

— Все в порядке, — сказал я. — Полет продолжается.

Я протянул руку, чтобы отключить связь, и понял, что экран связи погас.

— Это был директор? — спросила Дзитта. — Чего он хотел?

— Он требовал, чтобы мы вернулись, — сказал я твердо. — Но я ему отказал. Полет продолжается.

На морде Барри было восхищение. Я победил самого директора.

Дзитта сощурилась. Не поверила. Но промолчит.

Я погладил по голове девушку.

Не буду я учить ее говорить, подумал я. Наш разговор с директором следует оставить в тайне. Президент республики гомо-шимпов должен быть вне подозрений.

ХОЧЕШЬ УЛЕТЕТЬ СО МНОЙ?

Я попал на Дарни по будничному делу — как бывший спортсмен, а ныне скромный агент Олимпийского комитета.

Участие команды Дарни в Гала-Олимпиаде не вызвало сомнений. Сомнения вызывал размер планетарного взноса в олимпийский фонд.

Встречали меня солидно, но скучно. В зале было жарко, под потолком сустились и щебетали рыжие птички, в кадках томились чахлые деревца. По стене черным ожогом протянулась неровная полоса сажи.

В зал, опоздав к церемонии, ворвался, как бешеный слон, посевший, раздобревший Син-рано, которого я встретил восемь лет назад в громадном, шумном и бестолковом Корае, на легкоатлетическом кубке. Там мы с ним оказались в одном гостиничном номере. Я выступал за Землю в прыжках в высоту, а он был одним из первых на Дарни толкателей ядра.

Встреча была такой, словно все эти годы мы провели в мечтах о ней.

— Ты живешь у меня. — сказал Син-рано, когда мы покидали космопорт. — Стены покрепче, чем в гостинице, хорошее бомбоубежище, ребята у меня надежные.

Слова Син-рано о бомбоубежище удивили меня. Впрочем, путеводитель не упоминал о войнах на планете, так что воспримем их как шутку. Но, когда он затолкал меня на заднее сиденье своей машины, а сам уселся на водительское место, машина преобразилась: боковые стекла скрылись за металлическими шторками, а спереди осталась лишь узкая танковая щель.

— Не беспокойся, — сказал Син-рано.

В салоне пахло горячим железом и машинным маслом.

Син-рано скинул пиджак. Под ним была перевязь с кобурой.

— Забавно, — сказал я. — Нигде об этом ни слова.

— Во-первых, — спокойно ответил Син-рано, — это местные неприятности, к тому же недавние. Во-вторых, такие события чернят репутацию. А малые планеты очень чувствительны к своей репутации. Олимпийский комитет, узнай он об этом, отлучил бы нас от движения.

— Значит, войны нет?

— Нет, — сказал Син-рано. — Я бы не стал тебя обманывать. Вдобавок...

Он не успел закончить. Бронированное чудовище выползло на шоссе наперерез движению. Наша машина вильнула и буквально прыгнула вперед.

Я не могу рассказать ничего интересного о дарнийских пейзажах, потому что любоваться ими сквозь танковую амбразуру сложно. Мы въехали в город; я догадался об этом по тому, что наше движение стало неравномерным — приходилось останавливаться на перекрестках, проталкиваться сквозь толкучку автомобилей. Вскоре мы окончательно застряли в пробке. И тут послышались нестройные выстрелы и крики. Впереди полыхнуло — там взорвалась бомба.

— Надо свернуть, — бормотал Син-рано. Машины вокруг сигналили, словно кричали. Это было похоже на пожар в театре, где в дверях застревает орущее скопище людей.

Внезапно стрельба стихла.

— Обошлось, — сказал Син-рано.

Мы подъехали к дому. Он стоял на склоне пологого холма, поросшего редкими деревьями. Между ними паслись коровы.

Нам пришлось довольно долго простоять перед высокой решеткой ворот, увитых поверху колючей проволокой. Наконец прибежал молодой человек, открыл ворота и сказал, что электричества в доме нет — Гинрини взорвали электростанцию.

— Познакомься, — сказал Син-рано. — Мой друг с Земли, Ким Петров, я тебе о нем рассказывал. А это Рони, мой младший.

Парень смутился. У него были светло-желтые волосы и тонкая кожа в веснушках, он легко краснел.

...За столом, который стоял в полуподвальном помещении, — свет попадал туда через бойницы под потолком, мы сидели при свечах, — я познакомился с остальными членами семейства Син-рано. Старшего брата Рони звали Минро. Минро был худ, напряжен и преувеличенно аккуратен в движениях. Там же сидели два племянника и племянница по имени Нарини. Как сказал Син-рано, они осиротели шесть лет назад, теперь живут с ним.

Что осталось в памяти от того обеда? Ярко-красные яблоки, которые мы ели на десерт, — у них был странный земляничный вкус. Неприятная манера Минро, старшего сына: он так долго и настороженно трогал вилкой кусочки мяса на тарелке, что казалось, он решал страшную проблему — отравят или не отравят. И еще я заметил, как хороша племянница Син-рано Нарини. Она сидела молча между своими братьями и не смотрела на меня...

После обеда Син-рано увел меня наверх, на плоскую крышу. Там было приятно — поднялся легкий ветерок, был виден весь город. Минут десять мы вспоминали прошлое, потом разговор перешел на олимпийские проблемы и с них должен был вот-вот скользнуть на явь планеты. Но не скользнул, потому что над городом серой башней поднялся столб дыма, на черном фоне которого искорками зажглись разрывы. На крышу прибежал Рони и сказал, что по радио передали: Понари пробились на танках к цитадели Гинрини, но у них ничего не выйдет, на помощь Гинрини пришли все синие.

Столб дыма рос, в нем мелькали языки пламени. Пришел старший, брезгливый Минро и сообщил, что полиция блокировала район, но внутрь не входит.

— Они всегда так, — сказал он. — Ждут, пока перебьют друг друга.

Представление грозило затянуться, и я решил погулять вокруг дома. Никто не возражал.

Под большим деревом была устроена спортивная площадка. Нарини прыгала в высоту. Прыгала хорошо, легко. Оба ее брата были рядом, они поднимали планку, когда надо. Мое появление они встретили настороженно, словно боялись, что я без их разрешения приглашу сестру в кино. Они были еще подростками, худыми, черноглазыми и злыми.

Я увидел, какая Нарини длинноногая.

— У вас замечательные данные, — сказал я.

Нарини смутилась. Она стояла передо мной, как напугавшая девочка, ее серые глаза были почти на одном уровне с моими.

— Спасибо, — ответила она после паузы и поглядела на братьев.

— А какой у вас личный рекорд? — спросил я.

Брат справа ответил:

— Метр девяносто.

Второй дернул его за рукав.

— Это далеко до женского рекорда планеты?

— Женского? — удивилась она.

Неожиданно второй брат крепко взял ее за локоть и, не говоря ни слова, повлек к дому. Первый брат прикрывал тыл.

Кстати, я когда-нибудь видел на соревнованиях женщин с Дарни? И на космодроме среди встречавших не было ни одной женщины...

Я поднял планку, укрепил ее на двухметровой высоте. Когда-то я брал два с половиной, но теперь тренируюсь редко, а когда тебе за тридцать, отяжелевшее тело плохо подчиняется ногам.

Разбежался, прыгнул и сбил планку. Раздобревший чиновник.

Я рассердился на себя и поднял планку еще на десять сантиметров. Отошел подальше, к самому дереву. Бежать надо было по траве, только последние два метра были посыпаны песком. Я мысленно представил себе, что должен взять два двадцать.

Упал я неудачно, ушиб локоть о песок. Несколько секунд лежал в неудобной позе и глядел на планку, которая долго вздрагивала — я все же задел ее. Она думала, упасть ей или пожалеть бывшего спортсмена. Потом пожалела и замерла.

— Ты молодец, — сказал Син-рано, который наблюдал за мной, стоя за деревом. — Я иногда пробую толкнуть ядро и никому не говорю, что любой школьник меня бы обошел.

— Меня бы тоже. — Я поднялся, потирая ушиблен-

ный бок. — Твоя племянница, если будет тренироваться, прыгнет выше.

— Она способная девочка, — сказал Син-рано. — На Земле, попади она в руки хорошего тренера...

— Почему только на Земле? — Я обрадовался возможности задать вопрос, который помог бы понять, что же происходит на Дарни.

— Если я выпущу ее на стадион, — заметил Син-рано, усевшись на траву, — начнется такое...

Он улыбнулся, очевидно, представив себе, что же начнется.

— Ее родители погибли, — продолжал Син-рано. — Я взял детей к себе. У меня крепкий дом.

— А почему они погибли?

— Тебя гложет любопытство, — сказал Син-рано. — Наша жизнь, обыкновенная для нас, кажется тебе загадочной.

Я сел рядом с ним. Перед нами был склон холма, полого уходящий к изгороди. Там, вдоль изгороди, медленно шел Рони, за плечом у него был автомат. Иногда он останавливался, проверял контакты. Внезапно Син-рано вскочил с резвостью, которую трудно было предположить в столь грузном человеке, и кинулся к воротам. В руке его оказался пистолет. Он бежал, пригибаясь, зигзагами. Рони упал в траву, сорвав с плеча автомат.

От дома, скатываясь по склону, бежали другие люди.

Из кустов, метрах в трехстах за изгородью, белыми ослепительными искрами вспыхнули выстрелы. За моей спиной бухнуло. Я обернулся. На крыше дома стоял миномет, он часто и мерно выпускал мины. У миномета виднелась светлая голова Нарини. Мины рвались в кустах, оттуда донесся тонкий вопль. Рядом со мной упала на траву срезанная выстрелом зеленая ветка. Я счел за лучшее залечь позади дерева.

Выстрелы стихли через несколько минут. Я поднялся.

От ограды шли мои хозяева. Син-рано поддерживал Рони, который держался за плечо. Между пальцев сочилась кровь. Я побежал им навстречу, но Син-рано крикнул мне:

— Ничего страшного, возвращайся домой!

Его старший сын был уже за оградой, он искал что-то в кустах. Далеко, по дороге к городу, полз танк.

Рони держался молодцом, он старался улыбаться.

— Я сам виноват, — сказал он мне доверительно. — Отец раньше меня их увидел.

— Кто это были?

— Из Гобров, — сказал Рони. — Я думаю, что одного снял.

— Его накрыла Нарини из миномета, — сказал Син-рано.

Сверху сбежала Нарини со своим братом, Син-рано передал им Рони.

— Пойдем проверим коровник, — сказал он мне. — Животные волнуются, когда стрельба.

В коровнике все было спокойно. Коровы мирно жевали сено и поглядывали на нас с недоумением.

— Почему они на нас напали? — спросил я.

— Все тайны, — сказал Син-рано, — имеют обыденное объяснение. На нас напали для того, чтобы захватить Нарини.

— Зачем?

— Потому что она очень дорого стоит. Экономика, мой дорогой друг, лежит в основе любой романтики.

— Это красивый афоризм, но он ничего мне не говорит.

— Планета оказалась между каменным и атомным веками. Мы живем как на вулкане. Когда родители Нарини погибли, многие советовали мне отказаться от племянников и девочки. Но у меня своя гордость. Пока держимся.

— Что особенного в Нарини?

— Ничего.

— Кто-то влюблен в нее?

— Пожалуй, нет.

— Тогда я в тупике.

— Несколько десятилетий назад, — сказал Син-рано, — генетики сделали открытие, которое осчастливило многие семьи. Отныне пол ребенка родители могли заказывать заранее. Ты слышал об этом?

— Разумеется, — сказал я.

Мы вышли из хлева. Солнце уже село. Над столбами, между которыми тянулась решетка, зажглись сигнальные

огоньки. На крыше дома вспыхнул прожектор, и луч его медленно полз по ограде.

— Девяносто процентов молодых родителей хотят, чтобы у них родился сын. Их желание было исполнено. Через несколько лет мальчиков на планете рождалось вдесятеро больше, чем девочек. Мы думали, что это открытие приведет к радости...

«Как странно, — подумал я. — Ученый спешит опубликовать открытие, чтобы осчастливить человечество, и пробуждает к действию слепые стихийные силы».

— Еще в моей молодости, — продолжал Син-рано, — женщин хоть и было вдвое меньше, чем мужчин, это тревожило, но не казалось катастрофой. Принимались разумные законы, вводились ограничения, но общество уже катилось к упадку.

— Женщин стало мало, рождаемость падала, женщина стала превращаться в ценность, — подсказал я.

— И все более теряла права личности, — закончил Син-рано. — Теоретики утверждали, что процесс скоро прекратится. Они ошиблись. Своих женщин надо защищать. Чужую женщину надо добыть. Нужны мужчины, солдаты, воины...

— А ты, — спросил я, — почему у тебя только сыновья?

— Я — песчинка в океане людей, — сказал Син-рано. — Мы с женой понимали, что, если у нас родится девочка, ее отнимут. У нас родились два сына, два защитника. Теперь у нас будет девочка, решили мы. Но мою жену украли. Я нашел ее слишком поздно, она не хотела быть рабой в доме чужого клана.

— А родители Нарини?

— Мой брат хотел пойти против течения. У него было три дочери и два сына. Слишком большое богатство для человека, не признававшего законов каменного века. Он жил в городке института, они не подчинялись реальности. Там было много девочек. Городок взяли штурмом войска четырех кланов. Я не знаю, где сестры Нарини. А она сумела убежать и увести братьев.

— Без нее было бы проще? — спросил я.

— Есть дома, — усмехнулся Син-рано, — на которые

не нападают. Там нет женщин. Но ты забыл о судьбе моей жены. Я не хочу, чтобы это повторилось.

Над вечерним городом полз дым, иногда раздавались одиночные выстрелы. Полосы от трассирующих пуль очертили небо.

Я поднялся на крышу дома. У миномета дежурили Нарини и один из ее злых братьев. Они тихо разговаривали. Я подошел к балюстраде. В городе было мало огней, он спал настороженно и чутко. Лучи прожекторов время от времени вспыхивали в разных его концах и пробегали по крышам, стенам и заборам.

Нарини подошла ко мне.

— У вас девушки занимаются спортом, — сказала она утвердительно.

— Пожалуй, даже больше, чем нужно, — ответил я.

Яркая луна освещала ее чистое лицо, глаза казались темными, почти черными, настойчивыми и глубокими.

Мы помолчали.

— Как себя чувствует Рони? — спросил я.

— Это только царапина, — сказала девушка. — Брата в прошлом году ранили так, что мы думали — придется отнимать руку.

Брат подошел ближе, слушая наш разговор. Он не выпускал из рук бинокля.

— Здесь плохо, — сказала Нарини, понизив голос, когда ее брат, встревоженный каким-то шумом у изгороди, кинулся к прожектору и включил его.

— Я это понял, — тихо сказал я.

Это было странное чувство — словно мы с Нарини давно знакомы и можем говорить обо всем, сразу понимая друг друга.

— Син-рано устал, — сказала Нарини. — Он человек долга и памяти. Когда сегодня ранили Рони, мне казалось, будто это я ранила его. Он должен учиться, но остался здесь, потому что надо охранять дом.

— А выход? — спросил я.

— Меня можно продать. Хорошо продать в сильный клан.

— Мы будем защищать тебя, — сказал ее брат. — Ты знаешь, мы погибнем, но будем тебя защищать.

— Я не хочу, чтобы вы погибали, — сказала Нарини.

— Но почему ничего не делается?

— Делается, — ответила Нарини. — Есть институт, где детей выращивают в пробирках. Там уже родились первые девочки. На них тоже нападали. Даже маленькие девочки — добыча.

— Это изменится, — сказал я уверенно.

— Это изменится, — согласилась Нарини. — Но для меня... для меня будет поздно.

— Хотите, улетим со мной? — спросил я.

Я не шутил в тот момент. Но это не было предложением. Нужен был выход, и я предложил единственный, который мог придумать.

— Спасибо, — сказала Нарини.

Стояла тишина, в которой я слышал быстрое и злое дыхание ее брата.

К ночному разговору пришлось вернуться на следующий вечер. Но разговаривал я с Минро, старшим сыном, все движения которого были преисполнены брезгливости, словно у старой девы, попавшей нечаянно в ночлежку. Случилось это так.

Я вернулся из Олимпийского комитета, где разговоры были томительны и осторожны. Сумма, которую следовало перевести на наш счет, казалась дарнийцам завышенной, и мне стоило большого труда доказать им, что значительная ее часть вернется на планету по программам помощи.

В тот день в городе совсем не стреляли, и я прогулялся по главной улице, среди магазинов, витрины которых мгновенно закрывались бронированными жалюзи, как только начиналась перестрелка. Вдоль тротуаров тянулись щели для пешеходов.

По улице шли только мужчины, по делам. Никто не гулял. Это был осажденный город, почти загубленный прогрессом.

Меня довели до дома на небольшом броневишке. У ворот меня встретил Минро. Он молчал, пока мы шли к дому, и разглядывал свои ногти.

— Мне это не нравится, — сказал он, когда дверь в дом закрылась. — Вы кружите голову девушке.

— Не понял.

— Вы сказали, что она улетит с вами.

— А что в этом плохого? — спросил я.

До того момента ночной разговор на крыше был не более как словами, никого ни к чему не обязывающими. Была фраза, сказанная невзначай, рожденная самим течением разговора.

— Она сказала об этом старику, — сообщил Минро, вытирая носовым платком указательный палец. — Ваша глупая шутка...

— Почему вы считаете меня глупым шутником?

— Зачем вам эта девушка?

— Ей будет лучше в другом месте, — сказал я. Противодействие облекало случайную фразу в реальные одежды. — Она сможет нормально жить и учиться. Через полгода она уже будет брать два метра, вы знаете?

— Где брать? — не понял меня Минро.

— Она прыгает, любит прыгать в высоту.

— Не знал. — Минро начал протирать средний палец. Я не мог оторвать глаз от мерных движений его руки. — Но не в этом дело. Нарини живет у нас несколько лет. Наша семья потратила на ее охрану столько, что всем нам можно было купить жен. Из-за нее мой младший брат не получил образования. И тут появляется вы. Что у вас, своих женщин мало?

— Очень много, — сказал я. — Даже больше, чем нужно.

— Я предупреждаю, что не позволю вам увезти Нарини. Ее передадут сильному клану. Там у нее будут замечательные, богатые мужья.

— Мужья?

— Разумеется. Разве вам не говорили, что полиандрия у нас официально признана?

— А она об этом знает?

— О полиандрии? Разумеется.

— И знает, что вы договорились продать ее?

— Еще узнает, — сказал Минро. — Я забочусь о ее безопасности и безопасности моей семьи. Отец выжил из ума. А вы не смейте больше разговаривать с Нарини. Я вас пристрелю.

— Спасибо за предупреждение, — сказал я и пошел к себе.

Минро не знал, что выбрал для разговора со мной

самый неудачный тон. Мне нельзя угрожать. Из-за этого я претерпел немало неприятностей, но любая угроза заставляет меня поступать наоборот.

Не могу сказать, что в тот момент я уже полюбил Нарини. Мне было приятно смотреть на нее, интересно разговаривать с ней. Я хотел ей помочь. Но любовь... Она могла возникнуть, могла и миновать меня. Кстати, и Нарини тогда меня не любила, но я мог изменить ее жизнь. И снять бремя с близких.

Нарини встретила меня у моей комнаты. За ней тенью брел ее младший братец.

— В нашем доме нельзя секретничать, — сказала она. — Я слышала, что вам говорил Минро.

В коридоре горела тусклая оранжевая лампа. Оттого в голосе и движениях Нарини мне чудилась тревога, которой, может, и не было.

— Вы хотите улететь со мной? — спросил я.

Она молчала.

— Пойдем, — сказал ее брат. — Пойдем спать.

— Да, — сказала Нарини, глядя на меня в упор.

Когда теперь я отсчитываю время нашей любви, я начинаю отсчет с этого взгляда.

Син-рано не спал. Мы пошли к нему. Он сидел в широком кресле, седая грива была встрепана.

— Знаю, знаю, — сказал он сварливо. — Ты как камень, брошенный в спокойный пруд. Только наш пруд неспокоен.

Сыновья его вошли в комнату вслед за нами.

— Дядя, — сказала Нарини, — Ким хочет, чтобы я летела с ним. Я согласна. Вы будете жить спокойно.

— Мне жаль, если ты улетишь, — ответил Син-рано. — Но я рад.

— Спасибо, дядя, — сказала Нарини.

— Я не допущу этого, — вмешался Минро. — Мой брат, — он показал на Рони, — пролил кровь. За кровь надо платить.

— Я так не думаю, — сказал Рони и покраснел.

— Вчера на нас напали люди Гобров. — Син-рано пристально глядел на Минро. — Кто их привел?

— Я их не звал.

— Получается гладко, — сказал Син-рано. — Они уводят Нарини, ты не виноват, а деньги твои.

— Я оскорблен, — сказал Минро, брезгливо морщась.

— И не пытайся помешать им улететь, — предупредил отец.

— А мы? — спросил один из братьев Нарини. Его худое лицо посерело.

— Вы будете жить в моем доме. Как прежде, — ответил Син-рано.

В тот вечер я больше не говорил с Нарини. Нам было неловко под настороженными взглядами домочадцев.

Утром Син-рано отвез меня в Олимпийский комитет. На заднем сиденье машины сидел Рони с автоматом. Син-рано был напряжен и молчалив — какой отец хочет сознаться в том, что опасается собственного сына?

Опасения Син-рано оправдались.

Нас подстерегли у касс, куда мы заехали из Олимпийского комитета, чтобы взять билеты на завтрашний корабль. Я не сразу сообразил, что произошло. Мы выходили из здания. Рони ждал нас у машины. Он стоял, прислонившись к ней спиной так, чтобы автомат не был виден, — он не хотел нарушать запрета на ношение оружия. Син-рано оглядел улицу в обе стороны и сказал:

— Идем.

Была середина дня, улица залита резким солнечным светом, прохожих не видно.

Я шагнул к машине, и тут же Син-рано рванул меня за руку и уложил на асфальт. Послышался мелкий дробный звук — пули бились о машину и стену дома. Рони упал на тротуар рядом с нами и, падая, открыл стрельбу.

Затем Син-рано втолкнул меня в машину, сын прыгнул за нами, и машина сразу взяла с места. За нами гнались, пули ударяли в заднюю бронированную стенку, но мы удрали.

— Я не совсем еще сдал, — сказал Син-рано. — Как я тебе, а?

— И вам нравится такая жизнь? — спросил я, прикладывая платок к разбитому лбу.

— Может быть, — вдруг рассмеялся Син-рано.

Старшего сына дома не было. Он не вернулся до темноты.

Дом жил, как осажденная крепость в ожидании штурма. На закате подъехал броневик, в нем были друзья Син-рано — четверо могучих мужчин. Они вели себя как мальчишки, которым позволили поиграть в войну.

Нарини собрала небольшую сумку — мы не могли обременять себя багажом.

— Ты не передумала? — спросил я.

Она посмотрела на меня в упор.

— А ты?

— Тогда все в порядке, — сказал я.

В комнату зашел один из братьев Нарини. Он был расстроен, но старался держаться.

— Броневик отходит ровно в час ночи, — предупредил он.

— Если захочешь, — сказал я ему, — можешь прилететь к нам на Землю.

— Видно будет, — ответил он и посмотрел на сестру.

Штурм дома начался с темнотой. Это походило на приключенческое кино. Трассирующие пули вили в небе разноцветную сеть, мины рвались на лужайках и в кустах, коровы отчаянно мычали в хлеву. Полиция прибыла через час после начала боя, когда нашим уже пришлось ретироваться на крушу. Нападающих было много, и они не хотели отступать даже перед полицией.

Именно тогда, в полной неразберихе, Син-рано и осуществил свой план. Броневичок, на котором нам предстояло удрать, был спрятан за сараями. Кроме нас, в нем был только один из братьев Нарини. Остальные держали оборону.

Син-рано похлопал меня по плечу и сказал:

— Жду вестей.

Броневичок был легкий, верткий. Он выскочил за ворота и пошел к городу.

Враги слишком поздно заметили наше бегство. Нарини отстреливалась из пулемета в башне. Перед моими глазами были ее коленки в жестких боевых брюках, она отбивала пяткой какой-то странный ритм, совпадающий с ритмом очередей. Я не мог отделаться от ощущения, что все это ненастоящее.

Потом мы ехали несколько минут в полной тишине. Нарини наклонилась ко мне и спросила:

— Ты как себя чувствуешь?

Это были ее первые слова, которые в своей будничности устанавливали между нами особую связь, возникающую между мужчиной и женщиной, когда они вдвоем.

— Спасибо, — сказал я и пожал протянутые ко мне пальцы.

У космодрома мы попрощались с братом Нарини. Он старался не плакать.

Все было рассчитано точно — уже кончалась регистрация, и мы сразу оказались на корабле. Когда он поднялся, я вдруг понял, что страшно голоден, и зашел к Нарини — ее каюта была рядом с моей. Нарини сидела на койке, устремив взгляд перед собой.

— Хочешь есть?

— Есть? — Она осознала вопрос, улыбнулась и сказала: — Конечно. Мы же с утра не ели.

Я впервые увидел, как она улыбается.

В полете мы много разговаривали. Мы привыкали друг к другу в разговорах. И, расставаясь с ней на ночь, я сразу же начинал тосковать по ее голосу и взгляду.

Потом была пересадка. Этот астероид так и зовется Пересадкой, никто не помнит его настоящего названия. Тысячи людей ждали своих кораблей. Мы получили космограмму от Син-рано. Все обошлось благополучно, только Рони угодил в больницу, его снова ранили. Старший сын вернулся домой утром. Теперь он будет жить отдельно.

Я представил себе его брезгливое лицо и платок, вытирающий указательный палец.

Там же меня ждало послание от моих тетушек. Их у меня пять, и все меня обожают. Я показал космограмму Нарини.

Пять тетушек?

Она не могла привыкнуть к зрелищу многочисленных женщин, что так свободно гуляли по залу Пересадки. Мысль о существовании нескольких женщин в одном доме была для нее невероятной.

— А дяди у тебя есть?

— С дядьями у меня туго, — сказал я.

— Почему? Твои тетушки некрасивы?

— Когда-то были красивы.

— Они не любят мужчин?

Я пожал плечами. Мои тетушки любили мужчин, но им не повезло в жизни.

Я спрятал в карман еще четыре космограммы.

— А это от кого? — спросила Нарини. — Тоже от тетушек?

Женщины очень быстро чувствуют ложь даже не в словах, а в движениях мужчины.

— Это от моих невест.

— Ты шутишь?

— Почти.

— Ким, ты должен мне объяснить, что происходит.

Ее глаза порой могут метать молнии.

— Понимаешь, прогресс повторяет некоторые свои причуды... Когда-то, в восьмидесятих годах двадцатого века, и у нас на Земле, в Японии, изобрели способ по желанию определять пол будущего младенца. Ведь ты не думаешь, будто Дарни исключение?

— Значит, у вас то же самое?

— То же самое не бывает, — сказал я. — Но когда родились первые «заказные» дети, когда эта процедура стала доступной, многие молодые семьи захотели, чтобы у них родился...

— Мальчик, — сурово сказала Нарини.

— Началось демографическое бедствие. За несколько десятилетий состав населения Земли резко изменился.

— Не объясняй, знаю.

— Мужчины стали значительным большинством населения. Падала рождаемость. Произошли неприятные социальные и психологические сдвиги. Однако мы спохватились раньше, чем вы. Было запрещено пользоваться этим методом. На всей Земле. С тех пор мы живем... естественно.

— Но почему тетушки, невесты... ты не договариваешь.

— Понимаешь, природа не терпит насилия. Она защищается. И когда «заказные» дети были запрещены, обнаружилось, что естественным путем у нас рождаются девочки. На каждого мальчика три-четыре девочки. Сегодня на Земле женщин вдвое больше, чем мужчин.

— И что же происходит? Мужчин продают? Отвоевывают?

— Нет, зачем же. Сейчас новорожденных мальчиков лишь на двадцать процентов меньше, чем девочек. Полагают, что лет через десять баланс восстановится. Но пока...

— Пока мы летим, чтобы меня убили твои невесты, — без улыбки сказала Нарини.

— Никто тебя не убьет.

Нарини молчала. Я молчал тоже, потому что вдруг понял, что я — обманщик. Почему я не сказал об этом раньше?

— Я не лечу на Землю, — сказала наконец Нарини.

— Куда же нам деваться?

— На любую планету, где всех поровну.

Мы пробыли на Пересадке лишних два дня, все это время я ходил вслед за Нарини и уговаривал ее рискнуть. В конце концов она согласилась.

С тех пор мы живем с ней в Москве. Мы счастливы.

У нас есть сын и дочь.

Мои тетушки приняли Нарини, они в ней души не чают. Раньше они никак не могли сойтись во мнении, какая невеста мне более подходит. Нарини разрешила их споры.

Нарини очень занята. Она председатель межпланетной организации «Равновесие». Когда я называю эту организацию брачной конторой, Нарини обижается.

1986 г.

РАЗУМ ДЛЯ КОТА

Если я долго не встаю, Мышка подходит к кровати и, зацепив когтями одеяло, осторожно тащит его на себя. Это первое предупреждение. Чаще всего я игнорирую первое предупреждение. Тогда он добирается до руки и дотрагивается лапой. Рука тоже не откликается. Приходится переходить к жестким мерам. Мышка выпускает когти и будит руку всерьез. В конце концов я, конечно, просыпаюсь. Мышка своего добьется.

Я поднимаюсь, ругая кота, он благородно трется бакенбардами о мои голые колени и усаживается посреди комнаты, пока я оденусь и застелю постель. Затем он несется к двери уборной, указывая мне правильный путь, потом ждет меня в дверях ванной. Только тогда идет на кухню. Но не к своей тарелке, это было бы слишком просто, а Мышка не позволяет себе попрошайничать — это оставим для простых котов.

Мышка сидит у холодильника и глядит на меня. Только глядит. Он верит, что я не оставлю его помирать с голоду. Да и получив свою утреннюю рыбу, Мышка не бросается жадно к тарелке. Он сначала постоит рядом, глядя на меня, словно мысленно считает до десяти.

Вечером, когда приходят с работы, Мышка сидит на кресле в большой комнате — оттуда лучше слышно, как поднимается лифт. По шагам он знает, кто идет. Сколько раз я видел, как Мышка, услышав лифт, не двигается с места, если к двери подходит чужой, скажем, не кормилец. Но если идут свои, Мышка опрометью летит к двери и садится так, чтобы его не задело, когда дверь откроется. При виде родственника, — а Мышка глубоко убежден, что мы представляем собой стаю, в которой ему отведено хоть и не самое главное, но почетное место, — Мышка изображает красивого кота, для чего он растягивается на полу

во весь свой солидный рост и начинает кататься и принимать элегантные позы. Если очень соскучился по людям за день, будет кататься долго и энергично, но если до того кто-то уже пришел и кормил его, то перевернется разок из вежливости и замрет.

Мышка странно молчалив для кота. Я его подобрал беспризорным котенком. Некому было учить его мяукать. А так как дома к нему относятся скорее как к собаке, чем к коту, то он и ведет себя, как собака.

Когда ко мне пришел Свер-ди, Мышка даже не поднял головы, а лежал в кресле, прижав голову к сиденью, и внимательно разглядывал в дверь прихожей ломкого, сутулого инопланетянина, отлично понимая, что это очень чужое существо. Свер-ди снял сапоги, вытащил из сумки своего секретаря — большую мохнатую ящерицу по имени Диприда, посадил ее на плечо, прошел в большую комнату и сел на диван, в метре от Мышки.

Я боялся, что Мышка нападет на Диприду. Та тоже этого боялась и потому сидела напряженно и часто мигала. Но Мышка рассудил, что Диприда — не животное и территорию от нее охранять не надо. Спать он себе после этого не позволил, глаз не закрывал и даже показывал неудовольствие, подрагивая кончиком пушистого хвоста. Но не более того.

Мы со Свер-ди обсуждали свои научные проблемы, а через полчаса пришла Алиска. Услышав, как она вышла из лифта, Мышка прыгнул с кресла, перепугав Диприду, которая даже уронила крмпьютер, и уселся у двери. Затем он выдал сцену «красивое животное встречает долгожданную хозяйку» в полном объеме. Свер-ди смеялся, Диприда подобрала компьютер и тоже изобразила улыбку.

— Еще один шаг, и он станет человеком, — сказал Свер-ди.

— Я часто жалею, — сказал я, — что Мышка не может говорить.

— Или писать, — сказал Свер-ди.

Мышка понесся на кухню впереди Алисы.

— В то же время в нем живет отсталое дитя, — сказал я. — Он делает глупости. Рвет когтями диван, вчера чуть не грохнулся с балкона, охотясь на голубей. Говоря вы-

сокопарно, силой любви невозможно сломить барьер непонимания.

Диприда кивнула. Она это понимала.

— Что ж, — сказал Свер-ди, — еще недавно я мог бы сказать то же самое о моей Диприде. Помнишь?

Диприда кивнула и даже попыталась улыбнуться, что у нее не очень получилось, так как рот ящерицы не приспособлен для улыбки.

— Я был счастлив, когда изобрели энцелостимулятор. Он был предназначен для людей. И действие его оказалось удивительным. В течение года в школах не осталось отсталых детей. Должен признаться, что я никогда бы не стал профессором и никогда бы не прилетел к вам на Землю, если бы не стимулятор.

— Я читал, — сказал я.

— Сейчас его уже начинают употреблять у вас.

— Знаю, — сказал я.

— Первой моей мыслью было: а что если я смогу помочь моей Диприде? Она жила у нас давно, мы любили ее, но домашнее животное — это домашнее животное. Мы называем порой зверей друзьями — это уступка любви. Дружить можно только с себе подобными.

Свер-ди погладил Диприду по мохнатому гребню, Диприда кивнула и начала что-то набирать на клавиатуре компьютера.

Вернулся Мышка. Видно, он поспешил с ужином, чтобы не оставлять меня одного в комнате со странными гостями. Совершенно по-собачьи, увидев свой мячик, забытый под столом, он схватил его и быстро унес в угол, за стопку книг, спрятал игрушку.

— Если хочешь, я тебе завтра принесу пилули, — сказал Свер-ди. — Совершенно безопасны, опробованы на миллионах живых существ.

— Спасибо, — сказал я.

Мышка выглянул из-за книг. Ему хотелось поиграть мячиком, но гости все не уходили, и не исключено было, что они отнимут мячик, если тот слишком близко к ним подкатится.

— Алиска! — позвал я. — Ты знаешь, что завтра Мышик станет умнее меня и почти такой же умный, как ты?

Алиска мыла посуду и пришла в комнату не сразу. И

не сразу поняла, какие светлые перспективы открываются для нашей стан.

— И что он будет делать? — спросила она.

— Мышей ловить, — ответил я неумно.

— А в самом деле?

— Девушка, — сказал Свер-ди, — у нас с вами есть изумительный пример стимуляции мозговой активности — моя любимая Диприда. Диприда, скажи Алисе — ты счастлива?

Диприда поглядела на Алису, на Мышку, который принялся от нечего делать развязывать шнурки на моих ботинках, потом ловким движением лапки набрала текст на клавишах компьютера, с которым никогда не расставалась. На экранчике возникли слова: «Разумеется. Я была животным, а стала почти человеком».

— Умна, мое сокровище, — сказал Свер-ди. — Ты обратил внимание на слово «почти»? Она имеет в виду невозможность говорить. Правда?

«И это тоже», — набрала текст Диприда.

Мышка встал на задние лапки, потянулся к экрану компьютера — ему понравилось, как вспыхивают буквы.

— Потерпи, — улыбнулся Свер-ди. — Завтра ты сможешь это сам. Не кормите его на ночь, — обратился гость к Алисе. — Средство надо принимать натошак. Иначе не подействует. А лучше дать слабительное.

Потом он велел Диприде отпечатать синопсис нашей беседы, чтобы я его заверил, а он передал своему руководителю. Лапки ящерицы летали над клавишами.

— А что она делает, когда не работает? — спросила Алиса.

— Что? — Свер-ди немного удивился, но не стал обращаться с этим вопросом к Диприде, чтобы не отвлекать ящерицу от дела. — Читает. Иногда. Думает. Спит, ест — живет.

— А другие ящерицы?

— Ты хочешь спросить, есть ли среди них умные? — переспросил Свер-ди.

— Да.

— Это им не по карману. Может, через несколько лет...

— А сколько живут эти ящерицы?

— До двадцати лет, — сказал Свер-ди. — Но моя еще молодая. Ей пошел восьмой год.

— У нее есть дети? Друзья?

— У нее есть я. У нее есть пища для размышлений.

Диприда перестала печатать. Она смотрела на Алису.

Свер-ди начал собираться. Он надел сапоги, спрятал ящерицу в сумку. Напомнил, что коту не надо кормить.

Через час, а может, больше, я вспомнил, что давно не видел Мышку. Странно, я завтра скажу ему, что на улице шесть градусов мороза, а он кивнет... Надо будет купить для него миниатюрный компьютер. И можно будет снять с окон бадминтонную сетку — разумный кот не прыгнет сдуру с восьмого этажа за пролетающей птичкой.

Я прошел на кухню.

Кот сидел у своей миски и лениво, из последних сил жевал громадный кусок свиной вырезки, которую я купил утром совсем не для кота.

Алиса стояла над ним и редела. Молча, только слезы по щекам.

— Что здесь происходит? — спросил я. — Ты забыла, что средство действует натошак?

— Мышку жалко, — сказала Алиса. — Может, ты передумаешь?

— Ты с ума сошла, — сказал я. — Мы имеем возможность оказать невероятное, сказочное благодеяние нашему коту. Он будет самым настоящим членом человеческой семьи. Понимаешь, какое счастье — ты ему рассказываешь, что с тобой произошло за день, а он тебе то же самое рассказывает.

— И что же с ним произойдет за день?

— Неважно.

— Важно. Ты из него хочешь сделать человека?

— Я хочу, чтобы он стал разумным существом.

— В шкуре обыкновенного кота?

— Внешность — не главное.

— Это не только внешность. Отец, подумай, ты мог бы жить в шкуре кота? С твоими интересами? С твоим желанием общаться, читать, путешествовать, спорить, говорить?

Алиса подняла кота на руки, и тот не спорил — он был

так сыт, что мясо вызывало в нем отвращение, подобное тому, что испытывает к концу дня кондитер, съевший на пробу триста пирожных. Кот смотрел на меня большими, тупыми от сытости, бессмысленными глазами, потом пристроился поудобнее на теплых руках Алисы и блаженно задремал.

Когда на следующий день пришел Свер-ди со своими пилюлями, мы с Мышкой были заняты очень интересным делом. Я шел по коридору, делая вид, что не знаю, где кот. А кот бросался на меня сзади из засады под диваном, бил с ходу лапой, а когда я оборачивался, стремглав, изображая ужас, неся под диван прятаться.

— Скажи дяде: нет, спасибо, — приказал я коту.

Кот лег на спину и, вытянувшись, перевернулся, показывая белое пушистое пузо.

— Мы решили остаться очень красивым животным, — сказал я за кота. Тот ничего не понял и гордо пошел на кухню, проверить, не появилась ли в тарелке пища.

1986 г.



В ОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Как-то я предположил, что существует некий Институт экспертизы. Туда отправляют на проверку придуманные в иных местах необычные и сомнительные разработки. Это должен быть самый обычный институт, с профкомом, командировками, распределением колбасы и тапочек (я придумал этот институт в середине семидесятых годов, когда распределение колбасы казалось мне, как смелому фантасту, явлением вечным, как солнечные затмения). Люди, работающие в институте, относятся к невероятным изобретениям как к предмету экспертизы, то есть без излишнего пиетета. Мне всегда нравилось сталкивать обыденность существования и парадоксы прогресса. Телевизор не успели толком изобрести, как спокойно понесли на свалку, чтобы купить новую модель. Привыкаемость человека, а тем более нашего, советского, настолько велика, что он создаст совет ветеранов третьей мировой войны, который будет обсуждать и осуждать прогул очередного заседания инвалидом Сидоровым в последнем обитаемом туннеле метро при свете лучины. Если в свое время у нас была бы изобретена невидимость, то мы построили бы закрытый спецгород Челябинск-45, по которому гуляли бы сотрудники института, кто с невидимой рукой, кто с невидимой головой, а к женской бане была бы прибита погнутая, избитая дождями вывеска: «Невидимкам мужского пола вход воспрещен. За нарушение штраф 25 руб.».

Вот такой обыкновенный Институт экспертизы должен был действовать в романе. Связующей линией романа, составленного из отдельных эпизодов, центром которых должна была быть лаборатория Калерии Данилевской, я планировал поиски брошенного экипажем инопланетного космического корабля, который, по све-

дениям наблюдателей, опустился в городе Великий Гусляр (или в ином городе) и его надо было вывезти в Москву. Вот его и ищут. Пока не находят во дворе Института экспертизы, куда его привезли в прошлом году, оприходовали и используют как курилку. И никому в голову не приходит, что это — летающая тарелочка.

Роман не получился, очевидно, потому, что я не нашел для него правильного тона. Лезвие бритвы проходило между пародией и серьезной фантастикой. Главы романа возникали, ложились на бумагу, отпочковывались и становились рассказами. Например, первоначально главой должен был стать рассказ «Шкаф неземной красоты». В конце концов я махнул рукой, занялся другими делами, но несколько рассказов, героиней которых осталась Калерия и ее оруженосец Саня Добряк, не пожелали расставаться. Их слишком мало для книги, романа, даже цикла рассказов. Их не хватает, чтобы стать единством, но их достаточно, чтобы появиться в этой книге как отрывки из дневника Одной лаборатории.

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

— У меня лично, — сказал лаборант Саня Добряк, подходя к зеркалу полюбоваться первыми в жизни усами, — у меня лично нет никакой уверенности.

— Ну и слава богу, — сказала Лера. — Был бы ты, Саня, во всем уверен, наука бы остановилась.

— Правильно, — согласился Саня. — Меня держат в науке для сомнений. Представьте себе, что у Гойи был слуга. Готовил ему холсты и натягивал на подрамники. Вот молекулярная собака и берет его след. Реально?

— Реально. Ты же знаешь, что мы взяли полотна с промежутком в двадцать пять лет. И комплекс совпал.

— Слуга всю жизнь натягивал холсты.

— А Гойя до них не дотрагивался?

— Гойя, как настоящий сеньор, не снимал перчаток. Вы сегодня пойдете?

— Куда?

— Не притворяйтесь, Калерия Петровна. Зачем прическу сделали?

— Ты о вечере встречи?

— В ресторане собираетесь?

— В ресторане.

— Счастливая вы женщина, Калерия Петровна. Работаете со мной, а после работы ходите в рестораны с другими. Жду не дождусь, когда пройдет двадцать лет со дня, как я окончил школу.

— Зачем торопиться?

— Стану я к тому времени скромным доктором наук. Приду к своим сверстникам. Один — шофер, другой — официант, третий — в младших лейтенантах застрял. А ты кто, Саня Добряк, спрашивают меня? Ты же в школе посредственно учился. А я отвечаю — служу доктором

наук в Институте экспертизы под началом академика Калерии Данилевской.

— Остановись, несчастный, не мешай работать. Ты сначала заверши высшее образование и научись правильно писать слово «ассоциация».

— А я неправильно его написал?

— Через одно «с».

— Опечатка. Не обращайтесь внимания. А много там ваших собирается?

— Много.

— Вы их давно не видели?

— Кого как. Некоторых со школы. Помолчи немного.

Саня помялся немного, придумывая себе дело, хотя было достаточно настоящих, которыми давно бы следовало заняться.

— А вы в классе кого-нибудь любили? — спросил он как раз в тот момент, когда Лера решила, что он угомонился.

— Любила.

— И я, — сказал Добряк. — Только безответно. А вы его потом встречали?

— Я вышла за него замуж.

— Ложь. Женская ложь. Ваш супруг, простите, мне известен. Вы с ним в институте познакомились. Его зовут Олегом.

— Ты уличил меня, Саня. Нет, после школы мы не виделись.

...Лариса Ривкина зря придумала проводить вечер встречи в ресторане. Она почему-то решила, что все тут же сбегутся, движимые сентиментальными воспоминаниями. Звонили по цепочке, кто кого видит, почти всех нашли, все согласились прийти. А пришли только семнадцать человек. Отлично бы уместились у той же Ларисы, живет одна в двухкомнатной квартире.

Лера опоздала почти на час — пришлось посетить профсоюзное собрание. На собрании она старалась слушать оратора из кассы взаимопомощи, там назревал скандал, а думала о том, что молекулярная собака упорно отказывается брать комплекс Танеева. Почти наверняка — Танеев, а идет совершенно незнакомый комплекс. Липатов уверя-

ет, что это — Скрябин. Ну при чем тут Скрябин? Явная подделка. Она рассуждала о неудачном комплексе, чтобы не думать, придет ли на вечер Иван. Лучше бы не приходил, хотя она знала, что без него вообще пропадет смысл этого вечера.

Друзья детства сидели за длинным, неудобно, чуть ли не посреди зала стоявшим столом. Тридцать мест, шестнадцать человек. При виде Леры поднялся шум, даже неловко было идти через зал, от других столов оборачивались — то ли кинозвезда, то ли обретенная родственница. За столом все ощущали себя родственниками, за двадцать лет забыли, кто был ябедой, кто трусом, готовы были простить жизненные неудачи и даже успехи.

Лариса кричала громче всех:

— Сюда, Лерка, ко мне, тут место есть!

Лера послушно уселась рядом, хотя меньше всего хотела бы провести вечер между Ларисой и Махоньковым. Ларису она и без того видела трижды в неделю, а в промежутках выслушивала по телефону подробные описания сердечных неудач. Махоньков раздобыл, поверх крепкого живота галстук в зигзагах, только что из Сенегала, и «волгу» купил, импортный вариант.

Задерганная соседями, Лера не сразу увидела Ивана. Хотя сидел он почти напротив. Стоял шум, что возникает после третьей рюмки. Раздражала отчужденность длинного ресторанного стола, где приходится кричать и ловить выкрики, иначе ты обречен весь вечер выслушивать лихорадочный шепот Ларисы, потому что Он ее бросил, вернее, не бросил, но вчера не позвонил, вернее, позвонил, но говорил таким голосом... а как ты думаешь, может, Его жена была рядом и Он вынужден был говорить таким голосом? Тут же Махоньков отечески трогает за коленку и сообщает, что «у нас в Сенегале убийственный климат»... Ах, у вас в Сенегале климат! Очень приятно.

Субботин — он всегда был такой худенький, нечесаный, любил только литературу, а занимается автоматическими системами и растолстел. А рядом Войтинский, майор. Неужели столько времени прошло, что Войтинский стал майором? Майор в тридцать семь, когда же он станет генералом? Иван встретился с Лерой взглядом и неуверенно улыбнулся, словно они расстались вчера. Он

совсем не изменился, только отпустил длинные волосы. Ему совершенно не идут длинные волосы. Будь я его жена, никогда бы не позволила... Лера попыталась мысленно поменять Ивана и Войтинского одеждой. Как Ивану майорские погоны?

— Ты меня не слушаешь? — Лариса дернула ее за рукав.

— Ну, мальчики-девочки, — громко сказал Войтинский. — Вот мы и встретились после долгого перерыва. Кое-кто возмужал, я — в первую очередь (общий смех), кое-кто расцвел — то есть все наши девчата без исключения...

Махоньков наклонился к Лере:

— Ну а чем ты занимаешься?

Лере показалось, что Иван прислушивается.

— Работаю, — сказала она. — В НИИ экспертизы.

— Защитилась?

Жизненные блага в понимании Махонькова должны были выражаться в упорядоченных ступеньках, где каждое занятие имело свой чин.

— Да.

— И над чем конкретно сейчас трудишься?

— Определяю Гойю.

— В смысле?

— В смысле Гойя это или не Гойя.

— Гойя — художник? Испанский?

— Ты проницателен, Махоньков. Именно так.

— Значит, ты искусствовед.

Это не было вопросом. Это было утверждением.

— Нет. Я химик.

— Ясно, по краскам.

— Не совсем так.

И зачем Ивану длинные волосы? Ударник в оркестре, как бы пробуя, не ослабла ли кожа барабана, выбил дробь. Оркестранты в оранжевых пиджаках поднимались, докуривая, на эстраду. В последний раз они встретились на вечере у нее в институте. Иван приходил туда как свой — официальный жених. В тот вечер Иван стоял с Олегом, разговаривали. Лера представила себе, какие чувства бурлили в груди Олега. Милый Ваня, ты не подозревал, какую змею лелеешь на груди. Интересно спросить, по-

мнит ли он, о чем они тогда разговаривали, как он доверчиво делился с Олегом своими проблемами? А потом заиграл оркестр, свой, институтский. Иван пригласил ее. Он был рассеян и огорчен. А может быть, сй теперь кажется, что он был огорчен... Извинился, сказал, что спешит домой, мама больна, простудилась, у нее высокая температура. Тебя Олег проводит, он обещал. Так и сказал. Его забота распространялась на нее даже тогда, когда самого его рядом не было. Странно, но они никак не могли собраться и назначить срок свадьбы. Как будто все уже было решено и утверждено где-то в очень высоких инстанциях, даже родители давно смирились уже с тем, что иного пути у нее нет. Она сама слышала, как мать говорила соседке: «Когда Лерочка выйдет за Ивана, мы переедем в маленькую комнату. Им же надо заниматься». Жизнь с Иваном была так же понятна и неизбежна, как приход весны и экзаменационной сессии.

— Если ты не будешь пить, — сказал Махоньков, — и я не буду пить, то получится, что мы зря выкинули деньги.

— Не хочется.

— А мне хочется, но я не могу. За рулем, понимаешь?

Оркестр наконец собрался с силами и затянул нечто страстное, древнее и тягучее. Из эпохи маминой юности. Ресторан утверждал, что он респектабелен. Интересно, хватит ли у Ивана смелости пригласить ее? Пускай приглашает. Все это — далекое прошлое.

Когда она сказала Олегу, что придет поздно — вечер встречи, он только пожал плечами и спросил: «Лариса устроила?» Словно в вечере встречи было нечто постыдное. Олег Ларису не любит — формально за глупость, легкомыслие (ты могла бы выбрать себе подругу поумнее!), но подруг не выбирают — это стихийное бедствие. В самом деле Олег не любит ничего, связанного с прошлым Леры.

Махоньков спросил:

— Ты будешь танцевать?

— С удовольствием.

Оркестр как раз завершил первую скорбную песню.

Они проталкивались сквозь толпу возвращавшихся после танца к столикам. Стоило бы подождать, но Ма-

хоньков, видно, решил, что любое промедление приведет к тому, что Леру пригласит прекрасный Войтинский или Иван. Лучше увести ее и придержать до нужного момента в изоляции.

— Ты с Иваном встречаешься? — спросил он.

— Нет.

— А я всегда к нему ревновал.

— Почему?

— Потому что был в тебя влюблен.

— Ты? Я никогда не догадывалась. Ты отлично умел скрывать свои чувства.

— Ты на меня и не смотрела. Я был ниже тебя ростом.

Лера хотела сказать, что он с тех пор не очень подрос. Но тут оркестр грянул торжественное танго.

Махоньков повлек Леру в круг. Иван танцевал с Риммой Прахиной. Почему Лера не заметила ее за столом? Римма помахала коротенькой ручкой. Совсем близко Лера увидела руку Ивана на спине Риммы. Сколько раз он танцевал с ней, обнимал ее — она всей шкурой помнила ощущение его ладони на спине, а никогда не видела, как это выглядит со стороны. Его рука на ее спине...

Выполняя просьбу Ивана, Олег тогда проводил Леру до дома. Олег был на нее обижен. Из излишней гордыни. Никак не мог забрать в голову, что все его научные и умственные преимущества, все его светлые перспективы и даже квартира ничего не стоят. Что ж будешь делать, если есть на свете Иван. Не убивать же его. Конечно, Олег хороший человек, милый друг, послушный поклонник — все что угодно. Но ведь есть Иван.

— Грустно Ивану, — сказал тогда Олег.

Была холодная весна пятого курса, Олег дрожал в модной кожаной куртке.

— Почему? — спросила Лера, думая о чем-то совершенно постороннем. Может, даже об экзаменах.

— Настроение плохое.

— А, знаю. У него мама разболелась. Я завтра к ней зайду.

— Не заходи, — сказал Олег. — Не нужно этого делать.

— Ты о чем?

— Не в матери дело.
— Что еще за загадки?
— Он просил меня об этом не говорить.
— Мне?
— Тебе в том числе. И я не могу изменить своему слову.

— Ты с ума сошел. Чтобы Иван...
— Я бы на твоём месте тоже не стал спрашивать. Вот таких указаний Лера не терпела.
— Слушай, кто тебе дал право...
— погоди. Бывают такие ситуации, которыми мужчина может поделиться с женщиной, а женщине, даже близкой, ничего не может сказать.

— Не бывают.
— Это связано с одной девушкой. Ты её не знаешь...
— Как так не знаю?
— Не беспокой его. Он сам отыщет какой-нибудь предлог, чтобы не видеться с тобой. Не сердись... постарайся его понять...

Лера смахнула с себя слова Олега, как шенок отряхивает воду, вылезая из речки. Это теперь, с высоты жизненного опыта, Лера убедилась в том, что даже самая горячая любовь не обязательно длится десятилетиями. А любовь школьная, да ещё с шестилетним стажем, чаще всего оказывается непрочной и даже смешной, когда партнёры подрастут и опомнятся.

Она пришла домой, сразу позвонила Ивану. Не потому, что трепетала перед соперницами, — надо было спросить, как мама.

— Маме лучше. Слушай, Калерия, неожиданно получилось, что я сегодня ночью уезжаю в Ленинград. Дня на три-четыре. Звонил Витебский, меня ставят на игру. Что же не поздравляешь?

— Мог раньше сказать.
— Хотел тебе сделать сюрприз. Понимаешь, до последнего момента все было фифти-фифти. Могли взять, могли оставить. Похвастался бы, остался дома, куда денешься от твоих насмешек?
— А Олегу говорил, что уезжаешь?
— Он проболтался?

— Он о многом проболтался. Не понимаю, почему ты избрал его исповедником. Меня тебе мало?

— Не со всеми проблемами обратишься к женщине. Тебе этого не понять.

— Раньше понимала.

И тут она на него жутко разозлилась. Она все еще не верила Олегу, конечно, не верила. Но совпадение налицо — не успела прийти домой, а он уже избегает с ней встреч. Наверно, она бы вела себя иначе, не будь все у них так хорошо установлено, утрясено, согласовано. Слово плыло по течению. И первый же камень мог пустить эту лодочку ко дну. Никакого иммунитета против неожиданностей.

— Ты приедешь меня проводить? — спросил Иван.

— Еще чего не хватало!

Она бросила трубку. Он позвонил снова, она сказала, не дожидаясь, пока он откроет рот: «Я спать хочу», — и снова повесила. Все. Вот и ссора. Что там Олег бормотал о другой девушке? Чепуха какая-то. У кого угодно, только не у Ивана. Как будто Иван был застрахован. Два метра росту да метр в плечах — и застрахован?!

А потом на следующий же день — лавины всегда срываются неожиданно и потом режут, несутся, набирая скорость, пока не погребут под собой жалкую деревушку со спящими жителями — Олег передал ей письмо от Ивана.

— Он попросил меня заехать к нему перед отъездом и отдал вот это. Я не распечатывал.

— Еще чего не хватало, — сказала Лера и выхватила конверт.

В нем наверняка три страницы раскаяний, плохое стихотворение о том, что Ване не спится, и надежды на лучшее будущее. Ведь бывали же ссоры. И всегда кончались вот так. И что еще за манера доверять свои чувства машинке? Иван считал, что этим проявляет уважение к адресатам, которым не приходится расшифровывать его каракули. Джульетта померла бы на месте, получив машинописное послание от своего Ромео.

Лера отошла в сторону и разорвала конверт. Она не собиралась сразу читать это письмо. Тем более что Олег ошивался по соседству. Но уж очень зла она была на

Ивана, и его раскаяние требовалось для внутреннего успокоения.

«Лерка, дорогая!

Я хотел тебе все сказать по телефону, но не решился. Я тебя давно знаю и люблю, ты мне ближе и дороже сестры. И то, что случилось между мной и Верой, — ты ее не знаешь и это неважно, — наверное, объясняется страстью, которая нас охватила...»

Это шло на целую страницу, и у Леры не затуманивались глаза, не падало сердце, она читала это письмо спокойно, словно оно не имело к ней никакого отношения. Ах, у них будет ребенок! Это очень трогательно. Надо будет обязательно послать им на свадьбу подарочек... И эти идиотские слова в конце — типичные для современного мужчины:

«Я не уверен, что смогу совладать с собой. Я сделаю все, чтобы расстаться с Верой. Клянусь тебе, все! Я вернусь к тебе. Как только я приеду из Ленинграда, я позвоню. Если бы ты поняла и простила меня...»

Ах, подлец!

Господи, как трудно было потом, когда, опомнившись, раскаявшись, Иван штурмовал ее, словно крепость Баязет, слал письма, звонил, подсылал друзей, ждал под окнами! Пришлось обо всем рассказать маме, мама — каменная глухая стена. Она принимала удары стенобитных орудий...

Лера поймала себя на том, что думает о прошлом слишком легкомысленно. Какие там стенобитные орудия... Удивительно, что она защитила диплом. Все люди собственники — женщины вдвойне.

Она вдруг сообразила, что оркестр играет уже совсем иной танец и она скачет отдельно от Махонькова, который плавно поводит ручками и делает ногами дрыгающие движения, как насмотрелся в своем Сенегале.

— Я устала, — сказала она Махонькову, остановившись.

— Ну что ты, давай плясать через такт, — джентльменски предложил тот.

Лера уже повернулась и шла обратно, к столу. За

столом поредело. Кто-то убежал домой, другие танцевали. Перед ее стулом стыла киевская котлета. Сразу возникла трезвая и не относящаяся к торжеству мысль: не забыли ли ее мужики достать котлеты из холодильника? А там со среды осталась половина торта. Они сожрут торт, а она хотела его вообще выбросить — три дня, хоть и в холодильнике, может, крем уже испортился.

Войтинский пытался запеть песню, которую они любили в десятом классе и которая, как им тогда казалось, останется в любимых навсегда. Кроме кругленькой Риммы, никто его не поддержал. Нет, вот и Махоньков начал послушно раскрывать рот.

— Ты не будешь танцевать? — спросил Иван, останавливаясь за спиной.

Словно она рухнула в холодную пропасть. Ну, казалось бы, соученик, милый человек, пригласил ее танцевать. Не обманывая себя, Лерочка, никуда тебе от этого не деться. Ты же шла сюда и знала, что это случится. Тебя тянуло, как убийцу на место преступления.

Она поднялась медленно, словно в стуле был магнит, послушно повернулась к Ивану и протянула ему руки, собираясь начать танец прямо здесь, у стола. Танцевать у стола было негде, и Иван повел ее к оркестру. Все эти тридцать или сорок шагов она боролась с собой, как пустынный человек с бесом. И тут же новое счастье. Или несчастье: оркестр грянул последний аккорд именно в тот момент, когда Иван положил ей руку на плечо.

— Ну вот, — сказал Иван. — Опять не повезло.

— Не повезло, — согласилась Лера.

— Подождем?

— Подождем.

Краем глаза Лера видела, что оркестранты поднимаются, складывают инструменты. Сейчас будет перерыв. Она не стала говорить об этом Ивану. Пусть сам обернется и поймет.

— Как живешь? — спросил Иван.

— Хорошо.

— Работой довольна?

— Довольна. А ты?

— Не всегда. Я на тренерской работе.

— Ты не кончил института?

— Кончил. Но потом меня затянуло... Ты замужем?

— Да.

— Впрочем, я знаю.

— Наверно, знаешь. Я давно замужем.

— У тебя сын?

— Сын. Во втором классе. А у тебя есть дети?

— Нет, я разошелся.

— С Верой?

— С какой Верой? Мою жену Ириной звали.

Иван посмотрел на эстраду.

— Придется возвращаться, — сказал он. — Раньше чем через полчаса они не придут.

— Конечно.

— А про какую Веру ты спросила?

— Про ту, из-за которой все получилось.

— Не понимаю. В жизни не знал никакой Веры.

— Разве не все равно?

— Честно говоря, нет. Для меня все осталось загадкой.

— Для меня — нет.

— Ты не представляешь, что я пережил. Может, хоть теперь расскажешь? Это из-за Олега? Но ты могла бы мне все тогда рассказать. Ей-богу, легче все знать, чем воевать с ветряными мельницами.

«Сейчас сорвусь и врежу ему в физиономию, — подумала Лера. — Человек разрушает другому жизнь и через много лет устраивает сцену у фонтана».

Этого сделать не пришлось. Возник Махоньков.

— Я ревную, — сообщил он. — Ребята, вас все ждут! Надо выпить за Розалию Ильиничну. Не зря она нас терзала столько лет.

Лера с облегчением схватила Махонькова за руку, больно ударившись пальцем о золотой массивный перстень.

А еще через полчаса Лера незаметно выскользнула из-за стола. Настроение было паршивое, вся эта затея с рестораном оказалась пустой и нелепой, а мысль о том, что Иван будет ждать ее внизу, чтобы продолжить разговор, была невыносима.

К одиннадцати она уже была дома. Мишка, слава богу, спал. Олег валялся на диване с книжкой и не встал, чтобы ее встретить. Такой был несчастный и настороженный, что даже воздух в квартире загустел и замер, как перед грозой.

— Вы ужинали? — Лера заглянула в комнату, не снимая плаща. — Котлеты ели?

Она хотела, чтобы он понял: все в порядке, не воображай глупостей.

— Я Мише поджарил котлету, — сказал Олег.

— А сам доел торт, — улыбнулась Лера.

— Нет, не хотелось. Как там было? Интересно? Много народа?

— Скучно, — сказала Лера. — Не надо было идти в ресторан. Отлично бы управились дома. Хотя бы у нас.

— У нас тесно, — сказал Олег, словно опасался такой перспективы и давно придумал ответ.

— Я шучу, теперь нескоро снова встретимся.

Сейчас он спросит, кто был. Он же должен спросить, кто был, он многих знал.

Олег спросил:

— Поставить тебе чаю?

— Не вставай, я сама. Как твоё давление?

— Лучше.

Олег полностью погрузился в чтение — словно ничего интереснее ему в жизни не попадалось. Лера ушла в комнату к Мише. Разумеется, он забыл помыться на ночь. И свет не погасил.

Скрипнул диван. Олег пошел в ванную. Включил воду. Ничего, переживет, никаких оснований для ревности. Неужели он полагал, что возлюбленные, увидев друг друга, бросятся в объятия и поклянутся забыть об этих пятнадцати годах? А впрочем, чуть-чуть так не случилось. И черт его знает, что было бы, не реши оркестр отдохнуть. Где же то письмо? Она его не выкинула. Раз уж не разорвала сразу, то не выкинула. Не читала больше, не перечитывала, как сунула в потайную коробку из-под конфет, до которой Олег за столько лет не добрался, так оно там и лежит. Наверное, лежит.

Она вошла в большую комнату, вытащила с нижней полки стеллажа старые химические журналы. Вот и коробка. Целая пачка писем на целину, куда она уезжала на третьем курсе. Почему же она их не выкинула? Забыла?

То письмо лежало внизу. Она развернула его, потом отложила и взяла листок со стихотворением. Прочитала несколько строк и не ощутила никаких переживаний.

Просто плохое стихотворение. А ведь тогда она, трепеща, читала его Ларисе.

Вода в ванной перестала литься. Лера быстро сложила бумаги в коробку, сунула ее на полку, поставила журналы на место.

Утром она чуть не проспала. Она слышала сквозь сон, как Олег собирал Мишку в школу, как они искали какую-то тетрадку, разбили на кухне чашку — она ждала, что они уйдут и будет еще пятнадцать тихих минут. Но проспала больше, полчаса по крайней мере. И во сне успела поспорить с Иваном. Посмотри же, уверял он, это не Верина фотография. Это фотография Ирины, они совсем не похожи. Но на фотографии была, разумеется, Вера, только у Веры могли быть такие густые черные брови...

Лера вскочила. Половина девятого. В девять она должна быть в лаборатории, иначе Добряк вообще распушится — дурные примеры заразительны. Пробегая в ванную, она зажгла газ и поставила чайник. Что же неладно? Нет, не с Иваном. Иван пришел и ушел к себе, на тренерскую работу. Какие еще черные брови? Ах да, конечно, буква «з». Почему буква «з»? А вот почему: буква «з» была без верхней половинки, и она называла ее «о» маленькое. Во всех посланиях Ивана встречалось это «о» маленькое. Кроме последнего письма. Она бы не вспомнила об этом, если бы не вынула вчера из коробки старое стихотворение. Сначала письмо, а потом стихотворение.

Чайник выкипал. Она выключила газ, насыпала в кофейник кофе. Кофе кончается, тысячу раз просила Олега, чтобы купил, ведь ему два шага от работы, заварила. Потом метнулась к книжному стеллажу. Она пила кофе и разглядывала письмо и стихотворение. Положила рядом перед собой на столе. Они были напечатаны на разных машинках. Это не пришло в голову той, давешней девчонке. Да и не могло прийти — до сличений ли ей было?

Лера опоздала на работу на пятнадцать минут. Добряк как назло именно в тот день не опоздал и уже, видно, отрепетировал речь о том, как вредно начальнице ходить по ресторанам, но Лера предупредила его нападение.

— Все правильно, — сказала она. — Все совершенно

точно. Проницательный Добряк опять прав. Его начальница загуляла, вернулась домой под утро и страдает от похмелья.

— А выглядите вы нормально, словно выспались, — снисловительно Добряк.

Тамара спросила:

— Вам комплекс Гойи готовить? Любимов сказал, что у него новый вариант.

— Сбегай к нему, — сказала Лера. — А ты, Саня, включи анализатор.

— Как так включи? — удивился Саня, который не выносил дополнительной работы. — Пока я его настрою, пройдет по крайней мере полдня.

— А что случилось?

— У него один блок обязательно полетит. Чует мое сердце, полетит. Вы его встретили?

— Кого?

Это было сказано таким тоном, чтобы отвести подчиненных от нескромных вопросов. Отвести можно кого угодно, но не Добряка.

— Вашу школьную любовь.

— Встретила. Он растолстел, у него пятеро детей, и он завтра уезжает в Сенегал.

— С ума сойти, — сказал Саня. — В Сенегал! И почему я не полюбил вас в школе?

— Тебя бы все равно не взяли в Сенегал. Когда настроишь анализатор, скажешь. Я сама буду на нем работать.

— Секретное задание, — предположил Саня, но понял, что дальнейшие шутки опасны. И принялся за работу.

Лера дождалась, когда Саня ушел на обед, и сама выделила два комплекса, один — свой, другой — Ивана по его стихотворениям и жалобным письмам. Проверила. Комплекс, полученный от нескольких стихотворений, совпадал.

В лаборатории было тихо. Молекулярная собака тихо рычала, переваривая информацию. Каждый человек оставляет на себе следы. Самые простые — запах и отпечатки пальцев. Запах улавливает собака, отпечатки пальцев — следователь. А если нет отпечатков? Если нет запаха — выветрился? Тогда, считай, ты никогда не узнаешь, кто здесь был и что делал. Графологи могут

сличать почерки, стилисты — частотность союза «и»... На самом же деле каждый оставляет по себе долгую память. Вековую. Дотрагиваясь до бумаги, до холста, до драгоценного камня, он передает на их поверхность не только частицы пота, но и молекулы своей кожи. Кожа, которая непрерывно и незаметно стирается и нарастает вновь. И если предмет, до которого дотрагивался человек, не попадет потом в иные руки, на нем можно найти эти индивидуальные для каждого молекулы. И через год, и через десять лет. Для этого и сконструирована молекулярная собака, объект вожделения искусствоведов и криминалистов.

Молекулярная собака находит следы художника под слоем краски на холсте, обнюхивает архивные письма, адресаты которых неизвестны, оказывает услуги бравому милиционерскому майору...

До конца перерыва осталось минут пятнадцать. Сейчас прилетит Добряк и сунет свой нос в чужие тайны.

Лера заложила комплексы Ивана и свой в собаку. Ненужное занятие, пустые подозрения. Мало ли какой машинкой мог воспользоваться Иван!

Стихотворение. Доминирующий ее комплекс. Красная стрелка точно перекрыла зеленую. Можно свой комплекс снять. Что под ним? Комплекс Ивана. Разумеется. И больше ничей? Чисто. Все сходится.

Скорей бы приходил Добряк. Тогда придется выключить собаку. Она заложила в машину письмо. Вот пошел ее комплекс. Следы пальцев, державших письмо вчера и пятнадцать лет назад. Теперь остается проверить на комплекс Ивана.

Пусто. Никакой реакции. Стрелка на нуле. Может, ошибка? Машины тоже ошибаются. Куда запропастился Добряк? Нуль. Полная пустота. Иван никогда в жизни не прикасался к этому письму. Даже не прикасался. Не вкладывал лист в машинку, не вынимал оттуда, не складывал, не засовывал в конверт. Это сделал кто-то другой. И не было никакой Веры.

Ворвался сияющий Добряк:

— В буфете дают горбушу, и я взял для вас полкило. Неужели вы не тронуты моей заботой?

— Тронута, конечно, тронута, спасибо, Саня.

Что делают люди в романах, когда оказываются перед возможностью узнать всю правду и сделать выводы? В ящике стола лежит записка от Олега, он был тут несколько дней назад и не застал Леру...

Достаточно заложить ее в молекулярную собаку, и станет ясно, что Олег напечатал письмо от имени Ивана и оклеветал его. Но зачем это делать? Кому-нибудь станет от этого легче?

— Вам нужен анализатор? Или уже закончили? — спросил Добряк.

— Кончила. Выключай.

— Ну и что? Нашли, что искали?

— Нет, не нашла.

— Это хорошо или плохо?

— Не знаю.

— Что за письмо вы порвали в клочки? От поклонника?

— Нет, от кредитора.

— А вы обедать не будете?

— Нет, не хочется.

Лера взяла у Сани рыбу и положила в сумку. Молодец, Саня! Мишка и Олег обожают горбушу.

1977 г.

...ХОТЬ ПОТОП

Почему-то Суслин оказался на симпозиуме по молекулярным основам наследственности, хотя его никто не приглашал, да и не мог пригласить, так как Суслин наследственностью не занимался.

Симпозиум проходил в академическом пансионате под Москвой. Новый шестиэтажный корпус по пояс вылезал из соснового бора, плавно сбегающего к реке. Вечером теплые желтые окна казались окнами парохода, плывущего по синему сонному морю.

В тот февраль выпало много снега, и лыжники допоздна реяли вокруг дома-корабля, пронзая высвеченные на секунду круги света от высоких фонарей или квадраты окон, рядами лежащие на снегу.

Возрастом участников симпозиум был молод, и даже солидные корифеи старались соответствовать общему его духу — теряя равновесие, скатывались с исполосованного лыжнями склона на лед реки, лепили снежки из рассыпчатого снега, танцевали до утра в зале под крышей, у сдвинутых в сторону столов для пинг-понга, уступая солидный бильярд бородатым аспирантам, цепляли на лацканы самодельные круглые значки с изображением слона на велосипеде с надписью «Ну и что?».

Заседания шли в кинозале, где над экраном висел длинный плакат: «От ложного знания к истинному незнанию!» Во всем подчеркивался современный дух дозволенного академического скепсиса, интеллигентского подшучивания над слишком серьезными проблемами и яростной преданности еще не апробированным постулатам. Улыбайтесь, утверждал слон на велосипеде, если не хотите рехнуться, взвалив на плечи ответственность за потенциальное коварство геной инженерии.

Суслин выборочно ходил на заседания, вопросами

рвался к скандалам, но скандалов не получилось, потому что после первой же стычки с Траубе Суслину была отведена в этом улье сота залетного склочника, и даже дельные и колючие его реплики и вопросы принято было выслушивать с улыбочивой вежливостью и демонстративно игнорировать — не от излишнего снобизма, а от того, что они, очевидно, диктовались неумным желанием хватать клыками за штаны и беспрестанно напоминать человечеству о том, что острый и едкий ум Суслина не угас, а зубы еще крепки.

Когда Лера Данилевская из Института экспертизы, скорее милый и приятный гость, чем полноправный член этого сообщества, спросила Траубе, откуда этот Суслин, тот красиво пожал мускулистыми плечами, обтянутыми тесным свитером, и сказал:

— По-моему, он нигде сейчас не работает. Кто-то говорил мне, что он преподает биологию в техникуме. Что равнозначно пенсии.

Траубе говорил о Суслине со снисходительностью восходящей научной звезды, которая успевает сиять и в альпинистских лагерях, и на теннисном корте, не говоря уж о спонтанно родившемся комитете по организации гигантского пикника.

— Он избрал себе незавидную роль стареющего анфан террибль. Умудрился за двадцать лет поработать во всех мыслимых и немыслимых институтах и ни из одного не ушел без скандала.

— Он талантлив?

— Ах, Лерочка, и почему прекрасных дам так тянет к неудачникам?

— Значит, все-таки талантлив.

— Я не говорил обратного, — попытался ревниво насупиться Траубе, но в ревнивцы он не годился, не его роль. — Но если талант как-то связан со служением людям, то Суслин бездарен.

В этот момент Суслин брел неподалеку с видом опозоренной девушки, которая осмелилась явиться на бал и ловит обнаженной спиной злобный шепот светских кумушек.

Суслин был настолько непривлекателен, что Лера по-

думала — Гарик Траубе мог бы одарить его состраданием, но не насмешкой.

— Вы злой мальчик, — сказала она.

— Не злой. Но мое сердце свободно от российской бабьей жалости. Я убежден, что его привел сюда мазохизм. Он не может не быть гонимым — комплекс раннего христианина.

Суслин, словно услышав, обернулся и встретился глазами с Лерой. Лицо у него было правильное, с небольшим, прямым, острым к концу носом, маленькими светлыми глазами и узким лбом. Борода, покрывавшая щеки и неопытным клинышком тянувшая вниз подбородок, совпадала цветом с кожей, желтоватой, но не смуглой, темнеющей вокруг глаз, точь-в-точь в цвет бровей и упавшей на лоб пряди волос.

Ударившись о зрачки Леры, его глаза тут же метнулись вбок, к столу, уставленному стаканами с вечерним кефиром, и Суслин даже сделал танцевальное движение туловищем, словно собирался повернуть, но остановился, и Лера поняла, почему: верхняя губа под усами была подчеркнута голубой кефирной полоской — он вспомнил, что положенный ему кефир он уже принял.

— Так чем же он занимается? Как ученый?

Траубе протянул ей стакан с кефиром — путешествие к столу и обратно заняло мгновение. Кефир он тянул с удовольствием.

— Сахару жалеют, — сказал он. — Чем он занимается? Чайниковыми идеями. Как и положено. Ищет биоволны мозга. С таким же успехом мог изобретать вечный двигатель.

— Их нет?

— Вечное движение тоже существует. Но вряд ли удастся создать машину, которая могла бы использовать это движение для молки кофе. Давайте мне стакан, поставлю его на место. Вы после кино пойдете на реку? Говорят, здесь есть финские сани.

На следующий день Лера должна была уехать из пансионата. Она сдала ключ дежурной в гулком вестибюле. Пансионат казался покинутым и нежилым — выступал Лесин, все были в кинозале.

Дорога до шоссе была пробита в строю одинаковых,

поджарых, уверенных в себе сосен, сизые, почти весенние тени были нарисованы на снегу, под ногами уютно похрустывало — театральный пейзаж казался знакомым, виденным в детстве и добрым.

А на обочине серого, противоречащего снегу и соснам шоссе стояла прямая напряженная фигура Суслина с вызывающе поднятой рукой. К его ногам прижался толстый потертый портфель, вызвавший раздражение в аккуратном сердце Леры, потому что она представила себе, как в нем смяты, сжаты в тугой комок рубашка, зубная щетка, полотенце, журналы и, может, ночные туфли.

Суслин заметил Леру, только когда она подошла к нему и задала ненужный вопрос:

— Вы ловите машину?

— Да, ловлю, — ответил Суслин с вызовом, словно она застала его за недозволенным занятием, словно машины были дичью, сезон охоты на которую еще не открыт. — Уже пятнадцать минут.

— Ничего страшного, — сказала Лера, которой было неловко за то, что она мысленно обидела его потертый портфель. — Сейчас придет машина. Я вам это гарантирую. Я везучая.

— Везучая? — Он повторил это серьезно, так же, как вчера, впился на мгновение ей в глаза и отбросил взгляд в сторону.

Через минуту возле них затормозил пустой автобус.

Некоторое время они молчали. Сосновый лес кончился, по обе стороны потянулись белые пустые поля.

— Если не ошибаюсь, я вас видел на этом, простите за выражение, симпозиуме.

Своим тоном Суслин высказал все, что думал о симпозиуме, но с тоном спорить трудно, и Лера согласилась:

— Да.

— Надоело?

— Нет, мне пора возвращаться в Москву. На работу.

— А мне надоело.

Он будто ждал возражений, напрашивался на спор.

— Мне надоела болтовня, все эти разговоры обо всем и ни о чем, пустая трата времени.

— А почему вы сюда приезжали?

— Я?

Почему-то вопрос его озадачил. Словно такого подвоха он от собеседницы не ждал. Он молчал до самой станции. А на перроне, пока ждали электричку, отошел от Леры и долго, тщательно изучал расписание.

Вагон был почти пуст, пушистый покой плавно тек за окнами, Суслин поставил портфель на колени и удивил Леру, сказав:

— Вы, Данилевская, спросили меня, почему я тут оказался? А вы не знаете, что я редко пропускаю симпозиумы, банкеты, защиты, юбилеи и прочие торжества, на которых в центре внимания блистают мои удачливые сверстники?

Как же он мог узнать мою фамилию? Он должен был спросить ее еще вчера...

— Вашу фамилию я подслушал случайно. Вы думаете, я завистлив?

Ему бы пошли очки, подумала Лера. Они бы придали лицу значительность. Большие очки в тяжелой оправе.

— Нет, завидую не их земной славе. Я хочу встретить среди них человека, которому бы она досталась заслуженно, и примеряю ее по себе. Каждый раз примеряю. Тоскую, скучаю, все сборища, банкеты, юбилеи до безобразия одинаковы. Порой я ловлю на себе удивленный взгляд — что нужно этому несостоявшемуся таланту, этому неудачнику среди нас, правильных и обеспеченных наградами и признанием людей? А потом, бывает, взгляд теплеет. И знаете, почему? Потому что я удачно оттеняю своим невезением его правильность. А я смеюсь.

И он показал, как смеется. Хрипло и тонко.

— Вы, наверно, несправедливы к себе.

Что Траубе говорил о мазохизме Суслина?

— Ах, я все смеюсь, я все шучу, — сказал Суслин, оторвав тонкую руку от портфеля, и сделал ею этакое округлое движение, словно изображал какой-то водевильный персонаж. — Не принимайте меня, девушка, всерьез. Я приехал на этот достойный симпозиум в надежде, что узнаю для себя что-нибудь новое — надо быть в курсе движения науки вообще. Это отличает меня от ленивых духом и добродушных коллег. Но я быстро разочаровался...

Лера молчала, глубоко убежденная в том, что он будет

говорить дальше. Ему хотелось говорить, поработать плеткой над своей плотью на глазах окружающих. К тому же Лера уже привыкла к тому, что вызывает собеседников к откровенности. Порой она изнывала от набегов подруг или их мужей, от соседей и родственников, жаждущих выплакаться у нее на груди.

— Я вам не надоел? — спросил Суслин, рассчитывая на отрицательный ответ.

— А сами вы занимаетесь биоволнами мозга? — Лера попыталась перевести разговор в иную плоскость.

— Вам уже сообщили? И с соответствующими эпитемами?

— Я сама спросила.

— Спросили? Обо мне?

Суслин задумался. Будто искал оправдания ее странному поступку.

— Вы из газеты? — догадался он наконец.

— Нет, я же говорила, что работаю в Институте экспертизы.

— Да-да, слышал, у Митрофанова. Он меня звал, но я отказался. Свободное время мне нужнее. На этом этапе. В сущности, экспериментальный этап завершен, но теоретическое обоснование требует времени. Я чрезмерно интуитивен — решения приходят ко мне как озарения. А потом доказывай, что ты не фокусник. На моих идеях написано десятка два диссертаций и монографий, а я преподаю химию в пищевом техникуме. Я не веду себя как положено и не намерен быть как все.

На скамейке напротив уселась бабушка с сеткой, в которой поблескивала большая банка с маринованными огурцами. Бабушка обняла банку и смотрела на Суслина с осуждением, словно он был пьяным, склонным к буйству.

— Представьте себе, — продолжал Суслин, доверительно положив узкую потную ладонь на руку Лере, — что я, большой ученый, завтра умру. Что останется от меня на этом свете?

Вопрос требовал ответа.

— Ваша работа, — осторожно сказала Лера.

— Вы уверены, что она моя? Нет, милая, она не моя. Она того, кто первый успел наложить на нее лапу. Кто

первый убежал с тризны, унося в кармане ключ от сундука с драгоценностями. И все. Даже в «Вечерней Москве» не будет рамочки с мелким шрифтом «Пищевой техникум номер такой-то с прискорбием извещает»... Я же не доктор наук.

Электричка медленно ползла среди окраинных корпусов Москвы. На огороженной деревянными щитами площадке ребята играли в хоккей. Женщина с детской коляской остановилась на откосе над железнодорожной выемкой и внимательно вглядывалась в окна поезда, словно ждала кого-то. Лера почему-то подумала, что, если она завтра умрет, кто-то другой будет ехать в этой электричке, в этом вагоне, на этой скамейке и такие же ребята будут играть в хоккей...

— Я не совсем поняла вас...

— Сергей Семенович.

— ...Сергей Семенович. Вас и влечет к земной славе, но вы отвергаете ее. Может, опасаясь, что в ней вам откажут?

— Сегодня — да. Завтра, когда я буду готов к разговору с ними, они не посмеют мне отказать. Вопрос в том, захочу ли я принять что-нибудь из их рук.

«Они» стояли за каждой фразой Суслина, одинаково одетые, в одинаковых галстуках, поднимавшие тосты на одинаковых банкетах. Он вел с ними войну, о которой противная сторона, вернее всего, и не подозревала.

— Назовите мое мировоззрение мрачным. Я полагаю, что в основе его лежит трезвый расчет. Я не жду подарков, но и сам их никому делать не намерен. Они не имеют права воспользоваться тем, что мучило меня, рождалось в родовых схватках, но за что я не получил ни признания, ни благодарности.

— Какое отношение это имеет к науке?

— Не к науке. К личности. Вы знаете, в чем заключалась последняя просьба Левитана?

— Это художник такой, — неожиданно сообщила бабушка с огурцами.

Рельсы за окном уже размножились, заполнили пространство вплоть до стоявших в стороне пустых составов — поезд подходил к вокзалу.

— Левитан попросил брата сжечь все письма, полу-

ценные им. От женщин, от родных, от друзей, от Чехова, наконец. И брат на глазах умирающего выполнил его просьбу. Принято осуждать Левитана, биографы обижаются. А для меня он — пример.

Лера непроизвольно взглянула на бабушку. Но та только покачала головой и ничего не сказала. Тогда сказала Лера:

— Но Левитан не жег своих картин.

— Уже никто не мог на них покуситься. А вот на его личную жизнь набросились бы как гиены. Я понимаю Левитана, как самого себя. И уверяю вас, когда я умру непризнанным, а они прибегут за добычей, — добычи не будет. Ни листочка.

Лера поднялась. Поезд, дернувшись, замер у платформы.

Суслин шел по платформе рядом, молчал, как человек, наговоривший глупостей на вечеринке и теперь переживающий тяжелое и стыдное похмелье. Только на стоянке такси он вдруг потребовал, чтобы Лера дала ему свой телефон.

После этого Суслин раза два звонил ей, но умудрялся попасть в неподходящее время. Первый раз дома были гости и надо было их срочно кормить. Второй раз заболел гриппом Мишка. И все-таки Лера должна была себе признать, что она благодарна обстоятельствам, заставлявшим ее после первых же фраз вешать трубку.

Как-то, встретившись на улице с Гариком Траубе, в необязательном и коротком разговоре она почему-то спросила:

— А как там ваш Суслин поживает? Открыл свои биоволны?

— Если и открыл, то таит от окружающих, — сказал Траубе. Он нес в руке связанные шнурками австрийские горнолыжные ботинки. В первую же минуту успел сообщить профану Лере, сколько они стоят и как невероятно трудно их было достать. Суслин был для него ненужным отвлечением, а Лера — субъектом, которого можно было приобщить к поклонению ботинкам.

— Я сжала с Суслиным в Москву с симпозиума, он делился со мной своими черными мыслями.

— Нечем делиться, — сказал Траубе уверенно. Он

был так весел и доволен собой, что Лере стало вдруг стыдно, словно она легкомысленно выдала доверенную ей Суслиным тайну.

И еще пожалела, что не взяла у Суслина телефона, не сможет его найти, ведь у нее — тысячи приятелей и несколько друзей, у Траубе — полмира в приятелях, а Суслин приходит в свой пустой дом (почему-то она решила, что он живет один) к несуществующим биоволнам совсем один.

Весь вечер она вспоминала, какой номер у пищевого техникума, в котором он читает химию, и запоздало расстраивалась от того, что на вокзале села в такси, не пригласив его с собой, ведь, может, у него не было денег.

С утра, обзвонив все пищевые техникумы, она нашла нужный и узнала, что Суслин там больше не работает, два месяца как уволился. Лера дала себе слово, что обязательно разыщет Суслина через Академию наук, и это обещание успокоило ее. Благополучно занявшись делами, она на следующий же день забыла о его существовании.

Суслин сам позвонил через неделю. Разумеется, снова дома были гости, но Лера, облегченно обрадовавшись звонку, унесла телефон на кухню, сказала, что разыскивала его.

— Зачем звонили? — спросил Суслин настороженно, и за звуком голоса, вовсе не оттаявшим от ее признания, она сразу представила себе укол маленьких острых глаз и рыжеватую тусклую бородку.

— Вы куда-то исчезли, — сказала Лера. — А я вдруг испугалась.

— Чего?

— Я в самом деле рада, что вы позвонили мне.

— А когда вы обо мне подумали?

Этого человека не размягчишь нежностью.

— Неделю назад.

— Поздно, — сказал Суслин разочарованно. — Не сходится.

— Что не сходится?

— Неделю назад со мной ничего не случилось.

— А когда случилось?

— Больше месяца назад. Месяц и три дня.

— Так что же?

— У меня был инфаркт, — сказал Суслин. — Самый настоящий. Очень обширный. Я вас не обманываю.

— Какой ужас! Но теперь вы поправляетесь?

— Как видите. Мне уже можно вставать. Здесь, должен вам сказать, варварский метод обращения с сердечниками. Нас заставляют вставать и ходить чуть ли не на второй день после инфаркта. Очень велик риск повторного приступа. Вы меня понимаете?

И тут он недоволен, подумала Лера. И спросила:

— Вас можно навестить?

— Разумеется. Кстати, обязательно принесите мне двухкопеечных монет. Здесь автомат стоит на лестничной площадке и ни у кого нет двухкопеечных монет.

Когда Лера пришла в больницу, Суслин в синем тренировочном костюме сидел в холле четвертого этажа, смотрел телевизор, и на его физиономии было написано крайнее презрение к тому, что происходит на экране. На экране шел футбольный матч.

Борода у Суслина отросла и из клинышка превратилась в малярную кисть. В остальном он не изменился.

Они сели на диван у окна, Лера начала вытаскивать из сумки апельсины и парниковые огурцы, а Суслин после первых неуверенных попыток запихнуть ее дары обратно в сумку передумал, принял и отнес в палату, а когда вернулся, обнаружилось, что говорить им не о чем, словно оба выполнили ритуальное действие, после которого положено еще некоторое время пребывать в обществе друг друга, ожидая момента, когда можно откланяться и с облегчением расстаться.

Вместо повести о своей болезни Суслин вдруг сказал:

— Вы не представляете, как много для меня значит ваш визит.

— Ну что вы...

Лера осеклась, чтобы не сказать: «На моем месте так поступил бы каждый».

— Честное слово...

Лера вдруг поняла, что он близок к слезам, что у него дрожат губы и он замолчал потому, что боится, как бы голос его не выдал.

Лера сказала:

— Ну вот, совсем забыла. Я же вам последний номер «Иностранной литературы» принесла.

Она закопалась в сумке, чтобы не смотреть на него, но он уже овладел своим голосом и продолжал:

— Потом, потом. Я хотел вам сказать, что уже первая наша встреча произвела на меня большое впечатление. Это отношение искреннего участия, которое... Простите, я сегодня весь день репетировал эту речь и получалось очень складно.

Он робко улыбнулся, и Лера поняла, что не видела ни разу его улыбки, его лицо не было для этого приспособлено, и мышцы щек двигались неуверенно, словно он был актером, который так давно не играл роль, что теперь мучается, вспоминая.

— Мы говорили о том, что после меня ничего не должно остаться, помните?

— Да.

— А я ведь чуть не умер. И много размышлял потом. Вот это было главное, что он хотел ей сказать.

Лере хотелось бы найти какие-то правильные, точные, нужные ему сейчас слова. И от того, что она не знала, какие слова правильные, возникал страх все испортить, и она молчала.

— А ведь вы не все знаете, — сказал Суслин. Он снова улыбался, теперь куда уверенней. — И воспринимаете мою речь в плане абсолютной абстракции.

Лера послушно кивнула.

— Так знайте же — я не только нашел биоволны мозга, но и научился их улавливать. Уже есть приемник биоволн.

Биоволн не существует, уверял Траубе, который все знает. Это все равно, что построить вечный двигатель.

— Калерия Петровна, — продолжал Суслин, не смущаясь отсутствием энтузиазма, — вы мне не верите? Мне никто не верил, куда более знающие люди, чем вы. Я выйду отсюда и все вам покажу. Вы знаете, что я ушел из техникума, потому что пришло время для последнего наступления. Я почти написал статью, короткую, три страницы на машинке. Этого достаточно.

— И земная слава?

— Ах, как вы злопамятны! Черт с ней, с земной

славой! Хотя я от нее не намерен отказываться. Знаете, куда я пойду первым делом? К академику Чхеидзе. Три года он терпел мою лабораторию. А ведь я сам от него ушел. Озлился и ушел. Я приду к нему и скажу: по справедливости вы должны стать моим соавтором.

Гадкий утенок. И почему она никак не может разглядеть в нем лебедя?

— А ваш приемник? — спросила она. — Вы его покажете Чхеидзе?

— Я его покажу вам. Вы будете первая, кто его увидит в работе. И тогда вы мне поверите.

Когда Суслин провожал Леру к лестничной площадке, шагая с преувеличенной осторожностью сердечника, он остановился у телефона-автомата и строго спросил:

— Вы двухкопеечные монеты принесли? Мне их много надо. Штук пять.

Лера высыпала ему на ладонь кучку монеток, и он быстро сжал пальцы, словно поймал муху.

Лера попросилась с ним. Не выпуская монет, он протянул ей кулачок.

— Погодите, вы же главного не знаете, — сказал он вдруг. — Мой приемник работает. Всегда работает. И пока я был здесь, он тоже работал. Это очень смешно. И он настроен на биоволны моего мозга. Их можно определять, как отпечатки пальцев. Вы придете, когда меня будут выписывать?

— Обязательно.

— Это самое главное. Важно, чтобы я на обратном пути не попал под машину. Понимаете?

— Нет.

Суслин вдруг подмигнул ей.

— Неужели не поняли? Мой приемник соединен с металлическим ящиком, в котором хранятся все мои работы, все расчеты — все. Если мой мозг прекращает посылать биоволны, включается цепь, это элементарно, и в ящике все сгорает. Я бы умер, и не осталось бы ни строчки. А впрочем, никто бы не стал их искать. Только об этом никому ни слова. Я вам доверяю.

И он почти игриво погрозил ей пальцем.

Ну и дурак, бормотала про себя Лера, спускаясь по лестнице, ну и дурак. Господи, какой он весь изломанный!

— Девушка! — остановил ее гулкий бас.

— Вы меня?

Ее догонял объемистый врач с черным каракулем волос вокруг блестящей лысины.

— Это вы навещали Суслина?

— Да, — сказала Лера.

— Где же вы раньше были?

— Я только два дня назад узнала, что он здесь.

Лера чувствовала себя смертельно виноватой.

Врач схватил ее за руку.

— Поймите меня правильно, — ворковал он, не без удовольствия разминая в руках пальцы Леры. — Суслин — моя гордость. Восемь минут клинической смерти.

— А он мне ничего не сказал...

— Он и сам этого не знает. При его нервном состоянии, бесчисленных комплексах и маниях... я бы никогда не осмелился. Когда-нибудь потом, когда он будет вне опасности, мы порадуемся вместе. Восемь минут — и никаких последствий.

Этот разговор тут же вылетел из памяти. Впрочем, этому было вполне прозаическое объяснение. Лерин взгляд упал на настенные круглые часы. А часы показывали половину восьмого. Дома голодные Олег и Мишка, которые не представляют, куда девалась их жена и мать. А ведь она должна еще купить чего-нибудь на ужин.

Навестить Суслина Лера не собралась, но обещание встретить при выписке выполнила. Даже успела купить букет сирени, чем привела Суслина в полную растерянность, потому что он совершенно не представлял, что положено делать с букетом, некоторое время держал его как веник, словно намеревался подмести им вестибюль больницы, потом вернул его Лере и успокоился. Он был явно взволнован, и в этом не было ничего удивительного.

В такси он спросил:

— А вы знаете, не исключено, что я побывал на том свете.

Он уколол Леру настороженным взглядом.

Какая я дура! Гулкий бас доктора зазвучал в ушах. Ведь Суслин был восемь минут мертв. И если железный ящик не плод его тщеславного воображения — все споре-

ло! А сейчас он увидит, и в его состоянии... Ну что делать? Вести его обратно в больницу?

— Ничего страшного, — услышала Лера свой собственный жизнерадостный голос. — Вы же живы. Восстановить куда проще, чем изобретать вновь...

— Вы же ничего не понимаете!

У двери он сунул ей в руку ключ, сказав:

— Мне вредно волноваться.

Дверь отворилась. Не раздеваясь, он бросился в единственную комнату, помесь неустроенного холостяцкого логова и лаборатории, опрокинул стул, откинул локтями руки Леры, старавшейся его удержать или поддержать, и ринулся к приборам, громоздившимся на длинном, во всю стену, столе. Он долго возился с задвижками и запорами черного ящика, из которого, подобно разноцветным червякам, лезли во все стороны провода. Время ощутимо замедлило ход, и Лере казалось, что он уже никогда не сможет этот ящик открыть — и лучше бы, чтобы не смог, потому что она понимала, что, если Суслин — не сумасшедший, в ящике ничего нет.

Тонкие пальцы Суслина замерли над ящиком. Они дрожали. Суслин обернулся к Лере и сказал тихо:

— Может, вы, а?

И тут же поморщился, охваченный негодованием к собственной слабости, и рванул крышку.

Лере не было видно, что там, внутри. Она шагнула, чтобы заглянуть Суслину через плечо, но он уже запустил обе руки в ящик и, вытащив пригоршню черного пепла, с каким-то мрачным торжеством обернулся к ней.

— Ну вот, — сказал он, протягивая вперед руки и держа пепел бережно, словно птенца. — Вы же видите!

— Может, что-нибудь осталось? — сказала Лера.

— Осталось! Температура восемьсот градусов! Осталось... Ничего не осталось. И не могло остаться. Вы вот не знаете, а я почти восемь минут был на том свете. Меня реаниматоры зачем-то вытащили, до сих пор гордятся, а скрывают, берегут мои нервы. Мне санитарка рассказала. Что же, вы полагаете, восьми минут было мало, чтобы принять сигнал?

— Так вы знали?

Лера открыла сумочку. Куда же она сунула валидол? Ведь специально клала валидол...

— Иначе бы не просил вас со мной поехать. Обошелся бы. Знал и трясся.

— Успокойтесь, — сказала Лера. Вот он, этот проклятый валидол. Теперь надо заставить его принять таблетку. — Мы все восстановим.

— Восстановим, восстановим... Разве в этом суть? Чем, вы думаете, я занимался последние две недели в больнице?

Он метнулся к своей сумке, рванул «молнию» так, что она чуть не вылетела из швов, пепел кружил по всей комнате, словно после большого пожара. Лера сказала, протягивая ему таблетку:

— Вот валидол, обязательно надо...

— Спасибо, — сказал он, роясь в сумке, повернул к ней голову, приоткрыл рот, чтобы она положила туда таблетку. — Вот!

В его руке трепетала пачка исписанных листков.

— Разумеется, многое можно восстановить. И восстановлено.

— Вы не грызите таблетку, пускай лежит под языком.

— Не учите. Я же сердечник.

— Я буду вам помогать, если надо...

— Нет, она ни черта не поняла! — Суслин смотрел на Леру с искренним изумлением. — Ни черта!

— Успокойтесь, Сергей Семенович...

— Ведь установка сработала! Понимаете, сработала. Она приняла волны за пять километров! Вы представляете, какая физиономия будет у вашего любимого Траубе, когда он узнает, что я принимаю за пять километров!

1976 г.

ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ

«Суть установки заключается в возможности проследить возрастные изменения как в прошлое, так и в будущее. Допустим, перед нами фотография старика, снятая где-то в Сибири в восьмидесятих годах прошлого века. Есть предположение, что это фотография известного писателя, поздних портретов которого не сохранилось. Так вот, есть ли возможность убедиться в том, что перед нами именно этот писатель? Наша установка, проанализировав фотографию, синтезирует затем образ этого человека, каким он был двадцать лет назад. Затем нам достаточно сравнить его с известными портретами писателя, чтобы убедиться, не ошиблись ли мы в своих предположениях... Сложнее заглянуть в будущее. Казалось бы, принцип здесь тот же самый, однако если прошлое человека существует объективно, то будущее проблематично. Над решением этой задачи и работает сейчас наша лаборатория...»

— Нет, — сказала Лера и отложила перо. — Керам из меня не выйдет.

— Кто не выйдет? — спросил Саня Добряк, который, пользуясь затишьем, расчесывал свои буйные, до плеч, кудри, видно, стараясь достичь сходства с неизвестной Лере эстрадной звездой.

— Ке-рам.

— Естественно, — согласился Саня. — Керам — мужик, а вы, Калерия Петровна, прекрасная и еще сравнительно нестарая женщина.

— Спасибо. Ты хоть знаешь, кто такой Керам?

— Физик, — ни на секунду не усомнился Саня.

— Правильно. Популяризатор археологии. Тебе не попадалась книга «Боги, гробницы, ученые»? А жаль.

— Обязательно прочту, — сказал Саня и открыл свою большую записную книжку, в которую заносил телефоны знакомых девушек и мудрые мысли, которые ему довелось услышать. Какая-то часть этих мыслей была высказана Лерой. Саня Добряк полагал, что Лере лестно, когда ее слова фиксируют подчиненные.

— Ниночка, — попросила Лера лаборантку, — прочти галиматью, которую я написала. Меня просили сделать статью о нашей работе для журнала, а у меня буквально перо валится из рук от литературной бездарности.

— Кстати, Эйнштейн — слышали о таком? — сказал Саня Добряк, — не написал в жизни ни одного романа. И ничего. Прожил. А ведь даже Эйнштейн не смог бы вычислить из того лупоглазого младенца Льва Толстого, как мы с вами вчера сделали.

Ниночка читала недописанную статью, подчеркивая карандашом слабые места. Ниночка была отличницей во всем, этакая профессиональная отличница, и фамилия у нее была невероятная: Успевающая. Ниночка Успевающая.

— Если ты сегодня куда-нибудь спешишь, можешь идти, — сказала Лера Сане.

— Вас мучает совесть, что вы держали меня вчера до восьми вечера? Но я же не обижаюсь. Я согласен на жертвы. Ведь они ради Науки с большой буквы. Я правильно вас цитирую?

— Ты цитируешь не меня, а директора института и отлично знаешь об этом.

— Вообще-то правильно написано, — сказала Ниночка. — Но совершенно нет тайны. И нужны примеры.

— А что ты предлагаешь?

— Тут обязательно должна быть завязка. Допустим, к нам приносят миниатюру, и никто не знает, кто это такой. Только один старик коллекционер говорит, что это — Лев Толстой в детстве. Ну и так далее...

— Ясно, — сказала Лера. — Придется тебе, Ниночка, все это и написать, потому что я бездарна, а они уже взяли

с меня клятву, что статья будет сдана в четверг. Ты чего не уходишь, Саня? Обычно тебя не удержишь.

— Думаю, — сказал Добряк.

Ниночка фыркнула.

— Могу же я иногда думать?

— Нет, Калерия Петровна, мне не справиться, — сказала Ниночка. — Это ответственная работа. Одно дело — читать, а другое — рассказать, как мы это делаем.

— Ты мне в среду принесешь, что у тебя получится, мы вместе сядем и подумаем. Может, тебя шокирует, что ты, настоящий ученый, будешь печататься в популярном журнале?

— Если вы считаете нужным...

— Тогда иди.

Лера принялась за отчет и так увлеклась, что не заметила, как прошло полчаса. Саня все торчал в лаборатории.

— Никакого сравнения, — сказала Лера, закончив абзац. — Отчет писать легче.

— Практика, — ответил Саня.

— Так над чем ты изволишь мыслить?

— Калерия Петровна, поймите меня правильно, — сказал Саня. — Я не о себе пекусь, а о науке.

— Ты всегда печешься о науке. Даже когда уносишь пол-литра спирта на день рождения к двоюродному брату.

— Но это же было полгода назад! Нельзя быть такой злопамятной.

— Можно и нужно. Продолжай.

— Наверное, мы сами еще не знаем всех возможностей установки.

— Конечно, не знаем.

— Вот вы обратили внимание, что наши девчата меня держат за первого человека в институте?

— Я думала, что из-за твоих бесценных мужских качеств.

— Не только. Они догадались, чего вы не догадались.

— Открывай тайну.

— Они мне свои фотографии подсовывают. С тех пор

как установка пошла и вы доклад на ученом совете сделали, они только и подсовывают свои фотографии.

— Так почему же?

Лера уже догадалась, в чем дело, но лучше пускай Добряк расскажет об этом своими словами.

— Они хотят знать... — Добряк сделал драматическую паузу, и тут Лера не выдержала и разрушила все одним ударом:

— Какими они будут через десять лет.

— Нет, — сказал Добряк, — через пять. На десять у них смелости не хватает. Вдруг растолстеют?

— Ну и ты сдался?

— Ни в коем случае. Вернее, пока еще не сдался.

— Ясно, недостаточно соблазнили.

— Еще проще, Калерия Петровна. Ведь установку включишь, она столько энергии забирает, что весь институт об этом знает — заработала, голубушка. Без вас дежурный электрик примчится, а при вас — тем более нельзя.

— Так ты предлагаешь теперь, чтобы мы с тобой открыли совместное ателье по прогнозированию прелестей наших девушек?

— Нужны они мне! Я просто хотел проиллюстрировать, как моя идея развивалась.

— Тогда продолжай. Только кратко. Я еще отчет не дописала, а у меня дома мужчины нескормленные сидят.

— Ничего, им не впервой. Я подумал: а вдруг наша машина и другое сможет?

— Так не томи же!

— Человек жил-жил и умер. Допустим, от старости или от болезни. А мы не знаем, в каком году это случилось. А знать нужно. Допускаете такой вариант?

— Допускаю.

— Ну ладно, с Пушкиным может и не получиться, он нечаянно умер. А если кто своей смертью? Вдруг наша установка может это указать?

— Как ты себе это представляешь?

— Ведь не до бесконечности человек стареет. Покажем

его столетним, а потом она должна вам сказать: шабаш — дальше ничего не было. Не дура же она.

Есть у Сани Добряка хорошая черта — относиться к приборам и установкам, как к живым существам.

— А зачем? Показать, каким был бы Пушкин в восемьдесят лет? К науке это не имеет никакого отношения.

— А вдруг машина покажет Толстого в восемьдесят и ни шагу дальше, так как после восьмидесяти ему быть не положено?

— Слушай, Саня, отстань ты от меня. И поменьше читай фантастики. Богом тебя молю. Иди домой и дай мне дописать отчет. Этого за меня Ниночка не сделает.

— А может, попробуем разок?

— И не проси. Электричество денег стоит. Кроме того, я все материалы сегодня сдала в отдел к Любимову.

— И даже плохонького портретика нету?

— Нету.

— А если бы был?

— Нету же.

— А если я собой пожертвую? Это же пять минут машинного времени.

Добряк вытащил из бумажника свою фотографию. Уже сделана в размере 6х4 и отглянцована. Все как полагается. Только загоняй в машину.

— Когда успел, негодяй? — изумилась Лера.

— Я сегодня еще днем нашего фотографа упросил. Сказал, что надо для опытов.

— Ты всерьез собираешься свою смерть предсказать?

— А что? Не исключено, что я проживу сто лет, и даже интересно поглядеть, каков я буду в старости, окруженный внуками и правнуками.

— Истинный сумасшедший дом! — воскликнула Лера. — Мистика в моей лаборатории. Таких людей в нормальном научном учреждении держать нельзя.

— А кто знает? Вы здесь. Я здесь. Больше никого. Пять минут машинного времени. Вчера же я работал до восьми и хоть бы что!

— Нет.

— Даже самая дикая гипотеза имеет право на сущест-

вание. Можем ли мы... — дальше Саня уже читал по своей книжечке. — Можем ли мы предугадать возможности разбуженных нами сил природы? Любимов. Выступление на институтской конференции третьего октября прошлого года.

— Только пять минут, — засмеялась Лера. — И чтобы следующая смелая гипотеза появилась у тебя не раньше чем через год.

— Не обещаю.

И Саня принялся готовить установку к работе.

Минут через десять, когда Лера вновь углубилась в свой отчет и благополучно забыла о существовании Добряка, она услышала голос:

— А разве вам неинтересно поглядеть?

— Погоди. — Лера подошла к установке и проверила, все ли в порядке. Все было в порядке. Может, лучше, если Саня кипит, чем угасает от умственного безделья?

— Сколько мне лет? — спросил Добряк. И ответил себе: — Двадцать два.

— Я всегда удивляюсь тому, что ты такой старый, — сказала Лера. — Больше шестнадцати не дашь.

Установка зажужжала, разогреваясь, словно в комнате поселился супер-шмель.

Серьезная физиономия Сани смотрела с экрана на Леру. Каких трудов ему стоило не улыбаться перед камерой! Только мысль о надвигающемся открытии смогла заставить его убрать с лица вечную улыбку.

— А если получится, — сказал вдруг Саня, — это можно будет назвать эффектом Добряка?

— Эффектом Дурака, — проворчала Лера, понимая, впрочем, что создала не лучший каламбур. — Ты не боишься узнать, что умрешь через два года от хронической глупости?

Она уже жалела, что согласилась на эту великовозрастную шалость, словно, наслушавшись сказок про ведьм, пошла на кладбище поглядеть, как они летают на метлах.

— Я боюсь, честно скажу, боюсь. Но, что характерно, наука главнее.

Рядком загорелись зеленые огоньки. Можно начинать.

Саня медленно повел рычажок вправо, по оси времени. Его портрет расплылся по экрану, задрожал и исчез.

— Ну вот, — сказала Лера. — Сломал машину. Этого еще не хватало.

— Все в порядке. Работает. Только не хочет со мной дела иметь. Давайте еще раз пройдем, медленнее.

Портрет Сани вновь возник на экране.

— Медленно, — приговаривал он, — медленно. Еще медленней. — Портрет задрожал и исчез.

— И нет меня, — сказал Добряк растерянно. — Нет, как не было.

— Этого быть не может.

— Да? Сами попробуйте. Машина в порядке. Фотография в порядке, а меня нету.

Лера сама подошла к установке. Портрет все равно исчезал.

— Какое у нас минимальное деление? — подумала она вслух.

— Месяц, — сказал Добряк.

Она шевельнула рычажком чуть-чуть, на волосок. На месяц или меньше.

И портрет исчез.

— Ничего не понимаю, — сказала Лера. — Ну ладно, завтра разберемся.

— Но установка работает! — сказал Добряк жалобным голосом.

— Работает, работает. Но шалит. Не терпит над собой издевательства.

— Или другой вариант, — сказал Добряк.

— Какой?

— Что я прав.

— Ты хочешь сказать, что умрешь меньше чем через месяц?

— Да.

— А ну-ка, — сказала Лера, которой надоело шутить. — Прогуляйся назад.

— В прошлое?

— Конечно! И ты увидишь, что тебя не было месяц назад. А виноват во всем фотограф Валя.

Добряк с облегчением бросился к пульту. Этот вариант его устраивал.

Через несколько минут они уже лицезрели медленное превращение Добряка в юношу, подростка и мальчика. Прошлое установка показывала нормально.

Добряк, мрачный, как туча, не мешал Лере вырубить ток.

— Иди домой, — сказала Лера.

— Сейчас. — Добряк выдвинул верхний ящик своего стола. — Сколько всего неразобранного, лишнего. Никогда не успеваешь привести в порядок личные дела. Как говорит поэт Симонов: «Как будто есть последние дела...»

— Иди-иди, — сказала Лера, садясь за стол.

— Я все-таки попрощаться хотел, — сказал Саня. — Вы всегда были добры ко мне, Калерия Петровна. И если нам не удастся увидеться...

— Если ты сейчас не уйдешь, то в самом деле больше со мной не увидишься. Завтра же пишу заявление в отдел кадров, что больше с тобой работать невозможно. Пускай увольняют.

— Разумеется, — согласился Добряк. — Может быть, вы даже успеете все это сделать. И я умру безработным.

Лера с облегчением вздохнула, когда дверь за Добряком закрылась. Надо же быть таким суеверным. Типичная фетишизация техники. Машины загадочны, каждая — черный ящик. Вот мы и переносим на них человеческие качества.

На следующий день Добряк на работу не вышел.

— У него телефон есть? — спросила Лера Ниночку.

— Нет, — сказала та. — Он недавно в Чертаново переехал.

— Он с мамой живет?

— Да.

— Мог бы и позвонить, что не придет, мне он сегодня позарез нужен.

О портретной эпопее она начисто забыла.

Не пришел Добряк и на следующий день.

Под конец дня в лабораторию влетела какая-то пташка лет восемнадцати в белом халатике.

— Саня здесь? — спросила пташка.

— Его сегодня нет.

— Ах, как жалко! — Пташка совсем не оробела при виде Леры. Никто не робел при виде Леры. — А он мне так нужен.

— Мне тоже, — буркнула Лера.

— Я ему фотографию принесла, — сказала пташка. — Он обещал мне ее в машину запустить, чтобы показать, какой я буду в двадцать пять лет.

— Машина — не игрушка, — сказала Лера. Ничего лучше придумать не смогла.

— Ах, как жалко! — повторила пташка. — А я фотографию сделала шесть на четыре. Он так велел.

И тут Лере пришла в голову дикая мысль. Ведь могут же люди убедить себя черт знает в чем. Она где-то читала, что в Африке колдуны могут приговорить человека к смерти и тот вскорости помирает от страха. Разумеется, ничего подобного не может случиться в Москве в конце XX века...

Лера вскочила и схватила со стола сумочку.

— Ниночка, — сказала она, — я уйду пораньше.

— Вы же хотели со мной статью просмотреть.

— Завтра, Нина, завтра.

— Если кто будет звонить, что сказать?

— Скажи, что меня в президиум вызвали.

Лера могла бы спросить адрес Сани у Ниночки, но делать этого не стала — с чего бы вдруг ей бросаться домой к лаборанту? Можно же кого-нибудь послать, если так приспичило. Взяла адрес в отделе кадров.

Такси поймала почти сразу. Нет, все-таки идиот, полный идиот. А почему установка в полном порядке? Весь день сегодня гоняли — хоть бы что.

Дверь открыла маленькая заморенная женщина со строгими глазами и вьющимися, как у Сани, каштановыми волосами.

— Простите, здесь живет Александр Добряк?

— Что еще? — воскликнула женщина. — Что еще случилось?

— Ничего. — Лера старалась унять дрожь сердца. — Он дома?

— Сани нет.

Голос женщины был трагичен.

— Как так нет?..

Нужно было куда-нибудь сесть, не падать же в обморок на лестнице... Но женщина стояла, загораживая дверь, и не собиралась впускать Леру в квартиру.

Лера попыталась сглотнуть комок в горле.

— Как это случилось? — спросила она.

— Он позавчера пришел с работы... — начала женщина, и тут снизу послышалось сдавленное:

— Ах!

Лера быстро обернулась.

Саня, вернее, некто, одетый, как Саня, и ростом схожий с Саней, пытался, прикрывая руками лицо, извернуться и скрыться с глаз.

— Добряк! — воскликнула Лера. — Иди сюда.

Нет, это был не Добряк. Это было жалкое подобие Добряка. Потому что все краски тела, вся его мощь сконцентрировалась в малиновой, раздувшейся впятеро щеке. Глаз закрылся, рот был перекошен в односторонней ухмылке. Это был фантастический, невероятный флюс.

— Я от врача, — прошепелявил Саня. — Они его вырвали. Завтра пройдет. Честное слово, пройдет. Я думал, обойдется...

— Почему ты не попросил мать позвонить на работу?

— Я только что звонил. По дороге от врача позвонил. Ну буквально десять минут назад.

— А вчера?

— Вчера я думал...

— Добряк, — сказала Лера, — от флюса не умирают.

— Как сказать, — прошипел Саня. — В истории зафиксированы такие случаи.

— Ты думал, что обречен?

— Да. И не было смысла звонить на работу, чтобы приглашать друзей на предстоящие похороны... — Он постарался улыбнуться, но, видно, тут ему стало больно, и крупная слеза потекла по малиновой щеке. Женщина в дверях тоже заплакала.

— Постой-ка, — сказала тут Лера. — У тебя когда зуб заболел?

— Позавчера утром. Только не очень сильно.

— И ты фотографировался уже с флюсом?

— Ну, это был флюсенок, вы даже не заметили.

— Но ведь установка заметила! Представляешь, что ты наделал? Каково было ей высчитывать твое будущее, если она знала, что уже через день ты на человека не будешь похож. Это же наше счастье, что она от такого усилия не взорвалась.

— Правильно, — согласился Саня, пропуская Леру в прихожую. — Ведь таких людей не бывает.

1976 г.

ПИСЬМА РАЗНЫХ ЛЕТ

I

18 января 1988 г., Москва

Дорогой Виктор Сергеевич!

Я давно не писала Вам, не от лени, а потому, что было некогда. Мы все трудимся (меньше, чем хотелось бы) и суедемся (больше, чем хотелось бы). К тому же осень у меня получилась неудачная. Мама на два месяца слегла с воспалением легких, потом свалился сын с жестоким гриппом, лучшая подруга разводилась с мужем и вела со мной многочасовые беседы о том, что все мужики — сволочи (я это подозревала и раньше, но не могла сформулировать). Так что из лаборатории я неслась по магазинам и аптекам, затем принималась лечить моих больных. А когда всех утешить и освободиться, возникает ощущение, что в глаза тебе вставили спички — мечтаешь, как бы поспать хотя бы часов шесть. Но надо садиться за работу, в основном пустяковую — рецензию создать, прочесть чью-то диссертацию или готовить годовой отчет...

Меня заставил «взяться за перо» странный феномен, который я наблюдала в последние дни. И тут я жду Вашего просвещенного мнения.

Сначала я решила, что у меня начались галлюцинации... Нет, так Вы ничего не поймете. Следует изложить предысторию проблемы.

Три года назад мой муж был в Индии. Там он, движимый не столько прихотью, сколько желанием не отстать от товарищей, приобрел у охотников двух лемуров. Привез он их в черных мешочках в карманах плаща. Лемуры смирились с таким унижением и вели себя на таможенные смирно.

Поначалу эти зверьки меня умилили. Очевидно, при-рода специально сделала их такими, лишив прочих средств защиты от хищников. Я допускаю, что при виде тонкого лори (к этому виду относились наши жильцы) сжимается даже задубелое сердце тигра.

Представьте себе существо размером с белку, без хвоста, покрытое густой короткой серой шерстью, с тонкими, паучьими ручками и ножками (именно ручками и ножками, потому что у лориков совершенно человеческие пальцы с ноготками в квадратный миллиметр). Основное место на их курносых физиономиях занимают громадные карие глаза, полные такой укоризны и покорного страха, что гости, поглядев на наших пленников, тут же понимают, что только крайне жестокий, отвратительный человек может содержать этих крошек в неволе. Жалкие оправдания моего мужа, уверявшего, что купил он лориков у охотников, которые ловят их, чтобы снимать шкурки (так называемый мех «обезьян»), что мы их кормим, держим в тепле и так далее, только усугубляли неприязнь к нашему семейству.

В общежитии эти трогательные крошки совсем не так очаровательны. День они проводят в сладком сне, а с наступлением темноты выбираются из клетки и начинают бродить по дому либо повисают в фантастических позах на шторах или люстре. Ни в какие контакты с нами, их хозяевами, они вступать не желают. Никаких поглаживаний или прикосновений не выносят. Зубы у них острые, мелкие и многочисленные, к тому же на них всегда остается пища, и укусы лориков не заживают неделями. Не зря индусы в Майсоре считают их ядовитыми. Никакой благодарности к людям они не испытывают, никого не узнают — а стоило бы. Ведь все наше свободное время мы проводили на птичьем рынке или в кабинетах директоров зоомагазинов (с приношениями) — эти крошки питаются лишь живыми насекомыми, а попробуй обеспечить их живыми насекомыми в Москве в разгар зимы. Тараканы, правда, дома вывелись, но мучные черви расползлись по квартире, а в укромных уголках стрекотали разбежавшиеся сверчки. Притом лорики патологически трусливы, и даже я, отлично изучив их эгоистические характеры и спесь, происходящую от сознания того, что они — самые

древние млекопитающие Земли, зачастую терялась, встретившись с ними взглядом. Они делали вид, что знают: я их специально откармливаю, чтобы сожрать. Если не сегодня, то на той неделе. Наконец, последняя беда — мы даже не могли вечерами вместе куда-нибудь пойти. Кто-то должен был дежурить дома, чтобы проводить вечернюю кормежку, после которой они разбегались по комнатам, поливая полюбившиеся им предметы едкой мочой и посыпая пол козьими орешками. Сидишь, читаешь вечером, а краем глаза видишь, как беззвучно, тенью, скользит по полу паук, приподняв шерстяную попку. И сам на тебя косит глазом. Знает, ведь второй год вместе живем, что я не трону, но стоит пошевелить головой, как он замирает в диком ужасе, а затем, избрав оптимальный вариант спасения, несется за штору...

А в прошлом году мы не выдержали. После некоторых (до определенной степени лицемерных) переживаний мы согласились отдать их одной милой одинокой девушке лет пятидесяти, которая живет в отдельной квартире с кошкой, собакой и тремя своими лемурами. Причем живет она не в Москве, а в Киеве.

Сначала мы даже скучали по лорикам, и я как-то полгода назад согласилась на совершенно ненужную и муторную командировку в Киев для того, чтобы увидеться с лемурами. Один из них умер за это время. Второй меня не узнал, хотя опасливо принял из моих пальцев жирного мучного червя — скромный дар московских друзей.

Простите, Виктор Сергеевич, что забыла о краткости — сестре эпистолярного жанра, а написала эссе на тему «Содержание тонких лори в домашних условиях». Все. Перехожу к делу, то есть к галлюцинациям.

Несколько ночей назад я сидела на диване, читая слабую диссертацию и размышляя о том, как бы отказаться ее оппонировать, не обидев смертельно автора, и вдруг краем глаз, словно в добрые старые времена, увидела медленно бредущего через комнату лорика. Лорик заметил мой взгляд, замер, прижав к груди сложенную в кулачок ручку, сжался от ужаса. И исчез. Я протерла глаза, поняла, что заработалась, замоталась и еще немного — придется идти к психиатру. Я сижу на диване, а посреди комнаты (на этот раз я почему-то глядела именно

в ту точку) возникает лорик, априори перепуганный, и хлопает глазищами. Я вижу его совершенно явственно, до последней шерстинки. Расстояние от силы два метра. В ужасе, что его застучали, лорик пускает лужицу и растворяется в воздухе. Еще одна галлюцинация? Как бы не так! Лужица-то осталась. Клянусь всем святым, лужица осталась! Я ее вытерла тряпкой и только потом поняла, что это все сверхъестественно.

Вот тогда я и решила Вам написать. Вы всегда были терпимы к странностям человеческого существования и по крайней мере искали рациональное объяснение иррациональным явлениям. Вам кое-что удавалось.

Пожалуйста, дорогой Виктор Сергеевич, не оставьте меня своими молитвами, бросьте снисходительный профессорский взгляд на мою жалкую судьбу и подумайте, что бы это могло быть?

Кстати, я не удержалась, позвонила в Киев новой владелице лориков. Та мне с прискорбием сообщила, что наш последний лемур умер за неделю до описанных мною событий. То есть вернуться домой, подобно заблудившейся кошке, он не мог.

Остаюсь Ваша преданная ученица

Лера.

2

19 января 1988 г., Москва

Дорогая Римма!

Все собиралась тебе написать, но ужасно много работы. Наша зав. лабораторией, Калерия Петровна, я тебе о ней писала, совершенно посходила с ума. Нет, лучше работать под руководством мужчины, современные мужчины куда мягче и отзывчивей, а я к тому же умею с ними обращаться. Но в других отношениях наша Калерия не самый худший вариант. Несмотря на свой пожилой возраст и плохую прическу, она за собой следит и некоторым еще нравится. Но какой ужас дожить до тридцати с лишним лет и так ничего в жизни не увидеть! Ну ладно, хватит о работе. Ты меня спрашивала, как складываются

мои отношения с Саней Добряком. Отвечаю: сложно. И по моей вине. Я недостаточно к нему внимательна и даже позволяю насмехаться, чего он не выносит. Позавчера я разрешила ему пригласить меня в кино, а там встретился некий В. (так, случайность моей бурной молодости). Он со мной поздоровался, а у меня не было причины его игнорировать. Саня взбеленился и всю дорогу до дома дулся. Какая-то Достоевщина! Разве я виновата в моей внешней привлекательности? Чтобы его еще позлить, я не разрешила ему поцеловать меня на прощание. Теперь он со мной не разговаривает. Конечно, я могу вернуть наши отношения в норму одним взглядом, но не собираюсь этого делать. В принципе он должен помнить, что существует масса претендентов на мою душу. Ты меня понимаешь?

Как твои дела? Я вчера по телеку смотрела, что у вас жуткая погода, боюсь, как бы не случилось снова наводнения. Хотя это, наверное, очень интересно, когда наводнение? Мы бы с тобой гоняли на катере по улицам и спасали женщин и детей. У вас столько моряков, что я иногда тебе завидую, хотя у меня больше склонности к ученым. В них, даже в начинающих, как Саня, есть серьезность и внутренний ум.

Прости, что кончаю писать, — пришла Калерия, не выспалась, глаза опухли, наверное, опять ночью трудилась — нелегко женщине в науке! Она уже глядит на меня косо — чего я не работаю? Сейчас, моя дорогая начальница, сейчас...

Целую, напишу скоро продолжение, твоя верная подруга

Тамара.

3

24 января 1988 г., Ленинград

Дорогая Лера!

Порой мне трудно представить себе, как Вы там руководите лабораторией, пишете докторскую, делаете открытия... Вы для меня (стойкость стереотипов родительского восприятия) всегда девчушка, впервые накрашившая глаз-

ки и этим начавшая новую, студенческую жизнь. Вы сейчас возмутитесь и скажете, что и сегодня Вы нестары, по-прежнему красивы, вернее, куда как красивее — женщины Вашего типа расцветают к тридцати годам.

Письмо меня Ваше обрадовало и позабавило. Вы очень мило описали этих лемуру, я даже залез в Брема, но тот о них знал немного. Зато у Даррелла я нашел описание подобного зверюшки. Даррелл пишет, что тонкие лори в настоящее время очень редки и напоминают ему боксеров, потерпевших вчера сокрушительное поражение на ринге. Эффект этот достигается темным ободком шерсти вокруг глаз и общим скорбным выражением физиономии.

Знаете, Лерочка, я глубоко убежден в трезвости и устойчивости Вашей психики. Так что давайте отложим галлюцинации в сторону, тем более что Вы сами в это не верите, к тому же галлюцинации не дают луж на паркете.

Разумеется, можно придумать целый ряд внешне соблазнительных гипотез этого явления, в основном оптического характера, однако меня самого более иных гипотез греет собственная давнишняя мыслишка. Она почти вымерла во мне за неимением к ней подтверждающих фактов, но вот Вы написали — что-то щелкнуло в мозгу, и пошли крутиться колесики...

Когда-то, очень давно, я натолкнулся в записках одного натуралиста, работавшего с пресмыкающимися в Африке, на описание странного феномена. Ему приходилось наблюдать странное свойство одного из видов (весьма древних) эндемичной и крайне редкой ящерицы, объяснения которому не нашлось. В случае крайней опасности ящерица исчезает, практически растворяется в воздухе и возникает вновь через несколько секунд (или минут). Никто, разумеется, не обратил внимания на эту чушь, и прошла она незамеченной, а сам наблюдатель, по-моему, не настаивал на своем открытии. Да и книжку ту я давным-давно потерял при бесконечных переездах. Но тогда я задумался: что же случается с ящерицами при условии, если они в самом деле исчезают? Значит, они перемещаются. Куда? Давайте, сказал я себе, пофантазируем. Есть два пути перемещения — в пространстве и

во времени. И еще неизвестно, какой из путей более антинаучен. Ящерицы, помню, исчезали из клетки или террариума, то есть преодолевали неодолимую для них преграду, причем мгновенно. Возникали же вновь внутри этой клетки. И тоже мгновенно... Нигде в окрестностях клетки они не наблюдались. И знаете, Лерочка, мне тогда больше понравилась вот такая мысль: а что если эволюция когда-то, не подумавши толком, снабдила некоторых из беззащитных своих созданий таким механизмом спасения от опасности? Она ведь очень изобретательна, эта эволюция! Допустим, существует некоторая корреляция между уровнем нервного состояния особи — степенью опасности и физическим выражением этого эскапизма. В мгновение смертельной угрозы особь совершает мгновенный переход по оси времени, скажем, перемещается в будущее. Преследователь теряет жертву из виду, удаляется по своим делам, и тогда она благополучно возвращается на место. Невероятно? Да, я тоже так подумал. А подумавши, перешел к иным, куда более вероятным проблемам. Хотя и планировал потратить какое-то время на проверку своей сумасшедшей гипотезы. Я даже хотел поискать себе подопытных кроликов — каких-то существ, давно застывших в эволюции, — реликтов животного мира, притом не имеющих сильных челюстей... Кстати, лемур, точнее, тонкий лори — идеальный объект для таких опытов. Почему он не вымер, почему он не съеден поголовно за последние несколько миллионов лет? Бегать быстро он не умест, грызнуться толком не умеет, днем вообще плохо видит и полностью беззащитен... и так далее.

И вот, представьте себе, проходит много лет, и я получаю письмо от бывшей любимой ученицы, которая, оказывается, наблюдала явление, в чем-то схожее с тем, над которым я размышлял. Только на другом конце «телефонной линии». У Вас лемур, которого уже давно нет, возникает. Возникает реально. И исчезает. Соблазнительное подтверждение сумасшедшей гипотезы (за неимением иных подтверждений).

Передавайте привет Вашему уважаемому семейству. Надеюсь увидеть Вас в Питере на биофизической конфе-

ренции в марте. Найдется у Вас неделя? Тогда уж не забудьте, посетите мою берлогу.

Ваш В. Кострюков.

4

12 апреля 1988 г.

Римуля, здравствуй!

Ты, наверное, меня совсем забыла. И правильно сделала. Скоро уже «яблони в цвету», а я даже в парикмахерской не была месяц, не поверишь! Тут у меня день рождения был, двадцать лет, дата! А я вспомнила об этом только днем — мать звонит в лабораторию, какие, говорит, у тебя планы на вечер, гости к тебе придут или сама умотаешь? И меня тогда как веником по голове трахнуло! Ты знаешь, что мой Саня похудел на три кило? Такая жизнь, как говорят французы.

И все из-за нашей Калерии. Она действительно сошла с ума. Есть плановая тема, есть задачи, стоящие перед нашей наукой, а мы занимались чем? Мы искали по всей стране лемуров.

Ага, ты не знаешь, что такое лемур? Лемур — это очнь первобытный зверь, почти вымер, только в очень тропических странах он еще обитает. Похож на алкоголика и всегда спит, но вообще-то он лапочка. Мы раскопали даже двух, но кормить их я не буду — умру, но не буду — они червяков жрут. Живых! К нам Калерин учитель приезжал, такой толстый профессор Кострюков из Ленинграда, он, по-моему, в Калерию тайно влюблен, даже не приходит в лабораторию без цветов. Я сказала Сане — учти, говорю, если не воспользуешься опытом, уйдешь в отставку. Он мне вчера букет роз приволок, рублей на десять, даже страшно, как он теперь до полочки доживет, но я была искренне тронута его поступком, хоть и по подсказке. Я думаю, что в Сане есть ко мне настоящее чувство. А ты как думаешь? Кострюков где-то достал нам денег, на нас, по-моему, пятнадцать других институтов работают, телефон вообще оборвали, а от этих лемуров запах, я тебе скажу, не позавидуешь.

Хорошо еще, мне один поклонник (я тебе о нем не писала, потому что в моей жизни он всего-навсего «летучий голландец») в свое время подарил флакон французских духов «Клима» (знаешь, шестьдесят рублей за бутылочку!), и я себя поливаю изо всех сил. А Кострюков пришел как-то с одним химиком и говорит ему: «Это наш бездумный и прекрасный цветок по имени Тамара, она употребляет только духи фирмы «Клима». Представляешь, в таком возрасте, а по запаху духи определяет! На прошлой неделе они приволокли откуда-то дохлого лемура — Санечку посылали, беденького моего. Праздник был, словно это живой тигр. Сбежались тридцать докторов наук и все на него смотрели, а потом, как у нас в науке водится, изрезали его на кусочки.

Но ничего, научный прогресс — это движущая сила. И я не посторонний человек в науке. Найдем в лемуре фактор-т латинское и сделаем небольшой переворот в естествознании (и в физике, разумеется, как понимаешь). Я тебе напишу еще, когда будет время. Ты не собираешься в Москву? Я бы показала тебе Кострюкова. Он бы тебе понравился. Кстати, Саня меня к нему ревнует. Без всяких оснований.

Обнимаю, твоя верная подруга

Тамара.

5

23 января 1989 г., Москва

Дорогой Виктор Сергеевич!

Дела наши совсем плохи, дальше некуда. Боюсь, что мы проигрываем битву. Вчера Митрофанов вызвал меня к себе и осторожно намекнул на то, что нашу тему закрывают. Так что Вы мне нужны сейчас в качестве тяжелой артиллерии. Позвоните в президиум, а? Мне Иван Семенович сказал, что без Вашего личного разговора с Дитяиным вряд ли что удастся сделать.

Новостей мало. Я Вам писала о них на прошлой неделе. Тринадцатая серия с белыми мышами дала отличный нулевой результат, хотя Мямлик (помните, это тот

крупный серый лорик, которого мы получили из Праги), дал три исчезновения подряд. Ваш друг Саня Добряк остался позавчера на ночь в лаборатории, чтобы не упустить Мямлика, если тому захочется возвратиться обратно. Но, по-моему, заснул, в чем не желает признаться.

Ваша прекрасная Тamarочка принесла ему термос с кофе, который по рассеянности посолила. Даже любовь Сани к Тamarочке не смогла заставить нашего героя испытать этой живительной влаги.

Ну ладно, я отвлеклась, Виктор Сергеевич, помогите!

Ваша Лера.

6

6 июля 1989 г., Москва

Глубокоуважаемая Тамара!

Как там у тебя в Сухуми, загорела ли ты? Завидую тебе страшно. Розовая мечта — лечь с тобой рядом на пляже, слушать шум волн и смотреть в голубое небо. К сожалению, у меня отлично развито воображение, и я представляю себе, как ты уходишь вечером на эстрадный концерт с каким-нибудь мускулистым брюнетом. Ну ничего, я тоже не один остался в Москве на жаркий сезон. Мы с Калерией сидим в опустевшем институте и продолжаем трудиться за всех.

Ты спрашиваешь, как у нас дела? Особенно ничего. Фактор-т пока не срабатывает. Хотя, как говорит Калерия, есть обнадеживающие данные с ящерицами-гекконами. Может быть... может быть...

Но главное не в этом. Главное в том, что вчера я собственными глазами видел появление Мямлика. Калерия мне не поверила, а камеры я от удивления забыл включить. Знаешь, когда долго ждешь чего-то, уже сам в это не веришь. Значит, сидел я в лаборатории — Калерия куда-то умчалась — и думал, почистить ли мне клетку с лемурами или отрегулировать центрифугу — я же парень — золотые руки, не то что твой жгучий брюнет, который только и может, что доставать билеты на эстрадные концерты.

Смотрю на клетку и вижу: лемуrow не два, а три. Я даже вслух их пересчитал. Три. Шустрик на месте, Мямлик на месте, а кто еще? Еще один Мямлик! Клянусь тебе всем святым, клянусь моей к тебе любовью (в которую ты не поверишь, потому что не способна на высокие чувства), что в клетке было два Мямлика.

Это продолжалось больше минуты. Оба смотрели на меня обалделыми глазами и ждали, когда я подкину им внеплановых червячков. А потом Мямлик номер два исчез. А Калерия закатила мне истерику, что я не зафиксировал феномен.

Сегодня мы с ней почти не разговариваем. Я не терплю в ней этих наполеоновских замашек. Ну ладно, я ее скоро прощу. Я великодушный. Ей тоже нелегко — мыши в будущее не хотят, лемуры не фиксируются, директор интригует, и я не очень дисциплинированный.

Тома, не забудь выслать мне свою пляжную фотографию в полный рост, я повешу ее у вытяжного шкафа на место портрета Брижит Бардо. Брюнету скажи, что его ждет за настойчивость от твоего верного друга А. Добряка. Что-то мне без тебя скучновато.

Саша.

7

21 ноября 1989 г., Москва

Дорогой Виктор Сергеевич!

Спасибо за поздравления. Понимаю, что они носят скорее всего поощрительный характер. Но все равно приятно было их получить. Что касается меня (и, по-моему, не только меня, но и тех, кто со мной работает), то основным чувством была пустота. Словно бежали за поездом. Прибежали, сели в вагон... а дальше что? Конечно, Вы улыбнетесь сейчас и скажете: «Дальше что? Дальше работать». Знаю я, что Вы скажете. К тому же из двух наших последних достижений первое — в общем, не наша заслуга, а Прозорова. Состав фактора-т определил он. Мы были только на подхвате. А вот что касается путешествия в будущее безымянной белой мыши, кото-

рой, как Вы уверяете, кто-то когда-то поставит памятник, то Прозоров здесь почти ни при чем. И все было так, как Вы себе представили. Дело оказалось в точной дозировке и психологических стимуляторах (Ваша догадка). Мы ввели новую модификацию фактора-т всем двенадцати мышам, мы привлекли к работе нашего Ваську, которому уже давно надоело пугать этих ничтожных грызунов своим хищным видом, хотя делает он это неподражаемо... и, в общем, одна из двенадцати мышек исчезла. Спаслась от кота в будущее. Вот и все, можно ставить шампанское на стол, но не стоит продолжать — продолжение ведет к разочарованию. С тех пор мы повторили опыт уже шесть раз, условия соблюдались точно — а мыши не исчезали. Так нам и надо. Нельзя было шумно радоваться и считать себя Ньютонами. А то недолго получить яблоком по макушке. Кстати, у нас малая беда — Васька погнался за беззащитным Мямликом и успел его догнать. Помял Мямлика, а Мямлик в отчаянии кусал Ваську (но не исчез). Васька сидит с распухшей мордой и не работает, прекрасная Тамара жалеет Ваську, беспутный Саня жалеет Мямлика — и это привело к глубокой ссоре в лаборатории. Что ж, будем работать дальше. Приезжайте, мы без Вас соскучились.

Лера.

8

27 декабря 1989 г., Москва

Дорогая Римма!

У нас столько дел, столько дел, что просто оптимистическая трагедия! Я думала, что я всего этого не переживу, но удивительно — пережила. Мой Саня был на грани физического исчезновения. Это какой-то ужас, а не человек. Знаешь, я читала в одном стихотворении, что некоторые врачи прививали себе чуму с трагическим исходом. Вот такой тип, оказывается, меня окружает.

Мне все объяснить тебе трудно, потому что ты, прости меня, в науке профанка. Но ты, наверное, помнишь, что

мы выделяли фактор-т. Если этот фактор правильно употреблять, то можно отправляться в будущее. Правда, не наверняка. Лемуры это умеют делать сами, у них фактор-т в крови от рождения остался, а вот других существ приходится прививать фактором, а потом еще пугать как следует. Для мышей у нас был кот Вася, но теперь сбежал, потому что ему скучно стало мышей пугать, но не есть. Потому у нас обезьяны появились, мартышки. С ними тоже не наверняка выходило. В общем, как говорит наша Калерия, наука — это не место для слабонервных. И она смертельно права.

А третьего дня у нас произошло интересное событие. В общем, наш Санечка устроил горячий спор с Калерией по поводу перспектив. Ему, понимаешь, в науке и в любви все хочется сразу. Он стал уговаривать Калерию, что пора переходить к опытам с людьми, с добровольцами. Калерия сначала смеялась, потому что впереди еще годы и годы упорного труда, прежде чем можно к такому делу подступиться. Я тоже стала смеяться над Саней, и, наверно, этого не надо было делать. Он же такой самолюбивый. А потом мы все ушли домой, а он еще оставался в лаборатории и, оказывается, высчитывал дозу и, главное, искал себе эмоциональный фон (ты этого не понимаешь, а когда не понимаешь, пожалуйста, пропускай некоторые слова, мне некогда здесь тебе все объяснять). В общем, он умудрился истратить весь запас фактора-т-12. Двенадцать — это модификация фактора, не спрашивай, сама не все еще понимаю.

И вчера, часов в одиннадцать, когда в лаборатории было довольно много народа, Саня снова затеял спор с Калерией. Начал говорить, что науку нельзя двигать вперед на одной только осторожности. А Калерия ему отвечает: «А если ты попадешь в будущее на сто лет вперед, а этого дома уже нет — ты и разобьешься?» А Саня ей говорит: «Ничего подобного, потому что природа мудрая, и она отправляет лемуров недалеко вперед и даже в хорошие условия, когда хищников вокруг нет». Но тут кто-то из лаборанток сказал, что Саню ничем не испугаешь. Как его в будущее отправлять, если его ничем не запугаешь? Саня на это улыбнулся, как Джоконда, и говорит мне: «Возьми у Васи для меня коробочку». Я его

пожалела. Пошла к нашему слесарю, дяде Васе, спрашиваю, есть ли коробочка для Сани? А он смеется и передает мне коробочку и еще говорит: неси ее осторожно, мне за нее Саня пять рублей заплатил. И не подумай открывать. А я и не думала. Прибсжала обратно и говорю Сане: «Вот твоя коробочка». А Саня тогда говорит нам: «Внимание». Потом достает из своей спортивной сумки мотоциклетную каску. Представляешь, он все уже рассчитал, а мы и не подозревали. Достает и говорит: «Тамара, дорогая! (Вообще-то я этого обращения не терплю, но был какой-то торжественный момент, даже не передать словами.) Открой коробочку, которую тебе передал дядя Вася».

И я, как сомнамбула (это такое насскомое), подошла к нему поближе и почувствовала дрожанис в его теле.

«Открывай!» — закричал Саня. Я открыла, и из коробочки выскочили сразу три больших черных таракана. Я страшно возмутилась. Такую гадкую шутку совершить надо мной непростительно. Я бросила коробку на пол и сказала: «Я тебе этого никогда не прощу». Но никакого ответа! Сани в комнате нет! Все кричат: «Ах! Что случилось?» А Калерия говорит, довольно тихо: «Никогда не думала, что мужчина может так бояться тараканов, чтобы сбежать от них в будущее». Я ей отвечаю: «Не говорите так про Саню! Он это сделал ради науки». А Калерия отвечает: «Я и не хотела сказать плохо о Сане. Если он так боится тараканов, значит, он вдвойне мужественный человек, что пошел ради эксперимента на такую адскую муку. Он теперь мученик науки». Так и сказала: Саня — мученик науки.

И тут мы очистили место посреди лаборатории и стали ждать, когда Саня вернется. Я тихонько плакала, потому что боялась, что с ним что-нибудь случится, а потому он не вернется. Одна белая мышь у нас ушла в будущее и не вернулась. Но я не успела как следует наплакаться, а он уже вернулся. Но в странном виде. Он вернулся мрачный и даже не улыбался, когда его стали поздравлять. Калерия сказала, что выговор он себе обеспечил. Но я возмутилась, бросилась к Сане, стала его утешать, говорить, что он мученик науки. Но Саня не стал со мной даже разговаривать, только поглядел на меня печально, и я тут увидела, — о ужас! — ты представляешь, у него на щеке

страшная ссадина! «Ты ударился?» — испугалась я. «Нет, — отвечает Саня, поворачивается к Калерии и говорит: — Я готов понести заслуженное наказание». Калерия позвонила Прозорову, еще другие приехали, и теперь наш Саня сидит, обмотанный проводами, весь в датчиках, как космическая собака Лайка, его измеряют и исследуют. Все обошлось, только он не хочет рассказывать, что он там, в будущем, видел. И, самое ужасное, совершенно не хочет со мной разговаривать. Как будто он южноафриканский расист, а я угнетенная негрityнка. Конечно, если бы он не был таким героем, я бы никогда не стала из-за этого расстраиваться. У Сани совершенно страшная ссадина, и я трепещу, что он схватит заражение крови. Жди дальнейших писем. С наступающим Новым годом!

Твоя убитая обстоятельствами подруга
Тамара.

9

16 июля 1990 г., Москва

Дорогой мой Виктор Сергеевич!

Я бы не стала писать Вам — никаких экстраординарных событий в нашей науке не произошло. Мы гоним мартышек и мышей в будущее, но никак не можем (а когда сможем?) регулировать продолжительность путешествия, да и сам факт его. То ли будет, то ли нет. Журналистов держим на почтительном расстоянии... и надеемся.

Но у меня есть одна любопытная для Вас новость. Может быть, улыбнетесь.

Помните, полгода назад Саня Добряк совершил полезный для науки, но авантюристический поступок, который стоил мне массы нервов и объяснительных записок.

В путешествии Добряка было две тайны. Первая — сильная ссадина на щеке, о которой Добряк никому не сказал ни слова. Если он ударился о шкаф, причин скрывать это не было. Вторая тайна заключалась в резком изменении его отношения к Тамаре. Он буквально пере-

стал ее замечать, даже отворачивался, когда она робко приближалась к нему, протягивая кошачьи лапки. И это не было трезвым расчетом соблазнителя — Саня на расчеты не способен. Что касается Тамары, то она тут же смертельно влюбилась в Саню, и, чем холоднее он казался, тем горячее билось ее сердце.

Все эти тайны разрешились вчера.

Мы поздно засиделись в лаборатории. Шел дождь, было сумрачно, грустно, темнело. Я что-то считала на калькуляторе, Саня кормил наших зверей, прежде чем откатить клетку в виварий. Он никому не доверяет лему-ров. Вошла Тамара. Она бросила на меня мимолетный взгляд, но, по-моему, меня не заметила. Подошла к Сане твердой походкой человека, решившегося лететь в космос. «Саня, — сказала она. — мне нужно сказать тебе несколько слов». — «Я вас слушаю», — сказал Саня, глядя в клетку. «Саня, между нами возникла какая-то трагедия, — сказала Тамара. — Я прошу объяснения». — «Не получите, — сказал Саня. — Нам не о чем говорить». — «Ты меня больше не любишь?» — спросила Тамара. «Я хотел бы любить, — ответил Саня, — но не терплю соперников». — «У тебя нет соперников», — сказала Тамара и вдруг зарыдала. Девочка так долго готовилась к решающему разговору, что, видно, нервы у нее были на пределе. «Не верю», — сказал неприступный Саня. «Но кто он?» — спросила Тамара. «Не знаю, — сказал Саня, — но я его видел». — «Когда? — рыдала Тамара. — Если ты имеешь в виду того грузина в Сухуми, то это даже нельзя назвать чувством, а если это Иерихонский из управления кадров, то тебе просто насплетничали». — «Нет, — сказал Саня. — Это был кто-то другой. Я видел, как вы обнимались с ним, когда путешествовал в будущее». — «Ах! — воскликнула Тамара. — Значит, этого еще не было?» — «Неважно», — сказал Саня. «Но я клянусь тебе, что люблю только тебя! — сказала Тамара. — Я никому никогда не говорила таких немыслимых слов!» — «Какие у тебя доказательства?» — спросил холодный Саня. Мне даже стало жалко девочку. Она, наверное, в самом деле никому не признавалась в любви — просто не успевала, за нее это слишком быстро делали поклонники. «У меня есть доказательства! — воскликнула наша красавица. —

Я согласна завтра же пойти с тобой в загс. Ты хочешь на мне жениться, ну скажи, хочешь? Или посмеешь отказаться?» Последние слова Тамары прозвучали как трагический монолог, рассчитанный на то, чтобы его услышали на галерке. Я даже обернулась к ним, чтобы попросить снизить тон и не привлекать внимания случайных прохожих на улице. Но ничего не сказала, потому что вместо двух силуэтов увидела один — Тамара бросилась в объятия Сани, и тот не устоял перед такой фронтальной атакой.

И в тот же момент от двери раздался страшный вопль: «Не смей! Я ее люблю!» И еще один Саня Добряк бросился с кулаками на своего двойника.

И все встало на свои места. Надо же было Сане во время его путешествия в будущее наткнуться на самого себя, целующего Тамару, притом в полутемной лаборатории. Понятно дело — Тамару он узнал, он привык смотреть на нее со стороны. Себя он не узнал, потому что не привык смотреть на себя со стороны.

Видно, все это понял и Саня. Тот Саня, что целовался с Тамарой. Он отстранил свою возлюбленную и выставил вперед руку. Саня — путешественник во времени врезался скулой в кулак Сани — счастливого возлюбленного, схватился за щеку и исчез.

Саня ходит гоголем, улыбка не слезает с его физиономии, и всем, кто прослышал из уст Тамарочки о драке Сани с Саней, он говорит: «Ты бы видел, с каким наслаждением я врезал в глаз этому пошлому ревнивцу!»

Как бы Митрофанов не вызвал Саню к себе прочесть ему нотацию о недопустимости рукоприкладства в нашем передовом научном учреждении.

Вот и все.

Мы без Вас скучаем.

Хотите слетать в будущее?

Ваша Лера.

1977 г.

КОМУ ЭТО НУЖНО?

— И кому это нужно? — спросил вежливо Николай, держа в широких ладонях зажженную спичку, чтобы я могла прикурить.

С Волги тянуло свежестью, из-за леса выполз, в ожерельях огней, пароход. С него доносилась музыка, одинокая пара танцоров нежно покачивалась под тентом на корме.

— В первую очередь науке, — ответила я. Ответ был глуп, но лучшего я не придумала. Ничего не нужно просто науке. Наука — это один из способов нашего общения с миром, наравне с поэзией. Следовательно... Но эту мысль я развивать не стала. Николаю приятен был сам факт беседы со мной, ученой женщиной из Москвы. Из клуба шли соседи, только что кончилось кино. Проходя мимо нашей лавочки, они присматривались, некоторые здоровались с нами. Вот это было Николаю приятно.

— Науке, разумеется, нужно, — сказал Николай.

«Любопытно», — подумала я. Когда-то я прожила в этой деревне три года, ходила здесь в школу и была немного влюблена в Николая, он был старше меня лет на десять, уже вернулся из армии и работал шофером. Прошло двадцать лет, и я стала совсем взрослой, вернулась на неделю к себе в деревню, потому что некуда больше было сбежать из Москвы, и оказалось, что Николай куда моложе меня. И не только потому, что он почти не изменился, даже не женился. Главное — он с первых минут, как я вошла в дом к бабе Глаше, признал мое старшинство. А я приняла это признание как должное.

— И все-таки, — сказал Николай, стараясь говорить научно, — должны быть практические применения. Иначе вам денег платить не будут.

— Было практическое применение, — сказала я. — Будут и другие.

— Расскажи.

Я рассказала Николаю, кратко, не в силах передать неловкого ощущения провалившегося фокуса, о той сессии в Пушкинском музее. Зал был неполон, но это ничего не значило, потому что сливки пушкинского мира были налицо. Саня Добряк, мой ассистент, торжественно налаживал аппаратуру, а мне все казалось, что я одета неподходяще для такого торжественного случая. По физиономии Добряка я понимала, что волнуюсь, — он очень чуток к моим настроениям. Мне остро не хватало черного фрака с розой в петлице. Зрители глядели на меня доброжелательно, но с некоторой скукой во взорах. Если я по ходу речи вперяла в кого-нибудь из них свой взор, моя жертва покорно начинала кивать головой, демонстративно соглашаясь с каждым моим словом. Я постаралась обойтись без формул и технических подробностей, я просто объяснила, что почерк человека так же индивидуален, как отпечатки пальцев, что в работе графологов, хоть их и принято обвинять в шарлатанстве (не без оснований), есть зерно истины — почерк связан с характером человека, душевным состоянием, воспитанием и так далее. Я рассказала о том, как мы получили заказ от криминалистов — заказ на первый взгляд фантастический, но не настолько уж фантастический в самом деле. Смысл его заключался в том, что, если почерк и в самом деле совершенно индивидуален, нельзя ли отыскать соответствия между ним и, скажем, внешностью человека. Я призналась уважаемой аудитории, что на настоящем этапе этой цели нам добиться не удалось, хотя мы не теряем надежды. При этих словах я нечаянно кинула взгляд на Добряка и обнаружила, что мой молодой друг изобразил на лице полную уверенность в успехе наших трудов и старается, гипнотизируя зал, убедить в этом аудиторию.

Покончив с общей частью, я поведала пушкинистам суть наших достижений: нам удалось, худо-бедно, нащупать связь между почерком и голосом человека. Мы понимаем, что до окончательной победы еще далеко, но так как литературоведы, прознав о нашей работе, обратились

к нам с просьбой продемонстрировать ее, то вот мы явились к уважаемым специалистам, чтобы они проверили, убедились и так далее.

Когда я закончила, пушкинисты зашевелились, закашляли, а я, поддавшись тщеславию, предложила желающим выбрать любой из текстов, написанных рукой великого поэта, для демонстрации. Фотокопии текстов лежали на столе, мы старательно выбирали черновики без правки.

После минутной заминки из первого ряда поднялся старик вальжной внешности, наклонился над столом, вытащил из кипы один из текстов, и я поняла, что он робеет, как студент, достающий на экзамене билет. Старик пошевелил губами, читая текст, затем кивнул и сказал вслух:

— Подойдет.

Саня ловко соскочил со сцены, принял текст и передал мне. Он предоставлял мне честь самой нажать кнопку.

Я вложила листок в сканирующую рамку, настроила динамик, нажала нужные кнопки — сейчас у меня из рукава вылетит голубь.

Аппарат наш, далекий от совершенства, поднатужился и чуть хриплым, быстрым, высоким голосом, как-то равнодушно и неодушевленно, принялся читать стихи. Пушкинисты слушали внимательно, склонив головы в разные стороны, и, по-моему, всем своим видом старались убедить меня, что им уже приходилось слушать голос Пушкина, хотя могу поклясться, что среди них не было ни одного человека старше ста пятидесяти лет.

Закончив строфу, великий поэт вздохнул и замолк.

Пушкинисты переглянулись, размышляя, аплодировать или нет. Я понимала сложность их положения. Если им показали научный эксперимент, то хлопать не положено. Если же это был просто фокус, можно и ударить в ладоши.

В результате кто-то из них неуверенно хлопнул, затем другой, третий — и с облегчением зал наградил нас с Сашей жидкими аплодисментами.

Затем нас тепло поблагодарили, сообщили, что наше достижение открывает перспективы, и пожелали дальнейших успехов. Выполнив свой долг, пушкинисты разошлись по домам трактовать неопубликованные строки великого

поэта. А мы с Саней собрали аппаратуру и поехали обратно в лабораторию.

По дороге я произнесла небольшой монолог, призванный утешить Саню, а может, и меня саму. Я сказала, что специалисты, перед которыми мы сейчас выступали, привыкли считать себя монополистами в любой области знания, причастной к Пушкину. То, чего они не могут, они отвергают как ненужное. Голос Пушкина им не нужен. Они не могут извлечь из него пользу для пушкинистики...

Я была несправедлива к специалистам, но не могла справиться с обидой. Лучше бы они обошлись без аплодисментов, а задавали вопросы.

Вот все это я и рассказала Николаю.

— Ничего, Лера, — утешил он меня. — Скоро и лица научишься по руке угадывать. Тогда милиция тебе спасибо скажет. Только не ошибись, а то невинного привлечете.

— Спасибо, — сказала я. — Комаров сегодня много. Пошли домой.

Баба Глаша ждала нас пить чай. Мы больше не говорили о науке. Баба Глаша словоохотлива и не терпит конкуренции.

Через час Николай ушел к себе, а я легла спать за занавеску, привычно глядя на стенку, густо увешанную репродукциями из журналов и многочисленными семейными фотографиями, бурыми от старости, с лицами в основном неразборчивыми и одинаковыми — вот умрет баба Глаша, и никто уже не будет знать, кто эти люди, строго глядящие вперед. И они умрут как бы еще раз в людской памяти.

Правда, кое-кого из них я знала. Вот моя мама, двоюродная сестра бабы Глаши, она сидит на коленях у моей бабушки. Такая же фотография есть у меня в альбоме. А вот Антон — Глашин муж, он погиб на фронте. Он в разных видах: молодой, курчавый, голова к голове с бабой Глашей — это их свадебная фотография. Вот он, облысевший и худой, в военной форме начала войны. Последний снимок...

— Я свет тушу, — сказала баба Глаша. — Ты не возражаешь?

— Тушите, — сказала я. — Спокойной ночи.

Баба Глаша долго ворочалась, вздыхала.

— Не спится? — спросила я.

— Не спится, — призналась баба Глаша. — Мне много сна не надо. Если б не ты, я бы пошла немного.

— Мне свет не мешает, вы же знаете.

— Порядок нужен. Я вот сколько лет одна живу, а все не привыкну. При Антоне у нас порядок был. Ложились по часам, вставали тоже. Я по молодости ворчала, а теперь понимаю, прав он был.

— Приезжайте к нам в Москву, мы всегда рады будем. А то все обещаете, а никак не соберетесь.

— Как-нибудь соберусь. Сколько лет с места не трогалась. Чувство у меня есть, ты знаешь.

Я знала. Все у нас в семье знали, и в деревне все знали. Антон пропал без вести. Похоронки на него баба Глаша так и не получила. Вот и казалось ей, рассудку вопреки, что он, может, еще вернется. Она никуда из деревни не уезжала, даже дом никогда не запирала. И не уходила из дому, не оставив еды в печи и свежей заварки в чайнике — Антон был большим ценителем чая. И не поедет баба Глаша в Москву — никогда, до конца дней, не покинет своего поста... Потом я заснула.

Утром проснулась и первое, что увидела, открыв глаза, веселый взгляд курчавого Антона на свадебной фотографии. И его же, другой, усталый взгляд на фотографии военной. И подумала, что погиб он, когда был мне ровесником. И с тех пор прошло куда больше лет, чем он прожил.

Баба Глаша готовила, услышала, что я встаю, сразу начала собирать на стол. Я прошла в сени умыться. И оттуда, приоткрыв дверь, спросила:

— Баба Глаша, у тебя письма Антона сохранились?

— Какие письма?

— Ну, писал он тебе с фронта, например?

— Два письма были, И все, как отрезало.

— Достань.

— Зачем тебе?

— Нужно.

Мы сделали голос Антона. Голос оказался низким, строгим и очень усталым. Потом Саня Добряк записал его на пластинку — у бабы Глаши есть проигрыватель.

Через месяц я получила письмо от Николая. Я вынула его из ящика, спеша на работу, и прочла уже в лаборатории.

«Дорогая Калерия!

Кланяется тебе известный Николай Семенов. Все собирался тебе раньше написать, да дел много и писать было нечего. У нас все по-прежнему, только вот твоя пластинка произвела сильное впечатление. Глафира вторую неделю не просыхает, слезы льет, говорит, что ты ей жизнь вернула. Боюсь, заиграет она пластинку — готовь новую. Она теперь как алкоголик, может, и зря ты ей такой подарок сделала...»

Дочитать я не успела. Пришел вальяжный старик, в котором я узнала пушкиниста, выбравшего для прослушивания текст поэта. У пушкиниста была светлая идея, которая привела Добряка в восторг. Он принес с собой совершенно перечеркнутый черновик Пушкина, в котором вот уже сто лет специалисты стараются угадать две строчки. Пушкинист решил попробовать зачеркнутые строчки на нашей машине — а вдруг произнесет их вслух великий поэт и мы догадаемся.

Я не очень верила в успех, но спорить не стала. Саня Добряк принялся готовить аппаратуру, а я дочитала письмо.

«...Просила она тебе привет передать, обещает в Москву приехать, только, наверно, обманет. И вот ее точные слова: «Как по телефону, ну точно как по телефону». Это она про голос Антона. Помнишь, я тебе вопрос задавал — кому это нужно? Теперь получил я наглядный пример и беру свои слова обратно. Даже сам к тебе имею просьбу: сделай пластинку для меня. Маленькую. Записку к пластинке прилагаю. Записка эта пролежала у меня двадцать лет. Остаюсь.

С уважением, Николай».

Я развернула пожелтевшую записку, испещренную круглыми еще, детскими буквами. «Коля, — было написано там, — тебе кажется, что я еще слишком молодая, чтобы ты обращал на меня внимание. Это не так...»

— Калерия Петровна, — сказал пушкинист. — Вы только послушайте!

Только тогда я догадалась, что аппарат работает и

знакомый мне голос Пушкина то взмечтывается почти фальцетом, то пропадает, зачеркнутый в черновике.

— Только послушайте!

— Еще раз? — спросил Добряк.

— Разумеется. Хотя нет никакого сомнения, что вторая строка начинается со слов — «тихий гений». И спорить бессмысленно. Он же лично подтверждает!

А когда ошастливленный пушкинист ушел, я обратилась к гордому победой Добряку:

— Прокрути эту записку.

— Тоже Пушкин? — не глядя на записку, спросил Добряк.

— Нет, — сказала я.

Все еще переживая победу над спесивой пушкинисткой, Саня включил машину.

«Коля, — раздался детский голос, дрожащий от слез. — Тебе кажется, что я еще слишком молодая, чтобы ты обращал на меня внимание. Это не так...»

— Что еще такое! — воскликнул Добряк. — Что за детский сад? Что за любовный бред?

— Ладно, — засмеялась я. — Давай записку обратно. Но в будущем не советую оскорблять любимую начальницу. Учти, что она не всегда была взрослой.

— Чтобы вы? Так? Унижались перед женщиной?

Добряк был в гневе.

— Мне было пятнадцать лет, — сказала я виновато. — А он был настоящим шофером.

1979 г.



РАССКАЗЫ ИЗ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

В этот раздел включено несколько рассказов из тех, что написаны мной в стол. И даже не в надежде на то, что времена изменятся к лучшему и я увижу их напечатанными. Просто мне хотелось порой писать то, что нельзя было напечатать. Вот я и писал. Постепенно, за двадцать лет работы, у меня набралось несколько повестей и больше дюжины рассказов, две пьесы и так далее. Примерно половина этих опусов исчезла при переездах, уборках, а то и в ожидании обыска по «делу нумизматов», так как я имел неосторожность собирать ордена и медали, а в 1970 году прошла волна арестов и судов, нумизматика была запрещена как «приучающая к ретроспективному взгляду на историю» по выражению полярного героя и председателя Общества коллекционеров СССР товарища Кренкеля.

Когда времена изменялись и открывались возможности печатать что угодно, я отыскал сохранившиеся опусы и обнаружил, что в них нет ничего особо крамольного. Сегодня даже странно вспоминать, как я искал их у себя под столом, чтобы выбросить, если придут ко мне поискать чего-то неправильного в моей идеологии.

При подготовке настоящего собрания сочинений мы решили вначале с издателями составить особый том «подстольной прозы». Но когда я проглядел произведения для этого тома, то понял, насколько они не хотят существовать как единое целое. Среди рассказов было несколько историй о Великом Гусляре, пьесы, миниатюры, псевдонаучные статьи, две крупные повести... Так что в конце концов мы решили разбросать ненапечатанные произведения по тем томам, к которым они принадлежат хронологически и структурно.

Среди рассказов, которые вошли в этот раздел, один попал сюда в общем случайно. «Морские течения» был

написан мною до того, как родился Кир Булычев. Тогда я и не подозревал, что буду печатать рассказы и повести. Я был вполне удовлетворен работой в Институте востоковедения и журнале «Вокруг света». Недавно я наткнулся на этот рассказ и решил, что в нем нет ничего не позволяющего рассказу увидеть свет. По крайней мере я сам теперь знаю, когда и как был написан мой первый фантастический рассказ, отразивший действительный эпизод моей тогдашней жизни. Так что антураж у рассказа реален, придумано лишь содержимое бутылки.

Все остальные рассказы этого раздела были написаны не для печати, потому что их бы не напечатали, причем рассказы «О страхе» и «Цветы» относятся к семидесятым годам, а в остальных рассказах, родившихся в восьмидесятых годах, можно, пожалуй, уловить предчувствие близких перемен. О чем я тогда и не подозревал.

За последние пять лет все эти рассказы, за исключением «Морских течений», были опубликованы и не вызвали удивления читателей.

МОРСКИЕ ТЕЧЕНИЯ

С утра на город горохом сыпался ветер. Он скатывался с плоской горы, дергал за серые сентябрьские листья коренастые деревья на бульваре, крутил сор вокруг памятника на вокзальной площади и паровозом мчал по рельсам к тупикам, к матросской слободке. Там стояли приземистые, уверенные в себе дома, сушились на веревках, как белье, таранки и зеленели клочки виноградников, распрямившие спину, когда с них сняли гроздья мелких кислых ягод. До виноградников ветер не доставал. Ему мешали высокие заборы. Из-за этих же заборов на самом берегу было тише. Полоса песка и мелких ракушек была густо населена и обжита. Она была заштрихована черными лодками, измазана пятнами сухих водорослей и всякого домашнего сора. Дома задами выходили прямо на берег.

Между лодок семенили жирные белые утки. Они подбирали у воды дохлых бычков и прозрачные шарики медузинок. Дальше, направо, берег загибался и начиналась обтрепанная волнами набережная. Там был город. Сезон кончился, и город больше не прихорашивался и не улыбался северянам. На площади, у главного пляжа, проходили соревнования ДОСААФ на вождение автотранспорта, и на танцах били уже только своих. Ветер пахнул молодым вином. Он набирал этот аромат, пока крутил по городу — на горе никто не жил. Вино давили почти в каждом доме слободки. А прямо во дворы, к домам, подъезжали маневровые паровозы и дышали паром, разгоняя злых, сварливых собак.

Летом в слободку привезли из Москвы фестивальную столовую — громадный брезент, под которым умещались кухня, обнесенная по пояс барьером-прилавком, и несколько десятков голубых столиков. Теперь столовая

пустовала, только к часу в нее приходили ребята из слободской школы, которых кормили здесь завтраком, да мы — случайные люди, оказавшиеся здесь в такое неудачное время. Шофер Виктор, жена которого с сыном жила в детском санатории, две девушки из Горловки, которые хотели устроиться здесь на работу или выйти замуж, торговый ревизор Коля, усатый гуцул — инженер из Львова, добывавший кабели на заводе, Лева — человек, который знал много анекдотов и жил в Харькове. Возможно, у него дома были неприятности. Он уверял нас, что у него дома ремонт, а он не любит ремонтов.

Потом была Нина — врач из Москвы. У нее неудачно выпал отпуск на октябрь, и ей кто-то сказал, что здесь в октябре бархатный сезон.

И я. Я приехал из Африки и очень устал. Я знал, что здесь в это время не должно быть много народа. Я хотел, чтобы было тихо и был свежий, прохладный воздух. Больше, пожалуй, у меня требований к месту не было.

Мы все жили в одноэтажной, сшитой на живую нитку гостинице. Она называлась пансионом. Служащие ее — директор и уборщица Люба ходили умиротворенные и, казалось, не верили своему счастью. Все лето в гостиницу рвались отдыхающие, номера были переполнены. А теперь большая часть комнат была заперта, а еще через месяц гостиница закрывалась. В ней не было печей, и воздух уходил в щели плохо подогнанных в спешке одинарных рам.

Не знаю, почему я пишу обо всем этом. Я даже не собираюсь рассказывать больше ни о столовой, ни о гостинице, ни о людях, с которыми встретился здесь. Может, запомнилось все так четко потому, что там было хорошо.

Постоянный ветер и холодное солнце, черные лодки у моря, и запах вина, и случайность, непостоянство нашей жизни здесь, и обеды в неудобной столовой, и паровозы — все вызывало приятное, щемящее чувство ожидания чего-то, может, письма, может, встречи.

Мы сидели с врачом Ниной на самом конце причала, к которому пристают рыбацьи катера, и лениво разговаривали. Нина куталась в синий громоздкий плащ, одол-

женный инженером. Уже начинало темнеть. Мы ждали, когда инженер вернется с завода. Мы купили билеты в кино, а инженер запаздывал.

— Там, в Африке, море такое же? — спросила Нина.

— Такое же.

— И волны такие же?

— Нет. Волны больше. И нет бычков. И уток.

— Тебе надоело море?

— Там надоело. Вернее, не море, не океан, а воздух.

Очень устаешь от воздуха.

— Жарко?

— И мокро. Воздух мокрый. Даже ветер с океана. И вечером. И ночью.

— Ты там долго был?

— Три года.

— Посмотри, что плывет?

Среди мелких бестолковых волн прыгало темное пятнышко.

— Не знаю.

— Наверное, поплавок сорвало.

— У них здесь шары.

— Может, бутылка.

Это была бутылка.

— Ну, расскажи что-нибудь про Африку.

— Нечего рассказывать.

— Надоело?

— Нет, в самом деле нечего рассказывать. Там очень обыкновенно

— А там есть красивые девушки?

— Негритянки?

— Да.

— Вообще-то есть. Но не совсем то, что ты имеешь в виду.

— И ты там познакомился с ними?

— Да нет, особенно не знакомился.

Это была неправда. Я познакомился с Сузи. Сузи была чертежницей в строительном управлении, в новом секретариате. Я каждый день проходил мимо ее окна. А один раз мы встретились вечером в Стар-отеле. Она была там со знакомым. Но все танцевали «хай лайф» и я тоже танцевал, а когда ты танцуешь «хай лайф», то теряешь

через некоторое время партнера и просто идешь по кругу. Поэтому можно сказать, что я танцевал с Сузи. А потом она вышла на веранду, где пили пиво разморенные немецкие туристы. Она стояла у перил, и свет разноцветных лампочек, спрятанных в ветвях мангового дерева, сменялся на ее лице. И она спросила, есть ли у меня машина. Я сказал, что есть. Это была не моя машина, а корреспондента ТАСС, но я ему сказал, что возьму машину и он сказал, хорошо, потому что не собирался еще уезжать. Я спросил, как же ее знакомый. Сузи сказала, что он и не заметит, что она ушла и это меня не касается. И мы поехали к океану. Было уже поздно. И не так жарко. Мы шли по шиколотку в теплом песке, и по черному океану бежали белые полосы пены.

— Наверное, все-таки знакомился, — сказала Нина. — Я бы на твоём месте познакомилась.

— Тебе хочется, чтобы я возражал.

— Нет, с тобой нельзя пошутить. Может, пойдем, а то опоздаем. Мы оставим билет в гостинице.

Когда мы спустились с мостков, почти совсем стемнело, но я сразу увидел, что бутылку прибило к берегу.

— На что она тебе? — спросила Нина.

— Так просто.

— Тогда зачем подбирать? Ты что, думаешь, корабль терпит бедствие?

— Может быть.

— Она запечатана?

Нина заглянула мне через плечо.

— Смотри, — удивилась она, — в самом деле запечатана. Может, в ней есть записка?

— Нет, — сказал я, — нет никакой записки.

— Тогда брось ее. Она грязная!

Это была не та бутылка, которую я кинул полтора года назад в Гвинейский залив. Даже в темноте я не мог бы ошибиться. Та бутылка была из-под виски. Мы тогда развели костер на песке и случайно нашли кусок вара. И Сузи сказала, что можно отправить бутылку в путешествие и пусть она расскажет о нас кому-нибудь. Мы вылили в стакан остатки виски и написали записку. А потом заткнули бутылку пробкой и залили варом. Бутылка же, которую я поднял с морского песка, была темной и тяже-

лой, будто из-под шампанского. Горлышко обито сургучом и обросло зеленой шерстью — бутылка давно плавала по волнам.

— Сколько времени? — спросила Нина, которая потеряла интерес к бутылке.

— Ты иди вперед, — сказал я. — Я тебя догоню.

Нина словно ждала такого предложения. Она неуклюже побежала вверх по сыпучему песку.

В бутылке что-то было, но не разглядишь в сумерках. Следом за Ниной я поднялся к домам и дошел до первого фонаря. Я не знаю, почему я сказал, что там нет записки. Будто заранее знал, что Нине не надо этого знать.

Я поднял бутылку к свету. Ничего не видно. Я поскреб по стеклу обломком раковины, удаляя мох водорослей.

Что-то маленькое, как мышь, шевельнулось в бутылке.

Я не испугался. Я был к этому внутренне готов.

Потом некто, заточенный в бутылку, зажег фонарик и стал им размахивать, торопя меня.

И тогда я увидел, как свет фонарика отражается в его красных глазках.

Даже в маленьком, пугала в нем шустрость, энергия, не утихшая за две тысячи лет, и махонькая пока злоба в глазках.

Да, подумал я, открою я бутылку, освобожу тебя. И стану всесильным. И стану твоим господином и рабом. И кончится этот негромкий и простой мир приморского городка. И я неизбежно превращусь в игрушку в руках сильных мира сего, которые будут бороться за право владеть джинном и губить людей. Либо стану губить их сам. И милую педантичную Нину, и инженера из Львова...

Я знал, что в конце улицы есть глубокий колодец.

Джинн раскачивал бутылку и звонко бился внутри. Он догадался, что я его не освобожу. Мне даже казалось, что его комариный голос проникает сквозь толстое стекло.

За пятьдесят шагов до колодца мне многократно пришлось одолеть соблазн величия. К счастью, я маленький человек, и я более боялся, чем желал этого величия.

Я кинул бутылку в колодец, не заглядывая больше в нее.

Из колодца блеснуло зеленым светом. Громко плеснула вода.

Стало тихо и спокойно.

Нина с инженером ждали меня у кинотеатра. В пустом зале, пока не потушили свет, Нина рассказала инженеру, что мы нашли бутылку, в которой была записка.

— Ну подтверди, подтверди! — требовала она.

— Была записка. — сказал я.

— И где же она? — спросил инженер.

— Я ее съел.

Мы все засмеялись, и тут начался журнал «Новости дня».

1965 г.

О СТРАХЕ

Перед Курским вокзалом с лотка продавали горячие пирожки с мясом. Мягкие и жирные. По десять копеек. Раньше их продавали везде, но, видно, с увеличением дефицита мясных продуктов, при косной политике цен, когда нельзя волюнтаристски увеличить цену на пирожок вдвое, столовые предпочитают сократить производство пирожков.

Я смотрел на короткую очередь к лотку и представлял, как эти пирожки медленно вращаются, плавают в кипящем масле, и мне хотелось пирожка до боли под ложечкой. И я был горд собой, когда сдержался и вошел в стеклянную дверь, отогнав соблазнительное видение. Мне категорически нельзя есть жирное тесто. Еще пять лет назад у меня был животик, а теперь некоторые называют мой животик брюхом. Я слышал, как моя бывшая возлюбленная Ляля Ермошина говорила об этом подруге в коридоре. Они курили и не заметили, что я подошел совсем близко. А когда увидели меня, то засмеялись. Как будто были внутренне рады, что я случайно подслушал их слова.

Сентябрь. Вокзал переполнен народом. Такое впечатление, что вся страна сорвалась с мест, с детьми, бабками, тюками, чемоданами, ящиками... Бесконечные ряды сидений на втором этаже были вплотную заполнены людьми. Если кто засыпал, то склонял голову на плечо соседу. Не больше. Некоторые транзитники проводят на вокзале по нескольку дней, отстаивая безнадежно длинные очереди к кассам, толпясь в переполненном буфете, торча часами у киосков «Союзпечати», и, если билет наконец добыт, но до отхода поезда остались еще часы, а то и дни, бросаются на милость экскурсоводов и отправляются в автобусах поглядеть на Москву при электрическом освещении. Даже громадный, высокий новый зал вокзала не может рассеять

российский железнодорожный запах, который, как мне кажется, живет в полосе отчуждения с середины прошлого века, так как в нем смешиваются не только ароматы современные — дух электрических искр и разогретой пластмассы, но и такие давно умершие в иных местах запахи, как вонь онуч, скисшего молока, избы, которую топят по-черному. И все это смешивается с извечными признаками дороги — смесью воздуха из плохо промытых, пропитанных хлоркой уборных, бурого угля и просмоленных шпал. Никуда нам не деться от этой симфонии запахов. Я подозреваю, что даже на космодромах, когда космические путешествия станут обычным делом, возникнет и приживется этот обонятельный комплекс.

Внизу, где потолок нависает над подземным залом, где покорные хвосты пассажиров маются у камер хранения, за рядом столов, где молодые люди с острыми глазками торгуют старыми журналами и книжками, что никто не покупает за пределами вокзала, на стене висели телефоны-автоматы. Перед каждым по три-четыре человека, внимательно слушающих, что может сообщить родным или знакомым тот, кто уже дождался своей очереди. Я был четвертым к крайнему автомату.

Я полез в карман и, конечно же, обнаружил, что двухкопеечной монеты нет. Даже гривенника нет. Я достал три копейки и голосом человека, который умеет просить (а я не выношу просить), обратился к человеку, стоящему передо мной.

— Простите, — сказал я. — Вы мне не разменяете три копейки?

Человек, видно, глубоко задумался. Он вздрогнул, будто не мог сообразить, что мне от него надо. Он обернулся, сделав одновременно быстрый шаг назад. Я впервые увидел его глаза. Сначала глаза. Глаза были очень светлые с черным провалом в центре зрачка и черной же каемкой вокруг. Они мгновенно обшарили мое лицо, а я в эти секунды смог разглядеть человека получше. Лицо его было таким узким и длинным, словно в младенчестве его держали между двух досок. Мне в голову сразу пришла дурацкая аналогия с ногами знатных китайцев, которые туго пеленали, чтобы ступни были миниатюрными. Нос этого человека от такого сплющивания выдался далеко

вперед, но еще больше вылезли верхние зубы. Я бы сказал, что лицо производило неприятное впечатление. На человеке был старомодный плащ, застегнутый на все пуговицы.

— Какие три копейки? — спросил он, словно я потребовал от него кошелек.

— Ну вот... — Я чувствовал себя неловко, но отступить было поздно. — Видите? — Я показал ему трехкопеечную монету. — Мне надо разменять. А как назло срочный звонок. Понимаете? Может, по копейке?

— Нет, — быстро ответил человек. — Я сам достал. С трудом.

— Не беспокойтесь. — Мне хотелось как-то утешить человека, который явно находился под гнетом страха. — Я найду. Извините. Только, если кто-то подойдет, скажите, что я за вами.

Человек быстро кивнул.

Я пошел по залу к столам с журналами, и мне казалось, что он смотрит мне вслед.

Молодые люди, которые торговали журналами, разменять монету не смогли. Или не хотели. Им надоело, что в течение дня сотни людей подходят к ним с подобной же просьбой. Наверное, если бы я купил прошлогодний номер «Науки и жизни», они отыскали бы две копейки. Но тратить рубль только из-за того, чтобы эти бесчестные люди снабдили меня монетой, я не мог.

После неудачной попытки у аптечного киоска я остановился и еще раз обшарил свои карманы. Оттуда мне был виден испуганный узколицый человек. Как раз подходила его очередь.

Вдруг я нашел монетку. В верхнем кармане пиджака. Как она могла туда попасть, ума не приложу.

Я вернулся к автоматам. За узколицым человеком стояла девушка с сумкой через плечо.

— Я здесь стоял, — сообщил я ей.

— А мне никто не сказал, — заявила девушка агрессивно.

Меня смущает агрессивность в нашей молодежи. Как будто эти хорошо одетые, сытые подростки заранее готовы огрызнуться и даже ждут предложения, чтобы тебя укусить.

— Подтвердите, товарищ, — сказал я узколицему человеку, который уже взялся за телефонную трубку.

— Да, — сказал тот, — это так. Гражданин занимал очередь. Я подтверждаю.

Девушка отвернулась, ничего не ответив. Могла бы и попросить прощения за грубость тона. Хотя, впрочем, она же этого тона не ощущала.

Узколицый человек позвонил в справочную. Я не мог не слышать, о чем он говорит. Но я стоял слишком близко к нему, опасаясь, что по окончании его разговора нахальная девушка может оттеснить меня.

— Девушка, — сказал узколицый человек, дождавшись ответа, — я хотел бы выяснить у вас телефон одного лица... Да, эти данные мне известны. Мик Анатолий Евгеньевич. Год рождения тысяча девятьсот первый... Нет, адреса не знаю. Но ведь фамилия редкая!..

Он ждал, пока девушка найдет нужную строчку в своей справочной книге, прикрывая ладонью трубку. Даже в полутьме этого угла зала мне было видно, что ногти у него грязные.

— Не значитсЯ? Ну конечно, он мог уехать... Ну конечно, он мог умереть... давно, еще до войны. Нет, не вешайте трубку! Пожалуйста, проверьте тогда: Мик Иосиф Анатольевич или Мик Наталья Анатольевна. Год рождения? Соответственно тридцать первый и тридцать третий. Я подожду.

Девушка перешла к другому автомату, где уже кончали говорить.

Узколицый человек снова зажал трубку ладонью и поглядел на меня загнуто и виновато.

— Сейчас, — сказал он. — Она скоро.

Я постарался вежливо улыбнуться. Ситуация выглядела банально. Человек приехал в Москву. Вернее всего, его поезд уходит завтра, в гостиницу он не устроился, ночевать на вокзале не хочет. Вот и принялся искать давно забытых родственников.

— Нет? — услышал я голос узколицего. — Вы уверены? Вы хорошо посмотрели?.. Да-да, простите за беспокойство.

Он повесил трубку.

— Я так и думал, — сказал он мне.

— Ну ничего, — ответил я. — Они в самом деле могли уехать.

— Куда? — спросил он, как будто я должен был дать ему ответ.

— Столько лет прошло, — сказал я.

— Вы откуда знаете? — Глаза его сразу стали почти белыми от вспыхнувшего недоверия ко мне.

— Я ничего не знаю, — ответил я мирно. Я вообще мирный человек. Я согласен с теми, кто утверждает, что толстые люди более добры и великодушны, чем худые. Хотя, конечно, не мешало бы и похудеть.

— Я был вынужден слышать ваш разговор. И вы сами сказали, что видели своих родственников еще до войны. Маленьким мальчиком.

— Кто мальчик?

— Простите, — сказал я, чувствуя, что есть опасность снова потерять очередь — высокий мужчина в японской голубой куртке стал проталкиваться к телефону, и я, чтобы не упустить очередь, схватил трубку.

Далеко этот человек не ушел.

Я увидел его через пять минут в очереди за мороженым.

Я завистлив. Увидев, как он стоит за мороженым, я сразу захотел мороженого. Отказав себе в пирожках, я тем самым совершил определенное насилие над собственным организмом. Мороженое было паллиативом. Я мог себе его позволить после того, как не позволил пирожка. И тогда я пошел на маленькую хитрость. Я прямо направился к узколицему человеку и протянул ему двадцать копеек.

— Возьмите мне тоже, — сказал я, улыбаясь, словно мы были хорошо и давно знакомы.

— Что? — Он растерялся от такой наглости с моей стороны, но отказать не смог. К счастью, в очереди, которая выстроилась сзади, никто не заметил его мгновенного колебания.

Человек держал мои двадцать копеек осторожно, двумя пальцами, словно это были заразные деньги. В другой руке у него была десятка. Он взял четыре порции мороженого, а потом протянул продавщице мои двадцать копеек и сказал:

— И еще одну.

Братъ он мое мороженое не стал, предоставив это мне, а сам свободной рукой принял стопку мятых бумажек и монеток и не глядя сунул в карман плаща.

— Спасибо, — сказал я, ожидая, пока он управится с деньгами. — Помочь вам?

— В чем?

— Давайте я подержу мороженое.

Слова мои звучали глупо. Любой человек может удерживать в руке четыре пачки мороженого.

Мне следовало как-то уладить этот конфузливый момент, чтобы человек не подумал, что я к нему пристаю, что мне от него что-то нужно.

— Поймите меня правильно, — сказал я и почувствовал, что краснею. — Но вы оказали мне любезность и мне хотелось бы отплатить вам тем же. Если вам мое вмешательство неприятно, то простите ради бога, и я уйду.

Он ничего не отвечал и пошел медленно прочь. Я шел рядом и не мог остановиться.

— Получилось так, — продолжал я, — что мне пришлось застрять на вокзале. Я здесь уже второй день. Я страшно истосковался по нормальному человеческому общению. Мой поезд уходит только вечером. Я уже дважды ездил на экскурсии по памятным местам, я изучил все вывески и объявления, узнаю в лицо всех милиционеров на вокзале. Я просто не представляю, как переживу еще четыре часа. Если не верите, то посмотрите, вот мой билет.

Я полез в карман за билетом, но тот человек сказал:

— Не надо. Зачем?

— Я сам из Мелитополя, — сказал я. — Я технолог, был в Ленинграде у моей тети. Знаете, из старых петербургских дев. А теперь вот болеет. Возраст.

Так, разговаривая (вернее, разговаривал я, а уzkоли-мый человек лишь кивал в знак того, что слышит), мы поднялись по эскалатору наверх. За стеклянной стеной начало смеркаться. У дверей толпились автобусы.

— Извините, — сказал я, останавливаясь наверху. — Я пойду. Еще раз тысячу извинений.

Он ничего не ответил, и я пошел к кассам, но тут же человек меня окликнул.

— Подождите, гражданин, — сказал он. — Вы едете в Мелитополь?

— Да, — сказал я, возвращаясь. — Сегодня вечером.

— Вы там живете?

— Разумеется.

— Мой отец жил в Мелитополе, — сказал узколицый человек.

— Не может быть!

Мороженое, которое он держал обеими руками, размягчилось, и мне было видно, как его пальцы продавили углубления в брикетах. Но он этого не замечал.

— Я хотел бы поехать в Мелитополь, — сказал человек.

— Приезжайте, — сказал я. — Я могу вам оставить адрес. Я живу один в трехкомнатной квартире. Моя жена покинула меня, вот и остался я один.

Наверное, я показался ему человеком с недержанием речи. И, чтобы отвлечься от мелитопольской темы, я сказал:

— Ваше мороженое вот-вот потечет.

— Да, конечно, — согласился он, думая о чем-то другом.

— Вы отнесете его, — посоветовал я.

— А вы уйдете? — Я понял, насколько одинок и не уверен в себе этот человек. — Вы, пожалуйста, не уходите. Если, конечно, можете.

— Разумеется, — сказал я. — Конечно, я буду с вами.

Мы с ним пошли через зал. Его семья ждала его в дальнем конце зала, за закрытым киоском. Двое детей сидели по обе стороны женщины средних лет с таким же узким лицом, как у моего нового знакомого, и с еще более длинным носом. Я даже вообразил сначала, что это его сестра. Но оказалось, что жена. При виде нас женщина почему-то прижала к груди черную матерчатую сумку, а дети, один совсем маленький, другой лет семи, замерли, будто крольчата при виде волка.

Женщина была коротко подстрижена, почти под скобку, и лишь на концах волосы были завиты. И платье, и пальто с большими серыми пуговицами были очень неправильными, именно неправильными. Я бы даже не сказал,

что они немодны или старомодны. Они принадлежали к другому миру.

— Маша! — сказал быстро мой спутник. — Не волнуйся, все в порядке. Этот гражданин из Мелитополя, мы с ним покупали мороженое.

С этими словами он положил ей на руки полурастаявшие пачки, и женщина инстинктивно вытянула вперед руки, чтобы капли сливок не падали на пальто.

— Моя жена, — сказал узколицый человек. — Мария Павловна.

Женщина как-то сразу обмякла, видно, она боялась тут сидеть одна, с детьми. Дальше на длинной скамье дремал казах с электрогитарой, затем сидела парочка голубков лет пятидесяти. На нас никто не смотрел.

Женщина оглянулась, куда деть мороженое.

— Дай сюда, — сказал семилетний мальчик. — Я подержу.

— Только не накапай на штанишки, Ося, — сказала женщина.

— А мне? — спросила малышка. Она сидела на лавке, поджав ноги, покрытая серым одеялом, на котором можно было угадать изображение белки с орехом.

— Сейчас, Наташенька, сейчас, — сказала женщина. Она быстрым кошачьим движением извлекла из сумки носовой платок, вытерла руки и, поднявшись, протянула мне ладонь.

— Мик, Мария Павловна, — сказала она. — Очень приятно с вами познакомиться.

— Мы тут проездом, — быстро сказал узколицый. — Да вот застряли.

Он вдруг засмеялся, показав, как далеко вперед торчат его длинные зубы.

— И очень хотим уехать, — сказала его жена.

— Простите, — я не хотел ничем пугать этих странных людей, — но мы с вами так и не познакомились. Меня зовут Лавин, Сергей Сергеевич Лавин.

Я протянул ему руку.

Он с секунду колебался, будто не знал, сказать ли настоящее имя или утаить. Потом решился.

— Мик, — сказал он. — Анатолий Евгеньевич.

Мне было знакомо это имя. Я его слышал, когда

Анатолий Евгеньевич говорил по телефону. Но я не стал ничего говорить. Рука у него была холодной и влажной, и мне показалось, что я ощущаю, как быстро и мелко бьется его пульс.

— Подвиньтесь, дети, — сказала жена Мика. — Дайте товарищу сесть.

— Спасибо, я постою.

Дети покорно поднялись. Одежало упало на пол. Дети стояли рядышком. Они так и не ели мороженое, которое текло между пальцев Оси и капало на пол.

— Ешьте, дети, а то будет поздно, — сказал я. — Видите, я уже доедаю.

— Почему поздно? — спросил мальчик.

— А то придется лизать с пола.

Дети удивились, а родители вежливо засмеялись.

— Вы оставайтесь здесь и не волнуйтесь, — сказал Мик жене. — Нам с Сергеем Сергеевичем надо поговорить.

— Не уходи, папа, — сказал мальчик.

— Мы будем стоять здесь, где вам нас видно.

Он взял меня за руку и повел к стеклянной стене. Воздух за ней был синим. Очередь на такси казалась черной.

— Они очень нервничают, — сказал Мик. — Я в отчаянии. Моя жена страдает от гипертонической болезни. Мы с утра здесь сидим.

— У вас никого нет в городе? Я слышал, что вы звонили, но вам сказали...

— Это уже не играет роли. Но вы мне показались достойным доверия человеком. Я решил — мы поедем в Мелитополь. Как вы думаете, можно ли будет купить билет?

— Я достал его с трудом, — честно признался я. — Много желающих.

— Впрочем, мы можем уехать и в другой город. Но приехать на место, где тебя никто не знает и ты никого не знаешь...

— Честно говоря, Анатолий Евгеньевич, — сказал я, — мне все это непонятно.

Мальчик Ося подошел к нам и протянул отцу газету.

— Мама сказала, чтобы ты почитал, — заявил маль-

чик. — Тут написано про космонавтов: А кто такие космонавты?

Мик перехватил мой удивленный взгляд.

— Я тебе потом расскажу, сынок, — сказал он.

Я погладил мальчика по головке.

— Космонавты, — сказал я, — осваивают космос. Они летают туда на космических кораблях. Разве тебе папа раньше не говорил?

— Мы жили уединенно, — сказал Мик. — Ося, возвращайся к маме.

К счастью, Ося не был похож на родителей. У него было обыкновенное круглое лицо и нормальный нос. Может, его мама согрешила с другим? Впрочем, какое мне дело?

— А почему ты мне не говорил про космонавтов? — спросил мальчик. — Их никогда раньше не было.

— А кто же был, Ося? — спросил я, улыбаясь.

— Раньше были челюскинцы, но я их не видел, — сказал мальчик серьезно. — А теперь есть Чкалов. Чкалов космонавт или нет?

— А что ты знаешь о Чкалове?

— Ося, немедленно назад! — Мик буквально шипел, словно кипящий чайник. Я испугался, что он ударит мальчика.

— А Чкалов скоро полетит в Америку. Я знаю, — сказал мальчик.

Прическа, понял я. Такой прически сегодня просто никто не сможет сделать. Даже в отдаленном районном центре. Парикмахеры забыли, как стричь «под бокс», а Мик подстрижен «под бокс».

— Твое имя Иосиф, мальчик? — спросил я.

Мальчик не уходил. Ему было интереснее со мной, чем с мамой.

— Мария! — крикнул пронзительно Мик, и я понял, что он всегда в жизни кричит, зовет на помощь Марию, если не знает, что делать. — Мария, возьми мальчика.

— А меня называли в честь дяди Сталина, — сказал мальчик. — А почему нет портрета дяди Сталина?

— Дядя Сталин, — сказал я, — давным-давно умер.

И тут испугался мальчик. Мне даже стало неловко, что я так испугал мальчика.

Мать уже спешила к нам через зал. Она резко схватила мальчика за руку и потащила от нас, она не спрашивала, она обо всем догадалась. Мальчик не оборачивался. Он плакал и что-то говорил матери.

— М-да, — сказал я, чтобы как-то разрядить молчание. — Наверное, мне лучше уйти. Вы нервничаете.

— Да, — согласился Мик. — Хотя, впрочем, зачем вам теперь уходить? Вы же догадались, да?

— Я теряюсь в догадках, — сказал я. — У меня создается впечатление, что вы много лет где-то прятались, что вас не было... Я не знаю, как это объяснить...

— Давайте выйдем наружу, покурим. Вы курите?

Мы вышли из вокзала. Сквозь освещенную стеклянную стену я видел сидевших кучкой жену и детей Мика. Девочка спала, положив голову на колени матери. Мальчик сидел, подобрав коленки. Коленки были голыми. На мальчике были короткие штанишки, что теперь редко увидишь.

Мик достал из кармана смятую пачку папирос «Норд». Предложил мне. Я предпочел «Мальборо». Мы закурили.

— Мы не прятались, — сказал Мик, оглядываясь на старуху, стоящую неподалеку с букетом астр. — Нас просто не было.

Горящие буквы новостей бежали по крыше дома на другой стороне Садового кольца. «Высадка на Марсе ожидается в ближайшие часы». У нас плохо с мясом, подумал я, но мы добрались до Марса. Этого я, разумеется, не сказал вслух.

— Мы живем в прошлом. Вернее, жили в прошлом до вчерашнего дня. И вот, простите, бежали. Скажите и не поймите меня ложно: в самом ли деле портретов Сталина нет в вашем времени?

— Как-то я видел один на ветровом стекле машины. Она была с грузинским номером, — сказал я. — Он для нас — далекая история.

— А вы знаете, что по его вине погибло много людей? Об этом вам известно?

— Известно, — сказал я. — Давно известно.

— И что вы сделали?

— Мы сделали единственное, что можно было сделать, чтобы не отказываться от собственной истории, — сказал

я. — Мы предпочли забыть. И о нем, и о тех, кто погиб. Наверное, я не совсем точен. Наверное, правильное сказать, что мы отдаем должное тем, кто погиб безвинно. Но стараемся не обобщать.

— Может, это выход. Трусливый, но выход. Я не хочу вас обидеть. Я специально выбрал это время, чтобы быть уверенным, что никого из них уже не будет в живых.

Я промолчал.

— Еще вчера... — сказал Мик, глубоко затягиваясь. Табак в папиросе был плохой, он потрескивал, будто Мик раздувал печку. — Еще вчера мы жили в 1938 году. Вы не верите?

— Не знаю, — сказал я. — Если вы мне объясните, то я постараюсь поверить.

— Я работал в институте. Вам название ничего не скажет. Нас было несколько экспериментаторов. И должен сказать, что во многом мы даже обогнали время. Это звучит наивно?

— Нет, всегда есть ученые, которые обгоняют время.

— Во главе института стоял гениальный ученый. Крупинский. Вы слышали о нем?

— Простите, нет.

— Он работал у Резерфорда. Эйнштейн звал его к себе. Но он остался. С нами, с его учениками. А времена становились все хуже. И к власти в институте пришли... мерзавцы.

Он потушил папиросу и сразу достал новую.

— И потом взяли одного из нас, и он исчез. И было ясно, что очередь за другими. Многие из нас бывали за границей. И потом, мы не могли быть осторожными. В самые тяжелые времена наверх вылезает осторожная, но наглая серость. Она везде. Она в биологии, она в генетике, даже в истории. Вы знаете, что генетика фактически под запретом?

— Я слышал, что так было.

— Слава богу, я не зря приехал сюда. Хоть генетика... И мы стали работать. Крупинский сказал нам, что, если мы не можем уехать, не можем спрятаться, то мы не имеем права бесславно и незаметно умирать. Наука нам этого не простит. Наш долг — остаться в живых. И есть одна возможность — уйти в будущее. Пока теоретическая.

Но если нам очень хочется жить, то мы сделаем это. Практически. И знаете, никто не донес. Мы все работали вечерами, даже ночами, а днем делали вид, что прославляем и так далее. И все было готово.

— А в каком институте, если не секрет?

— Ну какой теперь может быть секрет. Институт экспериментальной физики имени Морозова. Слышали?

Я кивнул.

— Все было готово. Позавчера. И знаете, почему мы особенно спешили? Три дня назад взяли Кацмана. Аркашу Кацмана. Совсем по другому делу. Там что-то с его родственником. Но мы знали, что его будут допрашивать, и, когда начнут сильно допрашивать, он расскажет. Знаете, когда пишут про гражданскую войну, там всегда есть герои, которых белогвардейцы пытаются целыми неделями, но те молчат. В самом деле так не бывает. Они ведь профессионалы. Они умеют пытаться. Сознаются все. И мы знали, что, даже если Аркашу не будут спрашивать об институте, что было маловероятно, он все равно все расскажет, чтобы купить жизнь. Он очень хороший человек, Аркаша. Но мы были правы. Я дежурил в институте, и в срок никто не пришел, даже Крупинский. Я думал, что Крупинского не посмеют тронуть. Я позвонил ему домой, а незнакомый мужской голос спросил, кто его просит. И я сразу понял. По интонации. Знаете, они почему-то привозят людей с Украины, с таким мягким южным акцентом. Я не знал, сколько у меня времени. Я позвонил домой. Я сказал Марии, чтобы она взяла детей и больше ничего. Правда, она догадалась взять свои кольца. Иначе бы я забыл. Зато здесь я продал сегодня одно кольцо — знаете, мне за него дали двадцать рублей. Такой черненький человек. Иначе и по телефону не позвонишь. Она догадалась и больше не спрашивала. Хорошо, что мы рядом живем. А знаете, что я сделал, когда уже включил машину? Я позвонил к себе домой. И там подошел к телефону человек с таким же мягким акцентом. Мои успели уйти буквально за считанные минуты. И мне кажется, что, когда машина уже работала, они ворвались в лабораторию. Но, может быть, мне показалось.

— Трудно поверить, — сказал я.

— Ах, это так просто...

Теперь, когда он мне все рассказал, он чувствовал себя иначе, страх отпустил его. Я стал его сообщником. Почти родным ему человеком. Неважно, что произойдет с нами потом, но сейчас мы были сообщниками в бегстве из прошлого. Он извлек из внутреннего кармана пиджака черный кожаный бумажник и из него паспорт в серой мягкой обложке. Мне было любопытно поглядеть на его паспорт. В паспорте значилось, что мой собеседник — Мик Анатолий Евгеньевич, год рождения — 1901. И фотография была правильная. Узкое лицо. Светлые глаза. Конечно, можно сделать все — и паспорт, и фотографию. Но ради чего? Чтобы удивить меня? И я поверил этому человеку.

— Что же теперь делать? — спросил я.

— Не представляю. Мы выбрались из машины ранним утром. На наше счастье, здание института сохранилось. Только там все иначе. Это было на рассвете. Никого не было. Мы вышли...

— Вы не боялись, что кто-нибудь пойдет вслед за вами?

— У нас все было оговорено. У нас была сделана очень маленькая мина замедленного действия. Она должна была разрушить только пульт управления. Через тридцать секунд после того, как уйдет в будущее последний. Но я был единственным... Нет, они не догадаются. И я думаю, что они не поверят. Ну как можно поверить? Куда проще предположить, что это заговор шпионов.

Он ухмыльнулся и показал длинные зубы. Потом достал третью папиросу.

— Вы много курите, — сказал я.

— Нервничаю. — Он робко улыбнулся.

— Ну и что дальше?

— Дальше? Дальше я рассудил... Я уже ночью придумал, что, если никого, кроме меня, не будет, я сначала поеду на вокзал. И знаете, я оказался прав. Здесь так же много людей, как полвека назад. И такая же неразбериха.

Он поглядел сквозь стеклянную стену в зал. Мария Павловна сидела прямо и смотрела перед собой. Она ждала. Ей было страшно, куда страшнее, чем ее мужу. Дети спали.

— Ей страшно, — сказал Мик. — Она не знает, чем

это кончится. Но я теперь надеюсь, что мы уедем в тихий город, ведь теперь не арестовывают, не убивают?

— Нет, — твердо сказал я. — Теперь этого не бывает.

— Все кошмары кончаются, — сказал Мик. — Я всегда знал, что тот кошмар тоже кончится. По крайней мере я спокоен за детей. Они будут учиться... Я тоже могу преподавать физику в школе. Я не так уж отстал от школьного уровня.

— Разумеется, — сказал я.

— Мы возьмем билеты в Мелитополь и затеряемся... Знаете, может, даже мы сойдем на какой-нибудь станции и я скажу, что потерял документы. Что мне за это будет?

— Не знаю, — сказал я. — Наверное, выдадут новые. Только трудно будет проверить...

— До встречи с вами я был в каком-то шоке, — сказал Мик. — Я вам очень признателен. От вас исходит какое-то спокойствие, уверенность в себе. Я позвонил в справочное... А, вы слышали? Я позвонил и думал спросить, не дожил ли кто-нибудь из нас... Глупая мысль.

— Нелепая мысль, — сказал я. — Получается, что вас двое. А этого быть не может.

— А вы где будете ночевать? На вокзале?

— Нет, — сказал я. — У меня здесь живет знакомая. Одна из моих тетушек. У нее отдельная квартира.

— Счастливцев.

— И у меня есть к вам предложение. Детям плохо на вокзале. И жене вашей нехорошо. Я думаю, что у тетушки мы поместимся. Мы скажем ей, что вы мои мелитопольские родственники.

— Вы с ума сошли. Это же такое неудобство...

— Если вам не накладно, — сказал я, — то вы утром ей заплатите. Немного. Она на пенсии, и лишние пять рублей ей не помешают.

— Разумеется, у меня значительно больше денег. И у Маши остались еще кольца. Это было бы великолепно...

— Вот и решили, — сказал я. — Собирайте свою гвардию, а я пойду ловить машину.

— Такси?

— Такси вряд ли, — сказал я. — Поглядите, какая очередь. Это часа на полтора как минимум. Я думаю, что отыщу левака. Частника.

- А это можно?
- У нас многое можно, — улыбнулся я.
- Так я пошел?
- Давайте. Встречаемся здесь.

Я поглядел ему вслед. Он бежал через зал к своей жене. Он был счастлив — длинные зубы наружу в дикой улыбке. Он махал руками и, нагнувшись к жене, начал ей быстро, возбужденно что-то говорить...

Когда они выползли всем семейством к выходу, голубой «рафик» уже стоял неподалеку. Шофер выглянул из окошка.

— Поторапливайтесь, — сказал он. — Тут фараоны не дремлют.

— Он согласился, — сказал я. — Он еще одну семью взял, их отвезет к площади Маяковского, а потом нас, дальше, на Ленинский.

— Мы на этой машине поедem? — спросил Ося. — Я такой не знаю.

— Привыкнешь, — сказал Мик. — Ты еще не такие машины увидишь.

Сначала в машину Мария Павловна внесла спящую девочку. Потом забрались Мик и мальчик. Я последним.

Я поздоровался со средних лет четой, сидевшей на заднем сиденье. Мария Павловна уложила девочку на сиденье.

— Все в норме? — спросил шофер.

Машина ехала по Садовому кольцу, и Мик не отрываясь глядел по сторонам. Ему все нравилось. И яркое освещение, и движение на улицах. И даже рекламы. Мальчик все время спрашивал: «А это что? А это какая машина?» Мать пыталась его оборвать, но я сказал:

— Пускай спрашивает.

Перед площадью Маяковского машина свернула в переулок.

Мы сидели с Миком на переднем сиденье, и поэтому, когда я наклонился к нему и начал тихо говорить ему на ухо, его жена ничего не слышала.

— Мик, — сказал я, — только не надо шуметь и устраивать истерику. Сейчас мы приедем в одно место, и вы тихо выйдете из машины. Там нас ждут.

— Кто? — прошептал он, тоже стараясь, чтобы жена не услышала. — Кто может ждать... здесь?

— Мик, — сказал я, — вы ведь думаете только о себе. Мы вынуждены думать о более серьезных вещах. Путешествия во времени невозможны. Успешное путешествие во времени может нарушить, как говорил поэт, «связь времен». Вы исчезли в прошлом, образовав там опасную лакуну. От вашего отсутствия нарушается баланс сил в природе. Вы же физик, вы должны были это предусмотреть.

— И ждать, пока нас убьют и отправят куда-то наших детей?

— Ваши товарищи не избегли этой участи. Поймите, Мик, я не имею ничего против вас и вашей семьи. Я искренне вам сочувствую и надеюсь, что обвинение против вас будет снято. Известно множество случаев, когда людей отпускали на свободу.

— В каком году умер академик Крупинский? — спросил вдруг Мик в полный голос.

— Не знаю, — сказал я. Хотя знал, что в 1938 году.

Мария Павловна почувствовала что-то в его голосе.

— Что случилось? — спросила она. И, когда ей никто не ответил, сказала очень тихо: — Я так и знала.

Машина въехала во двор управления, железные ворота закрылись за ней. Не замедляя хода, она нырнула в знакомые мне ворота и резко затормозила во внутреннем зале. Два наших товарища уже ждали. Один из них открыл дверь.

Два других наших товарища, которые сидели на заднем сиденье, спрятали оружие, и женщина средних лет — я ее знал только в лицо — сказала:

— Выходите спокойно, товарищи.

Они вышли совершенно спокойно. Я хотел взять девочку из рук Марии Павловны, чтобы помочь той. Но Мик оттолкнул меня. Я не обиделся. Я понимал, что с его точки зрения я кажусь коварным человеком, заманившим его в ловушку.

— Куда нас денут? — спросил он визгливым голосом. Я подумал, что с облегчением забуду это длинное сплюснутое лицо и эти длинные желтые зубы.

— Назад, — сказал один из наших товарищей.

— Но ведь этого нельзя делать, — сказала Мария Павловна. — Они там нас ждут.

Товарищ пожал плечами.

В низкую железную дверь вошел Степан Лукьянович. Он быстро взглянул на беглецов, потом пожал мне руку и поблагодарил за работу.

— У меня были данные, — сказал я. — Остальное лишь опыт и наблюдательность.

— Скажите, — Мик так и не выпускал из рук девочку, — а вы знали? Давно?

— Это третий случай, — вежливо ответил Степан Лукьянович. — Все три нам удалось пресечь.

Он немного лукавил, мой шеф. Второй из этих случаев кончился трагически. Тот человек, который попался, имел при себе яд. Но эти наверняка яда не имеют. Совсем другие люди.

— А мы куда поедem? — спросил мальчик.

— Я вас очень прошу, — сказала вдруг Мария Павловна. — Ради наших детей. Посмотрите на них. У вас же тоже есть дети?

— Я вам искренне сочувствую, — ответил Степан Лукьянович. — Но, простите за народную мудрость, каждому овощу свое время.

— Не надо, Маша, — сказал Мик, — не проси их. Они те же самые.

— Ну тогда оставьте детей. Мы вернемся, мы согласны! — кричала Мария Павловна. Она старалась вырвать ребенка у своего мужа, он не отпускал девочку, одеяло развернулось и упало на пол, девочка верещала. Это была тяжелая сцена.

Мик первым побежал к открытой двери, но его остановил один из наших товарищей.

— Не сюда, — сказал он.

И показал на другую дверь, которая как раз начала открываться.

ЦВЕТЫ

Иногда он позволял себе просыпаться не сразу, а продлить на несколько минут сладкое состояние полусна, и первые мысли были спокойны, улыбчивы, странным образом перемешаны с остатками снов, в которых он мог все — даже больше, чем наяву. Затем в дремотные видения вторгались, ненавязчиво и мягко, звуки дома. Приглушенные голоса, стрекот какой-то птицы за окном, звон чашек в столовой, звуки понятные и непонятные, но расположенные к нему, соединялись в неповторимую мелодию, придуманную утром специально для него. Все заботы в этот момент преодолимы, задачи разрешимы, как в школе, невыносима лишь мысль, что он мог бы проснуться в тишине, один и никому его пробуждение не нужно и не желанно.

Простыни, хоть и согрелись за ночь, были свежими, гладкими — во сне он не ворочался, спал строго на спине, тем не менее постельное белье меняли каждый вечер, потому что он не мог отказать себе в удовольствии, ложась спать, видеть тонкие прямые линии складок и чувствовать легкий запах чистоты.

Он провел жесткой ладонью по своему гладкому, твердому, впалому животу. Он уже третий месяц соблюдал разумную диету, после того как, случайно увидев себя в зеркале в не подстереженный телом момент, понял, что живот выдается вперед. Третий месяц он худел, как ревнивый коллекционер, собирая потерянные граммы. Сто или сто пятьдесят каждое утро. Это была славная коллекция.

Дверь уютно скрипнула. Заглянула жена. Самая красивая женщина в мире, самая чуткая и заботливая женщина в мире, в которую он влюблен уже десять лет, что не мешало ему с той же щедростью и искренностью лю-

бить других женщин, встречи с которыми лишь укрепили его в уверенности, что он не сделал промашки, выбрав в жены именно ее. Эта уверенность в правильности выбора, в собственной всегдашней прозорливости была приятна. Он улыбнулся жене, и она наклонилась над подушкой, чтобы поцеловать его в губы. От нее пахло утренним кофе и хорошими французскими духами, без сомнения, теми, что он подарил ей вчера.

— Я встаю, — сказал он и потянулся, чтобы изгнать остатки утренней истомы.

— Завтрак на столе, — сказала жена.

Омлет был изумителен. В жизни ему не приходилось есть такого омлета. Да, надо ехать. Лучше сейчас, сразу после завтрака. Странно, что, стараясь облагодетельствовать человека, ты не можешь изгнать неуверенность.

Он прошел в кабинет и закурил первую за день, утреннюю и самую вкусную сигарету. Под окном уже стояла машина, и шофер лениво, но любовно протирал замшей ее лоснящийся бок. Хорошая машина. Может, лучше было бы обойтись без этой поездки? Умея и даже любя встречать сопротивление для того, чтобы ломать его, он не любил ситуаций, когда в роли его жертвы выступал кто-то близкий. Поэтому-то его родные и друзья склонны были объяснять его достижения и не всегда добрую славу умом, случайностями, талантом — только не жестокостью, казалось бы, несовместимой с его характером.

Но почему он подумал о сопротивлении? Он хочет спасти человека из небытия, и, не сделав он этого, придут другие, не ставящие никаких этических проблем. Павел, вернее всего, жаждет приобщиться к победителям, из гордости не делая первого шага. Нельзя отходить от берега только потому, что течение слишком быстрое. Не научишься плавать, погибнешь при наводнении.

— Ты придешь обедать? — спросила жена.

— Постараюсь, любимая. В любом случае я тебе позвоню.

Он сказал шоферу адрес. Адрес ему принесли еще вчера, потому что лучше взять столь серьезный разговор на себя, чем рисковать, доверяясь исполнительным, но примитивным помощникам. А он рад был бы обойтись без Павла. Любая система, нуждающаяся в знаниях, умении,

памяти человека, бессердечна, так как она стремится выжать из него все, чтобы поскорей перейти к следующей жертве. Остаются на поверхности лишь те, кто ассоциирует себя с системой и питается тем же, чем она сама. И все-таки, утешил он себя, то, что я предложу Павлу, для него единственный выход. А уж там он сам пускай решает, по какую сторону ложки ему удобнее устроиться.

— Здесь, — сказал шофер. — Я пойду погляжу?

Удивление шофера было понятно. Даже машина чуралась этой улички, покосившихся, некрашенных домов, грязных канав с перекинутыми через них трясушимися скользкими досками.

— Я сам.

Шофер вылез из машины и смотрел ему вслед. Три скрипучие ступеньки, средняя треснула, скоро провалится. Звонок на двери не работает. Неудивительно, если здесь вообще отключено электричество. В окне соседнего домика размыто белеют детские рожицы, но их внимание приковано к машине. Он постучал в дверь, привычно рассчитывая при этом, что надо сделать, чтобы привести дом в порядок; выкрасить, заменить крышу, поставить забор... Впрочем, дешевле построить новый дом. И вот с этой мыслью он вошел в тесную прихожую, где пахло нафталином и чем-то кислым.

— Дешевле снести эту хибару и построить новый дом, — сказал он Павлу. — Хотя, надеюсь, ты уедешь отсюда.

— Ты не изменился, — сказал Павел.

— А ты изменился. Сегодня же пришлю к тебе хорошего парикмахера.

— Спасибо. Проходи в комнату. Сколько мы не виделись? Лет пять?

— Чуть больше.

Фанерный потолок посреди провис, словно был брезентовым. На обеденном столе рядом с неубранной кастрюлей и тремя чашками стояла чернильница. От кастрюли, чернильницы взгляд скользнул к девочке, которая замерла, нацелив в него перо, с которого, медленно набухая, сползала синяя капля. Он не мог пошевелиться, загнипнотизированный неизбежностью ее падения на страницу раскрытой тетради, и, только когда она наконец сорвалась

и шлепнулась на белый лист, разбросав в стороны толстые на концах тонкие лапки, он услышал голос Павла:

— Пойди погуляй.

Это относилось к девочке. Его дочь. Нет, в деле Павла, которое он вчера пролистал, не было детей.

Девочка подобрала тетрадь, неся ее плашмя, чтобы клякса не стекла, пятясь, обогнула мужчин и скрылась в коридоре.

— Твоя дочка?

— Нет, хозяйкина. Впрочем, если я останусь здесь, я намерен удочерить ее.

— Надеюсь, что ты здесь не останешься.

— Ты приехал, чтобы высказать эту надежду?

— В частности, да.

— Садись.

— Я постою.

— Спешешь?

— Как всегда.

— Тогда рассказывай, что тебя привело ко мне.

— Не догадываешься?

— Вряд ли тебя интересуют мои догадки.

— Искренне интересуют.

— Я вам понадобился.

— Правильно. И не только нам. Ты нужен всем. Когда господь бог создавал тебя, он не предполагал, что ты захочешь завершить свои дни в этой дыре.

— Я удовлетворен жизнью.

— Это неправда. Погляди, это официальное приглашение. Здесь все сказано. И сколько ты будешь получать и где будешь жить. Если что-нибудь непонятно, я готов разъяснить.

Павел близоруко сощурился, пробегая глазами строчки.

На цыпочках вошла девочка, проскользнула к столу и худой лапкой стянула с него промокашку.

— Спасибо, — сказал Павел. — Я останусь здесь.

— Это нелепо.

— Что поделаешь.

— Ты не имеешь права упиваться бездельем или любовными утехами с ее мамой...

— Что за упреки!

— Прости. И все-таки я не снимаю с тебя упрека в сознательном безделье, интеллектуальном самоубийстве.

— Я не бездельничаю.

— Ты работаешь? Где же твоя лаборатория? Где книги? Где помощники?

— Мне они не нужны.

— Так в чем же твоя работа?

— Ты в самом деле хочешь посмотреть?

— Разумеется. Я хочу знать о тебе все.

— Я думал, что ты уже все знаешь. Ну, пошли. Это недалеко.

По скользкой, мокрой от недавнего дождя тропинке они обогнули дом. Переполненная бочка с дождевой водой стояла поперек пути, и ему пришлось шагнуть в траву. Брюки сразу же промокли.

— Вот, — сказал Павел, остановившись на краю небольшого участка сзади дома.

Там росли цветы. Это были громадные, в ладонь, белые, розовые, фиолетовые и темно-красные грубые, сочные, чувственные цветы. Чем-то они напоминали ему цветы в горшках за окнами северных городов, бумажные в своей изысканной и все-таки пошлой пышности. Цветы эти раздражали, но по-своему они были прекрасны, как прекрасно все совершенное, к чему нельзя добавить или додумать.

— Что это? — спросил он. — Ты стал цветоводом?

— Это картофель, — сказал Павел. — Картошка.

— Не понял.

— Я развожу картошку на цветы.

— А клубни?

— Клубни у них маленькие, зеленые, они никому не нужны. Зато признай, очень красивые цветы.

— Да. Большие. А морковь?

— Что морковь?

— Ты не разводишь на цветы морковь?

— Нет. — Павел улыбнулся.

— Это символ.

— Почему символ? К сожалению, отцвели огурцы. Я бы показал тебе. Они бы тебе понравились. Я надеюсь, что в будущем году они смогут цвести на воде, как огромные кувшинки.

...Шофер стоял у машины, приоткрыв дверцу. Павел вышел за гостем на крыльцо, но дальше не пошел, словно опасался, что его затолкнут в машину и увезут.

— Мы еще увидимся. — Он не хотел, чтобы в его голосе звучала угроза, но ничего не смог с ним поделать.

— Не сомневаюсь, — сказал Павел. — Может, подождешь минутку, я срежу букет. Твоей жене понравится.

— Спасибо, в следующий раз.

Машина дернулась с места, выбираясь из лужи. Он не оборачивался, хотя знал, что Павел все еще стоит на ступеньках, держась рукой за ручку двери. И смотрит вслед.

Какой дурак, какой подлец, твердил он про себя, стараясь вызвать в себе злость к Павлу, тогда легче будет не думать ни о чем, передав его адрес другим людям, исполнительным, но лишенным иных чувств.

— Картошка на цветы, — сказал он вслух.

— Что вы сказали? — спросил шофер, не оборачиваясь.

Он не ответил. Вдруг пожалел, что не взял букета для жены. Она бы посмеялась, нашла легкие, веселые слова...

Потом, часа через два, сидя на каком-то заседании во главе длинного, покрытого скучной зеленой скатертью стола, он вдруг снова сказал:

— Картошка на цветы.

И никто не понял.

1976 г.

О ВОЗМЕЗДИИ

3 сентября 1878 года произошло событие, последствия которого укладываются в схему: проступок — возмездие, хотя человек трезвый скорее всего сочтет его случайным, ничего не доказывающим совпадением.

Понятие возмездия возникло от стремления к справедливости. Порой люди сами не в силах наказать преступника и утешить пострадавших. Поэтому они ждут возмездия свыше при условии, что высшая сила руководствуется теми же нормами морали, что и люди, в нее верующие. И если возмездие грядет или может быть притянута за уши, в вас возникнет чувство удовлетворения, даже радости.

3 сентября 1878 года большой прогулочный пароход «Принцесса Алиса», названный так в честь третьей дочери королевы Виктории, совершал рейс по Темзе вдоль Лондона. Пароход был переполнен пассажирами, большей частью женщинами и детьми. Всего на его палубе и в салонах разместились более семисот человек.

Начало смеркаться. Помощник капитана «Принцессы Алисы» зажег на носу медный фонарь, чтобы избежать столкновения со встречными судами. Судовой оркестр играл популярную в те дни польку: «Мы драться не хотели, но...»

Примерно в 7.30 вечера пароход находился в одиннадцати милях ниже Лондонского моста. Лопасты его колес мерно шлепали по воде. Внезапно справа от парохода возник высокий нос океанского угольщика «Байуелл кастл». Не сбавляя хода, он приближался к пароходу. Капитан «Принцессы Алисы» Уильям Гринстед крикнул с мостика: «Стоп машина!», стараясь избежать столкновения. Но было поздно. Острый нос угольщика вонзился в борт парохода и буквально разрезал пароход пополам.

Мгновенно к небу поднялся столб пара из расколотого парового котла «Принцессы Алисы». Раздался треск, подобный тому, если бы раздавить миллион спичечных коробков.

Удар был таков, что людей буквально смело с палубы. Повезло лишь тем, кто были на носу и на корме парохода — они оказались в воде. Те же, кто находился в центре корабля и в его салонах, погибли почти мгновенно. Под крик сотен людей «Принцесса Алиса» в течение четырех минут исчезла с поверхности воды.

Несмотря на то что с «Байуелл кастла», сбросившего ход, кидали в воду спасательные круги, доски — все, что было под рукой, несмотря на то что многочисленные лодки скоро подгребли к месту катастрофы, спасти удалось довольно немногих.

Из семисот пассажиров погибли 640 человек.

Всю ночь и следующий день из воды извлекали трупы. Их складывали рядами на набережной, и воры, прибежавшие из Лондона, под покровом ночи обшаривали трупы, срывая с них кольца и вытаскивая кошельки. Городские власти объявили, что будут платить лодочникам и рыбакам по пять шиллингов за найденный и доставленный на берег труп. И той же ночью, как рассказывают очевидцы, на реке закипела «трупная лихорадка»: лодочники дрались из-за утопленников, а другие тайком стаскивали с берега уже извлеченные из воды тела, отвозили их на середину реки и делали вид, что только что их обнаружили.

На следующий день водолазы смогли проникнуть в салоны «Принцессы Алисы», которая лежала так неглубоко, что в отлив ее труба показывалась над поверхностью воды. Десятки тел были извлечены из салонов, ставших ловушкой для пассажиров парохода. 230 полицейских сдерживали громадную толпу зевак и родственников погибших, которая рвалась к набережной.

Расследование и суд по этому делу, продолжавшиеся несколько месяцев, не смогли с полной очевидностью назвать виновников бедствия, и козлом отпущения был сделан капитан «Принцессы Алисы» Гринстед, который погиб вместе со своим кораблем. Было решено, что «Прин-

цесса Алиса» была недостаточно освещена и не уступила дороги угольщику.

Но общественное мнение обвиняло в гибели сотен людей угольщик «Байуелл кастл».

Эта история постепенно забылась и вновь всплыла лишь через четыре года, когда угольщик стал жертвой одной из так и неразгаданных тайн моря. В Бискайском заливе в четырнадцать дней пути от Александрии в безветренную погоду угольщик бесследно исчез. Не спасся ни один человек из его команды.

Разумеется, повторяю, трезвый человек не усмотрит никакой связи между этими двумя событиями, однако английские газеты того времени много писали о том, что груз смерти увлек ко дну «Байуелл кастл» и в этом есть справедливость возмездия.

Когда мы говорим о возмездии в больших масштабах, чаще всего такие события становятся достоянием гласности. Каждый из читателей может припомнить и другие случаи подобного рода, которые завершались торжеством (порой запоздалым) справедливости.

Но некоторые случаи, мелкие в масштабе человечества, остаются неизвестными широкой общественности.

В связи с этим мне хочется рассказать о том, что случилось неподалеку от дома, в котором я живу.

Еще в прошлом году там стояли старые двухэтажные дома середины прошлого века, окруженные не менее старыми деревьями. Однако в процессе реконструкции города решено было эти дома снести и на их месте воздвигнуть типовой дом панельного типа высотой в шестнадцать этажей.

Каким-то числом деревьев, несмотря на то что они тщательно охраняются, пришлось пожертвовать. Однако соответствующее управление категорически отказалось разрешить строителям уничтожить двухсотлетний дуб, росший на строительной площадке.

Сергей Иванович Кротов, по долгу службы и призыву долга имеющий отношение к охране природы в Москве, знал о том, что строители готовы ради выполнения плана пожертвовать памятником природы, и внимательно следил за судьбой дуба. На этой почве он познакомился с прорабом Марией Семеновной Карцевой. Оба они вскоре

ощутили взаимную неприязнь. Она исходила не только из-за противоречия их интересов, но и из субъективных ощущений.

Сергей Иванович был хлипким, узкоплечим человеком небольшого роста с длинным белым лицом. Он не носил очков, но у всех его знакомых было стойкое убеждение, что он носит очки.

Мария Семеновна относилась к той типичной генерации русских деловых женщин второй половины XX века, которые, будучи следствием эмансипации и экономических проблем, постепенно все более определяют жизнь общества. Приехав в Москву двадцать лет назад из Каширы и устроившись на стройку сначала разнорабочей, а затем штукатуром, живя в общежитии и не имея постоянных сердечных привязанностей, Мария Семеновна умудрилась заочно закончить строительный институт, выделиться на общественной работе и стать кадровым строителем. Будучи женщиной физически крепкой, широкоплечей, краснолицей, она умела выпить в мужской компании, хотя предпочитала женское общество, употребляла в речи грубые слова, могла отстоять свое место под солнцем и, пользуясь связями в управлении, где было немало лиц, подобных ей по биографии и жизненным идеалам, она обеспечивала своим рабочим достойный заработок, а начальству — выполнение плана.

— Мария Семеновна, — говорил Кротов, чуть шепелявя. Мария Семеновна не выносила шепелявых, и ей хотелось заткнуть уши от звука этого голоса. — Вы не хотите понять, что каждое лишнее дерево в Москве — это лишние литры кислорода. Деревья — это легкие нашей столицы.

— Посадим новые, — говорила Мария Семеновна.

— Когда вырастут ваши новые деревья? Через сто лет? А этот дуб — свидетель наполеоновского нашествия. Под сенью его отдыхал, быть может, Пушкин. Вот он, свидетель величавый...

— А где я буду башенный кран ставить? — пыталась обратиться к рассудку Кротова Мария Семеновна. — Он же мешает!

— Неужели в вашем сердце, все-таки это женское сердце, не шевельнется ничего при виде этого велика-

на? — упрямо повторял Кротов, на стороне которого был закон, но не было убедительности.

— Дрова, — отвечала Мария Семеновна.

Она уже давно подсчитала, что, если дуб сохранить, то строительство удлинится на несколько дней, план будет под угрозой, люди не получают премии, ее личные обязательства не будут выполнены, а в управлении спросят с нее, а не с мымыка из охраны природы.

— Если мы не будем беречь природу, — горячился Кротов, — то наши потомки буквально вымрут от кислородного голодания. Они будут влачить свои жалкие дни на пустынных просторах, окруженных бетонными громадами.

Кротов был начитан и поэтичен, но никогда не занимался спортом.

— Ах, оставьте, не пудрите мне мозги, — отвечала Мария Семеновна. — В бетонных громадах жить удобно. А вам бы всех в избушки отправить. Лучше иди на стройку работать — окрепнешь.

Никаких надежд на сближение позиций этих антагонистов не было и не могло быть. Подобные конфликты в более крупных масштабах возникают в нашей жизни повседневно, и существует два способа их разрешения. В действительности победу обычно одерживают прагматики, то есть работники, выполняющие хозяйственные планы. Именно они губят реки и сводят леса, устраивают эрозию почвы и загрязнение атмосферы. Их понятие общего блага строится на создании материальных ценностей, которые можно создать, лишь поступившись природой. И они ею поступаются. Искусство и художественная литература придумали иной путь разрешения таких конфликтов. В этом варианте практического работника охватывает раскаяние и он начинает думать о будущем и красоте родного края. К сожалению, раскаяние слишком дорогое удовольствие, чтобы его мог позволить себе практический работник.

Кротов жил надеждой на торжество идеалов, на победу пути, указанного искусством. И несмотря на то что он уже неоднократно терпел поражения, он верил в окончательную победу. И любой спасенный им кустик воспринимал как вклад в перспективное торжество разума.

Мария Семеновна знала, что одолеет. На ее стороне было убеждение в правоте и поддержка коллектива. Она сама любила смотреть фильмы о том, как лесники спасают леса и ловят браконьеров, а раскаявшиеся архитекторы отказываются от грандиозных проектов, могущих погубить озеро или реку. Она сочувствовала лесникам и архитекторам. Но это ее душевное настроение не имело никакого отношения к двухсотлетнему дубу, который был свидетелем наполеоновского нашествия.

— Снесу, — сказала она. — Пора кран ставить.

В отчаянии Кротов решил установить дежурство у дуба. Для этого он принес на стройку складной стул, толстую книгу и термос. Когда Мария Семеновна увидела его, она резко выразилась, а потом засмеялась.

— Простудишься, — сказала она.

При всем презрении к Кротову она уже начала к нему привыкать, как привыкают к тараканам.

— Я не уйду, — сказал Кротов, запахиваясь в плащ, потому что и в самом деле был склонен к простуде, а августовские ночи прохладны, — пока вы не поставите свой башенный кран так, чтобы не повредить дубу.

Было тихо. Птицы, которые жили в ветвях великана, прислушивались к каждому слову. Несмотря на то что они уже вывели птенцов и отпели свои песни, потеря жилища их пугала.

— Ладно, — сказала Мария Семеновна почти миролюбиво. — Добьюсь я постановления о ликвидации дуба в порядке исключения.

— Я вас предупреждаю! — закричал Кротов озлобленно. — Даже если вы сможете ввести в заблуждение чиновников и получить такое разрешение, я все равно буду стоять как скала и погибну, если надо, с этим деревом.

Мария Семеновна охарактеризовала Кротова коротким словом и ушла на день рождения к своей подруге.

Ночью поднялся ветер. Низкие тучи неслись над городом. В любой момент мог пойти дождь. Кротов ежился на стуле.

В три часа ночи пришла его мама. Как и можно предположить, Кротов не был женат, жил вдвоем с мамой, которая его любила и опасалась, что он простудится. Мама принесла еще один термос с чаем и одеяло, чтобы накрыть

ноги. Она предложила Кротову сменить его, но он категорически отказался. Маме было семьдесят лет, и у нее был артрит. Мама не стала больше спорить. Она сама воспитала сына в уважении к справедливости и любви к природе, что сильно мешало Кротову в жизни.

Утром рабочие, пришедшие на стройку, увидели Кротова под дубом. Многие смеялись, некоторые даже были склонны к сочувствию, но не выражали его. По простой причине: все они понимали, что сила на стороне Марии Семеновны и окончательная победа также принадлежит ей. А ведь обреченным не принято выражать сочувствие. Каким бы ни было их дело благородным. Главное, что оно безнадежно.

В тот день Марии Семеновне, хоть она положила на то немало трудов, не удалось добиться разрешения спилить дуб. Бывает и такое. Она заподозрила, что Кротов куда-то сбегал, с кем-то поговорил, кого-то убедил. Ведь человек, сидящий в высоком кабинете, порой склонен употребить власть в защиту справедливости и экологии, так как он не несет ответственности за выполнение плана Марией Семеновной. Она уж как-нибудь извернется.

Пришлось Марии Семеновне изворачиваться.

Два дня она надеялась, что Кротов не выдержит и простудится. Или спрячется дома от дождей. Когда этого не произошло, она попыталась не допустить его на стройку. Тогда Кротов устроился под забором и всю ночь глядел на дуб через щель.

Это вызвало в Марии Семеновне страшный гнев. Она даже взяла железный прут арматуры и хотела побить Кротова, но в последний момент передумала и пошла на необычный для себя шаг: отправилась к нему домой поговорить с мамашей.

Разговор с мамой Кротова приводить нет смысла, потому что он был в значительной степени повторением ее разговора с самим Кротовым. Выйдя от мамы, Мария Семеновна уже на улице повторяла на разные лады ее последние слова: «Я горжусь своим сыном, горжусь тем, что воспитала гражданина».

На четвертый день, находясь в полном отчаянии, про- раб вызвала к себе Стукина. Стукин был не лучшим рабочим стройки. Он был склонен к выпивке и хулиган-

ству. Он был ленив. Но у него было одно достоинство, которое в тот момент устраивало Марию Семеновну. Стулкин был страшно корыстолюбив.

И Мария Семеновна дала ему двадцать пять рублей за соучастие в операции «дуб».

Ночью, когда мелкий дождик дробно стрекотал по мостовой и рябил лужи на стройплощадке, некая темная фигура подошла к дубу и начала производить возле него шум.

Кротов сразу вскинулся, прижался к щели в заборе и громко начал спрашивать:

— Эй, что там такое? Я сейчас вызову милицию.

Крики Кротова гасли в дожде, но черная фигура неверной походкой начала удаляться от дуба. Кротов еще долго стоял, прижавшись к забору, но ничего более плохого не произошло.

Тогда он вернулся к своему стулу, отвинтил крышку термоса и налил себе в крышку горячего чая.

Если бы он не был столь взволнован и утомлен, он, может быть, заметил бы, что термос стоит совсем не там, где он его оставил. И что вкусом чай несколько отличается от обычного. Но ничего он не заметил и не догадался, что за те минуты, пока он стоял, прижавшись носом к забору, Мария Семеновна подсыпала в чай снотворного.

Вскоре необоримый сон одолел Кротова. Ему показалось, что он задремал лишь на секунду, но, когда он проснулся, оказалось, что уже утро, на стройке шумят рабочие, а мимо проезжают автомобили и прохожие с удивлением глядят на человека, спящего на стуле, прильнувшему к забору.

Предчувствуя неладное, Кротов кинулся на стройплощадку.

Там, возле дуба, стояла Мария Семеновна. Лицо ее было скорбным и суровым. Увидев Кротова, она пошла к нему навстречу, широко разводя крепкими руками.

— Ты чего ж! — кричала она. — Ты чего ж не досмотрел? Государство поручило тебе охранять природу. А как ты ее охраняешь?

— Что случилось? — с замиранием сердца хрипло спросил Кротов, спеша к дубу.

— Вот и стучилось! — отвечала Мария Семеновна. — Дуб почти спилили!

И в самом деле, толстый, в два обхвата ствол дуба был перепилен на шесть седьмых. Вокруг лежала куча опилок.

— Проспал? — укоризненно спросила Мария Семеновна. — Сколько его пилили? Всю ночь пилили? А ты книжки читал? Я на тебя напишу!

— Ваша площадка! — закричал Кротов, не скрывая слез. — Ваши дела! Вы его убили! Человечество вам этого не простит! У вас руки в крови!

— Ну, это ты брось, — отвечала Мария Семеновна. — Руки у меня чистые. Я к этому не имею отношения.

Те люди, которые видели эту сцену, не улыбались, потому что горе Кротова было велико. К тому же все вдруг поняли, что дуб и в самом деле коварно и подло убит.

— Я этого не делала, — твердо сказала Мария Семеновна, не в силах скрыть внутреннего торжества. — Да и кто будет его пилить? Может, мамаша твоя пилила, чтобы ты не простудился?

Кротов молчал. Он стоял возле дерева, смотрел на глубокую рану и понимал, что великан, переживший нашествие Наполеона, уже никогда не распустит своих листьев и не зашумит под ветром.

Птицы, поняв, что их дом погублен, уже перелетали на другие деревья.

— Грянет, — произнес Кротов с глубоким внутренним убеждением. — Будет возмездие. Есть справедливость на свете! Все, кто здесь стоит, вы слышите мои слова?

И люди начали отступать. На Руси всегда существовало определенное отношение к юродивым и предсказателям — их слушали с трепетом. Даже цари.

Только Мария Семеновна, чувствуя себя победительницей, не отходила от дуба.

— Ну что, — спросила она шепотом, чтобы никто не слышал, — сберег ты свои дрова?

Подул ветер. Он становился все сильнее, словно сама природа негодовала на преступление.

Под свистом бури персонажи этой маленькой трагедии казались преисполненными значения подобно греческим трагедийным героям. Громко хохотала Мария Семеновна и как статуя стоял, подняв осуждающий перст, Кротов.

И в этот момент под ударами ветра дуб начал креститься.

Скорость его движения все возрастала, оглушительный треск потряс стройплощадку.

Дуб тяжело рухнул на землю, отчего по ней прошла дрожь.

Могучая зеленая крона скрыла под собой не успевшую отбежать Марию Семеновну, словно волны океана поглотили ее.

Эта история стала известна в городе. Рассказывали многое. Некоторые говорили, что ее убило стволом великана, другие утверждали, что возмездие приняло совсем уж странную форму: когда дерево распилили и подняли, оказалось, что никаких следов от Марии Семеновны нет. Она пропала бесследно.

Такова сила слухов. Таково внутреннее желание справедливого возмездия, которое живет в народе.

На самом же деле, когда грохот утих, Мария Семеновна с трудом выбралась из ветвей дерева. Она была поцарапана, но в остальном невредима. Возмездие ограничилось моральным воздействием.

Не сказав ни слова, она ушла с площадки.

На следующий день Мария Семеновна взяла расчет и перевелась на Крайний Север, хотя у нее была квартира в Москве.

Строительство продолжалось своим ходом. Пень от дуба стоит как раз рядом с рельсами, по которым ходит башенный кран.

Порой постаревший Кротов приходит туда, сидит на пне и смотрит, как растет дом.

1982 г.

ПОРА СПАТЬ!

Лизочка вошла в спальню средней группы, держа под мышкой сразу три книжки.

— Ура! — закричал Петя. — Будет настоящее чтение.

— Ничего подобного, — сказала Лиза. — Через пятнадцать минут отбой, и все будут спать. Завтра рано вставать.

— Конечно, завтра рано вставать, — сказал рассудительный Артур.

— Ну и пускай, — тихо сказал Гарик.

Лизочка хотела сесть за свой столик, но села на край кровати Гарика.

Пупс (это прозвище, а на самом деле его звали Сеней), у которого болел живот, крикнул со своей кровати:

— Это нечестно, мне не будет слышно!

— Если будете вести себя хорошо, все услышат. Мы сегодня...

Лиза сделала паузу, как в настоящем театре. И постепенно даже самые шумные замолкли.

В комнате стояло двадцать кроваток. Три кровати были пустыми. Завтра днем их заселят новыми детьми. Большая лампа висела над центром спальни, где и стоял столик ночной нянечки. Когда дети заснут, лампу можно потянуть за шнур, опустить к самому столу, и свет ее не будет мешать детям.

В комнате стало очень тихо. Так тихо, что все услышали, как Пупс, у которого болел живот, слез с кровати и выдвинул из-под нее свой ночной горшок. Кто-то засмеялся, а Пупс молчал.

Лиза сказала:

— Я прочту вам про Красную Шапочку.

— Я не хочу, — сказал Гарик. — Я спать не буду.

— Он боится! — крикнул Пупс с горшка. — Он струсил.

— Серый волк ее съел, — упорствовал Гарик. — И она умерла.

Лиза отвернулась от Гарика, потому что у Гарика были очень печальные глаза. Как раньше говорили, подумала она, «не жилец»? Гарик так старательно избегал упоминаний о смерти, даже в сказках, как будто он уже дорос до понимания ее.

— А потом пришли охотники, — сказал оптимист Петя, — и вынули всех из живота.

— Это чтобы дети не плакали, — сказал Гарик. — На самом деле она уже была мертвая.

— А я хочу читать про войну, — сказал Рубенчик. — Как наши победили.

— Детских книжек про войну не бывает, — сказал Пупс с горшка. — Я забыл подтирку. Тетя Лиза, дайте мне подтирку.

Лиза поднялась, вытерла попку Пупсу и вынесла горшок. Из туалета она услышала, как в комнате поднялась возня. Она поспешила обратно. Ничего особенного. Подрались близнецы Витя и Митя. Еще вчера Витя отнял у Мити марку. И вообще эти близнецы всегда дрались. Все смотрели на них и смеялись. Лиза растащила драчунов и отнесла их на постельки.

— Я буду читать про мальчика-с-пальчика, — сказала она.

— Мы это слышали, — сказал Петя. — Мы наизусть знаем.

Но все остальные стали кричать:

— Мальчика-с-пальчика! Мы хотим мальчика-с-пальчика!

И Лиза стала читать сказку.

Когда она кончила, многие уже заснули — устали за день. Но Лиза все равно дочитала сказку, потому что, если бросить на середине, то те, кто слушает, подымут такой шум, что разбудят остальных. Она читала все тише и тише, как бы убаюкивая детей.

В дверь осторожно заглянул доктор Кротов. Доктор был здесь давно, он знал Лизу, кивнул ей и исчез. Только тихо шуршали по коридору его мягкие туфли.

Кончив читать, Лиза опустила лампу совсем низко, к самому столу. Она положила книжку на стол. Потом прошлась по комнате, поправляя одеяла. Пупс прошептал:

— Горшок далеко не отставляйте, ладно? Я еще пойду.

Гарик не спал. Он лежал на спине и смотрел вверх.

— Спать, Гарик, — сказала Лиза, кладя ему ладонь на лоб. Лоб был горячим. — У тебя жар?

— Нет, — сказал Гарик. — Посмотри на потолок, тетя Лиза. Там нарисовано.

Лиза поглядела. Было почти темно, на потолке были старые потеки сырости, из которых получались, если приглядеться, какие-то фигуры, как можно угадать фигуры в кучевых облаках.

— Когда я была маленькая, — сказала Лиза, — я тоже любила смотреть на потолок. И на облака.

— Они страшные, — сказал Гарик. — Они... — он постарался вспомнить трудное слово, — враждебные. Облака враждебные.

— Ну, это тебе кажется, — сказала Лиза. — Вон там, в углу, кролик. А над ним куст.

— Это не кролик.

— Ну, а кто же?

— Я не скажу.

— Мне можно сказать.

— Я не скажу. Мне страшно сказать.

— Почему?

— Он завтра придет.

— Гарик, давай поставим градусник.

— У меня нет температуры.

— Мы поставим градусник, и завтра ты останешься в постели.

— Не надо, — сказал Гарик.

Но Лиза принесла градусник и заставила Гарика его поставить.

— Какая температура? — спросил Гарик с надеждой. А может, Лизе показалось, что с надеждой. Может быть, она придумала, что Гарику страшно увидеть завтра то, что он угадал в мокром пятне на потолке.

— Тридцать семь и два, — соврала Лиза. На самом деле температура была нормальной.

— Это неправда, — сказал Гарик неуверенно.

— Лучше, если ты завтра лежишь в постели.
— Завтра доктор скажет: давай проверим. И температуры не будет.

Гарик повернулся на бок, отвернулся от Лизы.

— Спокойной ночи, — сказал он взрослым голосом. Будто был старше ее.

Лиза вернулась за свой столик. Она хотела писать письмо домой, маме. Но не писалось. Она сидела, смотрела на мальчиков, которые тихо дышали вокруг. Иногда она поднимала глаза, как бы проверяя, на месте ли мокрое пятно. Не движется ли оно. И ей казалось, что оно движется.

Утро было, как всегда, шумным. Мальчишки возились у умывальника, гремели ночными горшками, одевались. Лиза была так занята, что некогда было вспомнить о Гарике. Но потом вспомнила. Гарик был уже одет, он отлично умел сам одеваться. Он стоял в стороне.

— Я помню, — сказала ему Лиза. — Я скажу доктору.

— Не надо, — сказал Гарик.

Завтрак был хороший. Мальчикам дали по два яйца, по куску ветчины, какао со сливками. Им предстоял трудный день.

Лизе надо было убрать спальню, а потом она могла лечь спать. Обычно она не ездила провожать мальчиков, хотя ехать было всего десять минут на автобусе. Она увидела доктора Кротова и сказала:

— Может, Гарик сегодня останется дома? У него ночью была температура.

— А на вид он здоров, — сказал доктор Кротов. — Гарик, пойдی сюда.

Гарик послушно подошел. Кротов положил ему на лоб свою добрую мягкую ладонь.

— Все в порядке, — улыбнулся он. — Если что было, то прошло. И мы забыли.

— Мы забыли, — покорно сказал Гарик.

Тут вошел наставник дядя Коля. Наставник был новый, молодой, он всегда упорно глядел на Лизу. А вчера принес букетик полевых цветов.

— Мальчишки! — закричал он с порога столовой. — Вскочили! Побежали!

— Ура! — закричал Петя. — В атаку!

Все зашумели, вскочили со своих стульчиков и побежали толпой к выходу.

Гарик не побегал. Он подошел к Лизе и сказал:

— До свидания.

Неожиданно для самой себя Лиза сказала:

— Я приду тебя встречать.

— Спасибо, — сказал Гарик.

Лиза так и не заснула. Она легла на койку в своей комнатке и смотрела на потолок. Там тоже было сырое пятно. Но оно ни на что не было похоже. Просто пятно.

Сначала передавали последние известия. Известия были хорошие. Потом играла музыка. Лиза думала, какая тонкая шейка у Гарика. Кажется, что, если подует ветер, то уши станут как паруса и он полетит. Только шейка может отломиться.

Лиза вскочила. Был третий час. Мальчикам скоро возвращаться.

Она выбежала из дома, схватила чей-то забытый у входа велосипед и помчалась встречать мальчиков.

Доктор Кротов увидел ее издали. Он сидел у открытой двери медмашины и курил, глядя на кучевые облака.

— Ты чего? — спросил он. — Волнуешься?

— Как-то одиноко стало...

— А знаешь, я гляжу на облака, это очень интересно. Они похожи на разных животных.

— Зря я отпустила Гарика, — сказала она.

— Он был совершенно здоров, — сказал доктор. — Мы не можем всех жалеть. А кто нас пожалеет?

Лиза вдруг увидела, что по краю поля растут те самые цветы, что ей приносил молодой наставник. И тут же увидела его. Дядя Коля шел от диспетчерской, нагибаясь и срывая цветы. Он рвал цветы для нее.

В небе появились черные точки.

Почти мгновенно они превратились в рой перехватчиков.

Наставник поднял голову, губы его шевелились. Он считал машины.

Перехватчики, похожие на бумажные стрелки, которые складывали мальчишки в спальне, один за другим

падали на посадочную полосу. Их вели приборы из пульта управления. Мальчикам не надо было ничего делать. Мальчикам вообще не надо было почти ничего делать. Только нажимать на кнопки, когда появлялся враг. Или кидать машину на таран, если враг угрожал проникнуть в чистое небо над городом. Мальчики с наслаждением играли в эту игру. Они не знали смерти и не боялись ее. Хотя порой случались исключения. Как с Гариком.

Как-то Лиза смотрела документальный фильм про своих мальчиков. Они бросались на громадные ракеты, на крейсеры врага, как взбешенные осы. Они сгорали, крича: «Урра!»

Правда, пока еще не наладили производство специальных кабин для пятилетних, приходилось тут же, на базе, переделывать кресла и варить консоли для приборного щита. Техники ворчали. Но делали. Все любят детей. На всякий случай на базе работали только бездетные.

Пупс первым увидел Лизу и кинулся к ней, на ходу снимая шлем.

— Тетя Лиза! — закричал он. — Я «кентавра» сбил! Все видели.

Потом подошел Рубенчик.

— А сегодня какая сказка будет? — спросил он.

— А где Гарик? — спросила Рубенчика Лиза.

— А одна штука полетела за ним. — сказал Рубенчик. — Он от нее. Вжжжик! — Рубенчик показал, как штука летела за Гариком.

Другие мальчишки смеялись.

— А он успел развернуться и в нее! Бах!

— Тетя Лиза, а можно я возьму Гарикиных солдатиков? — спросил деловито Петя.

— Можно, — сказала Лиза и посмотрела на доктора Кротова.

Доктор стоял, склонившись к близнецу Вите, и смазывал ему зеленкой царапину на щеке. Он почувствовал взгляд Лизы и сказал:

— Наверное, ты была права. Лучше бы он сегодня отлежался в казарме.

ВСТРЕЧА ТИРАНОВ ПОД РОВНО

Суус шел впереди. Он был в длинной белой бурке генерала Скобелева, из-под которой выглядывал, цепляясь за траву, конец казачьей шашки. Он насвистывал марш конногренадеров. Настроение было чудесным. А какое еще может быть настроение у дипломника школы десантников, которому удалось сбежать с квантовой механики именно в такой светлый и яркий весенний день?

Хил топал сзади, вращал острым носом, словно дулом бластера, ожидая засады коварных смугляков. На шее у него болтался вырезанный из пластика и покрашенный тушью Железный крест.

— А ну держитесь, злобные турки! — зарычал Суус и принялся размашисто рубить шашкой крепкие прямые стебли грутисов. Желтые гроздья щедро сыпались на бурю весеннюю траву.

На секунду солнце заслонила тень орбитальной станции Всеобщих искусств. Видно было, как точками на фоне ослепительно синего неба к ней слетались флаеры и питекоры. Через час начнется симфонический концерт гармонического совершенства.

— Ну и тоска! — вдруг сказал Суус. — Все сделано, все совершенно, все рассчитано! Скорей бы улететь отсюда — и за дело.

— Ты знаешь, что ждет нас сегодня после высококалорийного ужина? — усмехнулся Хил.

— Нечто ужасное?

— Будем разбирать роковой поступок двух мальков из подготовительной секции, которые умудрились истоптать клумбу у видеотеки.

— И тем нарушили экологический баланс нашего сада, — с преувеличенным отвращением в голосе простонал Суус.

Они сели на краю заброшенного шоссе. Между бетонных плит пробивались мягкие иглы рюсы.

— Хорошо, что в Галактике еще столько всего не сделано, — сказал Хил. — На наш век хватит.

— Представляешь, — Суус расстелил на траве белую бурку и лег на нее, глядя в небо, — встретимся мы с тобой лет через сорок—пятьдесят. Космические волки...

— Вершители.

— Носители справедливости!

— Высшей справедливости.

— Гармонии мироздания!

— Облеченные тайным знанием высшей цели!

И оба расхохотались и принялись тузить друг дружку под шум двигателей слишком низко летевшего рейсового капсюль-модуля «Экватор—полюс»...

1

Третий день лил дождь.

Капли срывались с осиновых листьев, и те, сбросив тяжесть холодной воды, вздрагивали и распрямлялись.

У лесного аэродрома партизан не было. Когда они кончили расчищать поле и утрамбовывать кочки, их под конвоем десантной группы СМЕРШ увели в чашобу. Там, в землянках, они будут ждать. Может, еще понадобятся.

В двадцать три сорок, с опозданием в две минуты, послышался гул моторов.

Солдаты, сидевшие, сгорбившись, под плащ-палатками, у костров, подчиняясь засверкавшему из-под старой ели фонарику, плеснули на дрова бензином и зажгли костры.

«Дуглас» вышел низко из-за вершин и сразу пошел на посадку.

Еще минуту или две можно было слышать над головой жужжание истребителей сопровождения.

Винты «дугласа» еще вращались, когда на поляну выбежали, рассыпаясь веером, тени солдат из спецгруппы.

Люк «дугласа» открылся, из самолета на мокрую траву упал овал тусклого желтого света.

Трап звякнул об округлый борт и прижал траву.

Человек, появившийся вслед за пилотом в люке, остановился, вглядываясь в темноту.

— Все в порядке, — сказал майор.

И его слова были заглушены очень громким в этой тиши треском мотора немецкой трофейной танкетки.

В танкетке было зыбко и зябко. Очень трясло.

Сталин долго старался раскурить трубку, но спички гасли.

Майор, сидевший рядом, тщетно старавшийся не дотронуться плечом, протянул зажигалку, сделанную из винтовочного патрона.

Сталин молча взял ее, но курить расхотелось.

— Сколько ехать? — спросил он.

— Сейчас будет дорога, — ответил майор.

Танкетка задрала нос, влезая на насыпь. Сталин навалился на майора. Он ничего не сказал, но майор ответил:

— Ничего.

— Сигналят, — сказал водитель танкетки.

Танкетка замерла.

— Это они? — спросил Сталин.

— Две вспышки. Одна. Еще две. Они, — сказал майор.

Сталин молча потянулся к люку.

Майор помог открыть его. Ему хотелось что-то сказать. Он с трудом сдерживался.

— Не волнуйтесь, — сказал Сталин. — Ждите, как условлено. Я буду через два часа.

Сталин прошел несколько шагов к темному пятну на серой мокрой дороге. Остановился. Достал из кармана плаща зажигалку майора. Но закуривать снова не стал. Спиной он чувствовал взгляд и страх майора.

У низкого черного «мерседеса» стояли люди в черных блестящих плащах. Блеском плащей и неподвижностью они казались продолжением машины.

Один из них ловко и даже щеголевато распахнул дверцу.

Сталин не смотрел в их лица.

Дверца захлопнулась.

«Мерседес» сразу заурчал. Сталин отметил про себя, что рессоры у «мерседеса» лучше, чем зисовские.

Ехали минут сорок. Рядом со Сталиным сидел офицер в блестящем плаще. Длинные тяжелые кисти рук лежали смирно на коленях. Сталину был виден циферблат его часов с зеленоватыми фосфоресцирующими цифрами.

Один раз пришлось остановиться у пропускного пункта.

Человек рядом с водителем опустил стекло, и сразу стало свежо. Он сказал пароль. Сталин не прислушивался.

Когда доехали до места, у Сталина затекла нога. Выйдя из «мерседеса», он чуть не вскрикнул от неожиданной боли. Пошатнулся. Офицер в блестящем плаще успел подставить ладонь, и Сталин оперся на нее. Перед глазами оказались петлицы офицера. Блеснули кубики. Сталин подумал, что надо будет по возвращении ознакомиться со знаками различия СС. Хотя эта информация вряд ли пригодится.

Гитлер встретил его на лестнице бункера.

Дверь сверху звякнула, двигаясь в стену.

— Здесь никого нет, — сказал Гитлер. — Только мы с тобой. Раздевайся. Дай я тебе помогу.

Гитлер повесил плащ Сталина на вешалку из оленьих рогов.

Стены в бункере были серые. Посреди низкой длинной комнаты без окон стоял стол, на котором лежала большая оперативная карта.

— Мой Шапошников отдал бы полжизни, чтобы поглядеть на это, — сказал Сталин.

Они обнялись. Гитлер изменился за те месяцы, пока они не виделись. Под глазами мешки, щека дергается.

— Ты тоже не помолодел. — Гитлер угадал мысль Сталина. — Иди сюда.

Они прошли в следующее помещение. Там стоял черный кожаный диван и несколько кресел. На низком столе странное сочетание: бутылки вина, сока, молоко в хрустальном графине.

— Ухаживай за собой сам, — сказал Гитлер. — Тут есть твое вино.

— А ты все такой же трезвенник? — спросил Сталин.

— Мне надо бы подлечиться, — сказал Гитлер. — Здесь не врачи, а костоправы. Кликуши какие-то.

— Потерпи, — сказал Сталин.

Он налил полный бокал киндзмараули. Он все еще никак не мог согреться. В бункере было тепло, но холод путешествия вьелся в кости.

— Как добрался? — спросил Гитлер.

— Нормально. Даже вздремнул в самолете.

— На «дугласе» летел? — спросил Гитлер.

— Да.

— Тебя засекли, — сказал Гитлер. — Мне доложили. Хорошо, что сначала доложили, а потом хотели сбить.

— У меня были неплохие истребители, — сказал Сталин. — Асы.

— «Яки»?

— Это военная тайна, — улыбнулся Сталин.

Теперь можно было закурить.

Гитлер поморщился.

— Ты и табачного дыма не выносишь?

— Это вредно, — сказал Гитлер.

— Мы стареем, — сказал Сталин. — Как наши?

— Я почти никого не вижу, — сказал Гитлер. — Была депеша Ямамото. Он недоволен Макартуром.

— Я еле отговорил Мацуоку, — сказал Сталин, — ударить по Дальнему Востоку. У него странные идеи.

— А ты не задумывался, — сказал Гитлер, — как образ жизни, повседневное окружение нас переделывают? Мы начинаем всерьез относиться к своим обязанностям.

— Ко мне это не относится, — сказал Сталин.

— Правильно, пускай этим занимаются аналитики дома, — сказал Гитлер.

— Я страшно стосковался по дому, — сказал Сталин.

— Осталось три года. — Гитлер осторожно налил из графина в стакан молока. — Здесь молоко хорошее. Коровы едят лесные травы.

— Тебе три. Мне, вернее всего, куда больше. Боюсь, как бы не все десять.

— Я вернусь, постараюсь тебя вытащить, — сказал Гитлер.

Они прошли в большую комнату, к столу.

— Я не согласен с центром, — сказал Сталин. — Поэтому и просил тебя о встрече.

— Я понял, — ответил Гитлер. — И даже подозреваю, о чем будешь просить.

Сталин постучал трубкой по середине карты.

Искра упала на карту, и Гитлер быстро смахнул ее на пол.

— Это Сталинград, — сказал Сталин. — Я тебе его не отдам.

— Но в центре полагают, что ты должен остановить меня у Урала, — заметил Гитлер.

— А сам ты что думаешь?

— Эгоистически я с тобой согласен, — сказал Гитлер. — Взятие Сталинграда продлит войну еще на полгода. Значит, я на полгода позже буду дома. А я боюсь, что просто не доживу.

— Эгоистически, — повторил Сталин. — Сейчас речь идет не о твоём эгоизме, Хил, мой мальчик.

— Каковы твои аргументы?

— Мы выполнили демографические требования центра, — сказал Сталин. — Я сам просчитал недавно: начиная с 1914 года Россия потеряла пятьдесят миллионов человек, почти половину населения.

— Русские быстро плодятся, — сказал Гитлер.

— Ты тоже внес свою лепту.

— Не намного больше, чем планировалось.

— Им хорошо сидеть у компьютеров, — сказал Сталин с неожиданной горечью. — Страна дошла до предела! Когда мы планируем уничтожение в Японии самурайства и раскидываем японский офицерский корпус, как носитель генетики самурайства, по островам Тихого океана, чтобы истребить его руками Макартура, я вижу в этом четкую задачу прогресса. Когда мы катастрофически ослабляем Россию, понимая, что в ином случае она станет угрозой дальнейшему развитию земной цивилизации, что она сожрет западные демократии, я иду на это. Когда мы подрываем и уничтожаем германский милитаризм, устраивая первую мировую войну, поощряя фашизм, кидая твои армии в мясорубку, мне тоже ясна логика центра. Но сейчас наступил перебор. Уничтожение моих армий под Сталинградом, ликвидация населения в Поволжье и Закавказье уже не дают прогрессивного эффекта. Не исключено, что твои армии дойдут до Урала и Средней Азии, а

ведь именно туда мы отправили те умы страны, что пригодятся для будущего...

— Юпитер, ты сердисься, значит, ты не прав, — тихо сказал Гитлер. — Человек не в состоянии соревноваться с компьютером. Этому нас, мой Суус, учили в школе. Ты стал с возрастом сентиментален. Боюсь, что ты стал отождествлять себя со страной, куда тебя кинули. Ведь порой приятно быть кумиром, живым богом, признайся.

— Я недавно видел хронику. Ты на трибуне. Гадкое зрелище. Ты буквально беснуешься.

— Видишь, я задел тебя за живое, — сказал Гитлер. — Выпей молока. Здесь коровы едят лесные травы.

— Ты повторяешься.

Сталин смотрел на карту.

— Это удивительная и страшная планета, — сказал Гитлер. — Будь моя воля, я бы снял ее со списка прогресса. Пускай они сами себя сожрут. Чего стоит этот болезненный культ тиранов! Чем больше людей ты уничтожаешь, тем больше тебя воспевают.

— В этом отношении ты по сравнению со мной мальчишка.

— Может быть. Поэтому и трубы в честь тебя гремят громче.

Они стояли и смотрели на карту.

Потом Гитлер сказал:

— Тебе пора.

— Ты когда свяжешься с центром? — спросил Сталин.

— Сегодня ночью, — сказал Гитлер. — И я поддержу твою просьбу. Мне так хочется домой...

Гитлер проводил Сталина до лестницы.

— Помнишь, мальчишками мы мечтали о подвигах и боях?

— Мы тогда не знали, как пахнут реки крови, — сказал Сталин.

— Но мы делаем великое и благородное дело, — сказал Гитлер. — Когда-то, достигнув гармонии, земная цивилизация воспевает нас... уже не как тиранов.

— Трудно, — сказал Сталин.

— Я поддержу твою просьбу.

Сталин вышел под дождь. «Мерседес» стоял у самого

входа в бункер. Плащ не успел высохнуть, и от него было холодно и гадко.

Далеко-далеко под невидимыми сквозь тучи звездами нарастал смутный гул.

«СБ» идут, подумал Сталин. Я вчера приказал совершить налет на Берлин и почти забыл об этом. А они идут.

Немецкие офицеры замерли, глядя в небо.

Уже в танкетке, возвращаясь к партизанскому аэродрому и отворачиваясь от майора, которого вдруг одолел кашель, Сталин вспомнил, что надо бы увеличить пайки писателям, эвакуированным в Чистополь. Но за делами он все время об этом забывает. Впрочем, если те писатели вымрут, найдутся другие. В сущности, это мелочь.

2

Они сидели на краю заброшенного, забытого шоссе. Между старых бетонных плит росли кусты рюсы. В лучах закатного солнца вспыхивал искоркой высоко летящий питекор.

Суус сорвал травинку и принялся жевать ее.

— Знаешь, о чем я тоскую? — сказал он. — О глотке грузинского вина.

— Не могу разделить твоей тоски, — сказал Хил. Здоровый образ жизни и несколько удачных операций сдалали свое дело. Он казался куда моложе, чем тридцать лет назад, осенью 1942 года по христианскому летоисчислению, в бункере под Ровно. — Мне мысли о той планете отвратительны.

— Я знаю, почему, — сказал Суус, поглаживая седые усы — он не смог отказаться от них, вернувшись домой. — Потому что ты потерпел поражение. Помнишь, ты укорял меня за то, что я начал на каком-то этапе ассоциировать себя с социумом, которым я руководил?

— Не в поражении дело. Мне всегда был гадок строй, который я вынужден был создать, и маска, которую я носил.

Хил лег на спину и, прищурившись, смотрел в яркое синее небо.

— Может быть, — сказал он после паузы, — виной тому страх. Страх смерти в апреле сорок пятого.

— Наши тебя еле успели вытащить, — сказал Суус. — А какие новости с Земли?

— Ты знаешь.

— Знаю. Но думаю, что мы делаем ошибку.

— Нет, я разделяю позицию центра.

— Но столько усилий! Столько жертв! Если я не ошибаюсь, там за эти годы погибло шестнадцать наших с тобой коллег.

— Семнадцать, — сказал Хил.

— Такие жертвы — и все впустую! Нет, контакт прерывать было нельзя!

— В нашем большом деле бывают ошибки, — сказал Хил. — Если цивилизация генетически тупиковая, дальнейшие жертвы бессмысленны.

— Значит, мы плохо с тобой работали.

— Мы с тобой хорошо работали, — ответил Хил. — Мы отдали Земле лучшие годы жизни. Мы старались...

— По расчетам центра, когда они себя уничтожат?

— Через двадцать лет...

— Черт возьми! — сказал по-русски Суус. — Полжизни за бокал киндзмараули!

— Тебе надо показаться психиатру, Суус, — сказал наставительно Хил.

1986 г.

ЕДИНАЯ ВОЛЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Настоящие записки относятся к последнему году жизни Леонида Ильича Брежнева. В то время их публикация была совершенно исключена: система гробового умолчания и всеобщей добровольной амнезии работала без сбоев. Половина Красноярской области могла провалиться под землю, но, если там не оказалось случайного интуриста, мы эту новость игнорировали. Об ашхабадском землетрясении я узнал через двадцать лет после гибели города, а об афганской войне — только с началом вывода наших войск. Раньше я полагал, что мы оказываем там бескорыстную помощь продовольствием и товарами ширпотреба.

Не знаю, что заставило меня зафиксировать на бумаге обстоятельства Великого голосования. Возможно, предчувствие кончины Генерального секретаря.

Я видел Кабину собственными глазами. В конце октября она спустилась на берегу Москва-реки возле Звенигорода, на территории академического пансионата. Опустилась на рассвете, без фанфар и фейерверков, между оранжереями, где выращивают розы и гвоздики для дружественных организаций, и спуском к лодочной пристани.

Кабина выглядела скромно и была похожа на цельнометаллический гараж. Ее крыша светилась, а стены были матовыми. Дверь закрыта.

Когда директор пансионата, разбуженный садовником, подошел к Кабине, он счел ее чьим-то хулиганством, постарался открыть дверь, но не смог.

Пока ждали вызванную милицию, Кабина начала вещать.

Она вещала, а мы, отдыхающие, окружили ее тесным кольцом.

Голос Кабины был глубоким, низким, без акцента.

«Жители Советского Союза, — говорила Кабина. — Мы, психологи Великого содружества галактических цивилизаций, проводим эксперимент, в котором просим вас принять участие. Наша цель — установить, кто из покинувших мир живых самый любимый и популярный человек в вашей стране. Через три дня, в двенадцать часов по московскому времени, все жители СССР услышат сигнал. Услышав, они должны мысленно произнести имя любимого человека. То лицо, которое наберет наибольшее количество пожеланий, оживет внутри этой кабины таким, каким оно было в момент кончины, но здоровым и жизнеспособным. Думайте, дорогие братья и сестры».

Голос Кабины был слышен не только на территории пансионата. Станным образом он звучал во всех уголках страны, в ушах каждого из многих миллионов моих сограждан.

— Провокация, — сказал директор пансионата.

Это была первая реакция на объявление. Остальные слушатели молчали. В тот момент еще никто не знал, что Кабина говорила для всего народа. Мы думали, что это объявление касается только нас. А так как в инопланетных пришельцев верить не принято, хоть и очень хочется, люди вокруг меня принялись недоверчиво и неуверенно улыбаться.

Примерно через полчаса на территорию пансионата приехали несколько военных грузовиков и три черные «волги». Поляну вокруг Кабины оцепили войска КГБ, а обитателей пансионата вывезли в Москву на специальных автобусах, где каждого допрашивали отдельно. Никаких дурных последствий для свидетелей не было, не считая того, что меня не пустили в туристическую поездку в Болгарию.

На следующее утро, по получении отчета от генерал-лейтенанта Колядкина, Политбюро ЦК КПСС собралось на заседание.

Председательствовал Леонид Ильич Брежнев, тогда еще живой.

Сначала выступал генерал-лейтенант Колядкин, который доложил, что Кабина замкнута, проникновение внутрь пока не осуществлено, хотя работает специальная группа. Материал изготовления на анализ не взят ввиду особой твердости. Начались работы по подкопу.

— Значит, ничего не сделали? — спросил Брежнев, обернувшись к Андропову, который уже не работал в КГБ, но Леонид Ильич об этом забыл.

— Спешка только повредит, — сказал Андропов. — У нас еще три дня.

— Что сообщают из Соединенных Штатов Америки? — спросил Брежнев.

— Добрынин телефонирует, — сказал министр иностранных дел Громыко, — что в США случился такой же феномен. Возле Нью-Джерси. Там обстановка массового психоза.

— Не исключена провокация, — сказал Черненко. — Они это умеют — кричат: держи вора! А сами воры.

— Важное замечание сделал Константин Устинович, — задумчиво сказал Брежнев. — Кто еще скажет?

— Есть информация из Пекина, — пожевав губами, сказал Громыко.

— Неужели у них тоже? — удивился Пельше.

— Официальных сообщений нет, но текст уловлен переводчиками нашего посольства. Содержание то же самое.

— Не исключена провокация, — сказал Устинов. — Предлагаю мобилизацию западных и Забайкальского военных округов.

— А что говорят наши ученые? — спросил Брежнев.

Ученых на Политбюро не пригласили. За них ответил Андропов:

— Я запросил информацию в Академии наук. Они относятся скептически. Утверждают, что в космосе жизни нет.

— Тогда продолжайте исследования, — сказал Брежнев. — А мы перейдем к другим делам. Я хотел бы, товарищи, сообщить вам о моих переговорах с товарищем

Машелом, который, как вы знаете, является руководителем Республики Мозамбик.

Политбюро перешло к насущным делам, но углубиться в них не смогло, потому что через полчаса каждый из членов Политбюро, как и каждый гражданин СССР, услышал повторное объявление Кабины.

Члены Политбюро в молчании выслушали объявление. Потом Брежнев сказал:

— Звукоизоляция в этом помещении ниже всякой критики.

— Примем меры, — сказал Черненко.

— Поздно, — сказал Брежнев. — Если мы слышим сюда, то кое-кто мог услышать нас отсюда.

— Очень точное замечание, — сказал Черненко.

Все помолчали. Потом Долгих осмелился прервать молчание:

— Есть сообщение из Новосибирска. Там тоже слышали.

— А что если это не провокация? — Брежнев медленно обвел глазами своих соратников.

— Не исключено, — первым поддержал Генерального Андропов, — что мы должны реагировать.

Решено было объявить перерыв на обед и лечебные процедуры.

После этого собраться вновь.

В эти минуты я ехал в Москву автобусом с затянутыми шторками окнами. Рядом со мной сидел профессор Евстигнеев из Института ихтиологии.

— Что вы об этом думаете? — спросил я.

Профессор был задумчив, очки съехали на кончик носа, словно норовили прыгнуть в верхний карман пиджака. От профессора пахло пылью и луком. Он был так похож на профессора, что было ясно — в науке он ноль. Науку двигают лишь те, которые на профессоров не похожи.

— У меня умерла жена, — сказал профессор и попытался отодвинуть пальцем шторку с окна, будто сомневался, в Москву ли нас везут.

— Гражданин, — окликнул его сзади лейтенант, — выглядывать не положено.

— Я вам сочувствую, — сказал я профессору.

— А вдруг это шанс вернуть ее?

Я поглядел на него с удивлением. Профессор, оказывается, поверил в силу Кабины.

— Я понимаю, — сказал профессор. — Каждый будет желать своего.

— Тогда у вас мало шансов, — улыбнулся я.

— Шансы есть, — сказал профессор. — Каждый человек, даже если не поверит, пожелает возрождения кого-то близкого. Каждый своего. А у меня есть некоторые сбережения.

— И что?

— Вот вы лично задумали, кого бы вам хотелось оживить?

Тут я понял, что не задумал.

— Может, Пушкина? — спросил я.

— Вы не женаты? Впрочем, вы еще молоды.

— Нет, я не женат.

— Если бы я предложил вам... — Профессор подхватил очки, которые ринулись вниз. — Скажем, пятьдесят рублей и сообщил имя моей жены. Ведь вам нужны деньги?

— Я бы сделал это и бесплатно, — сказал я. — Но шансов у вас — ноль.

— На книжке у меня четыре тысячи триста, — сказал профессор шепотом, приложив губы к моему уху.

— Разговорчики отставить! — сказал лейтенант сзади.

— А если я наберу двадцать человек? — сказал профессор быстро и отодвинулся. Глаз у него был птичий и пустой.

— Мне надо подумать, — сказал я.

— Шестьдесят рублей? — спросил профессор. — Больше я не могу.

— А если я возьму деньги и потом нечаянно подумаю о ком-то другом?

— Я не так наивен, — сказал профессор. — Вы мне

дадите расписку, что обязуетесь думать только о моей покойной супруге.

Идея профессора была наивной. Он того не знал, что в Пушкинском музее на Кропоткинской уже шло заседание комиссии, которая единогласно приняла постановление возродить Александра Сергеевича Пушкина.

В эти же минуты большая толпа шумела, даже плясала вокруг музея Сталина в Гори. Многие были убеждены, что скоро настоящий вождь вернется к жизни и наведет порядок в этой дурной стране.

Политбюро собралось вновь после обеда. Руководители государства были сыты, но взволнованны. Предстояли исторические решения.

— Сначала, — сказал Леонид Ильич, — слушаем сообщения из-за рубежа. Прошу вас, Андрей Андреевич.

Громыко пожевал губами и сказал:

— Вкратце. В США царит анархия. Телевидение проводит опросы общественного мнения. Начались бурные демонстрации.

— Минутку. — Брежнев жестом остановил оратора и обратился к Щелокову, которого специально пригласили на Политбюро. — Усиьте московскую милицию, — сказал Брежнев. — Поднимите академию, милицейские училища. Вы знаете, не мне вас учить. В столице должен быть порядок.

— Уже сделано, — позволил себе улыбнуться Щелоков.

— Чего хотят реакционные круги? — спросил Брежнев у Громыко. — И за что выступает прогрессивная общественность?

— Как всегда, картина противоречивая, — сказал Громыко. — Прогрессивная общественность на юге страны выступает за оживление негритянского лидера Мартина Лютера Кинга.

Брежнев подумал. Потом сказал:

— Помню товарища Мартина Лютера. Он много сделал для дела мира. На чем настаивает монополистический капитал?

— Обстановка полного раскола, — сказал Громыко. — У меня есть сводочка по процентам. На тринадцать ноль-ноль. На первом месте идет Линкольн.

— Как же, — сказал Брежнев, — знаю товарища Линкольна. Прогрессивный государственный деятель. Что в Китайской Народной Республике? Это нам не безразлично.

— Пекинское радио объявило о предстоящем возрождении Мао Цзедуна. Указывается, что это возрождение обеспечено мудрым предвидением лично товарища Мао.

— Маловероятно, — сказал Брежнев.

— Я думаю, что это дымовая завеса, — вмешался Кузнецов. — Влиятельные силы в КНР этого не допустят.

— Почему? — Брежнев ткнул карандашом в грудь Кузнецову. Заинтересовался.

— Там головы полетят. Все равно как если бы мы Сталина возродили. — Кузнецов помнил времена культа личности.

Он осекся от ощущения вакуума. Тишина наступила в комнате такая, словно все перестали дышать.

Молчали целую минуту. Смотрели на Брежнева.

— Нетактичность вы допустили, товарищ Кузнецов, — произнес наконец Брежнев. — Не ожидали мы ее от вас, пожилого человека. Ни на минуту коммунист не должен забывать, что у нас есть великий покойный вождь Владимир Ильич Ленин.

— Я же не призываю, — сказал Кузнецов, и его щеки пошли красными старческими пятнами. — Я хотел предложить именно Ильича.

— Если, — сказал Черненко, — все это не провокация.

— Вот именно, — поддержал его Брежнев. — А чья провокация, вы установили?

— Мало шансов, — сказал Андропов. — Хотя в данной ситуации я бы предпочел, чтобы это была провокация.

— Не понял, — вздохнул Брежнев.

— Если провокация, то кончится ничем. Если это не провокация, а, скажем, провокация в галактическом масштабе, то мы обязаны взять это событие под контроль и

обеспечить, чтобы народ единогласно пожелал именно того кандидата, которого изберет Политбюро. И мы должны принять соответствующее решение. — Голос Андропова звучал тихо, но твердо и угрожающе. Он стал похож на Берию, и, хотя сходство было только внешним, Брежнев внутренне поежился.

— Какое решение? — услышал Брежнев собственный глухой, запинаящийся голос и понял, что голос выдал его: не ему задавать вопросы. Ему принимать решения.

— Но вы же сами указали! — удивился Андропов.

— У человечества был только один гений, — сказал Черненко. — И Владимир Ильич нам нужен, правильно, Леонид Ильич?

Но Брежнев молчал. Никак не ответил Черненко, ни словом, ни жестом. Потому что на него снизошло понимание... Это была провокация. Это была гигантская, вселенская, может, даже галактическая провокация, направленная как лично против него, Генерального секретаря, так и против Советской державы в целом.

Устинов, не угадавший еще хода мыслей Генерального, подлил масла в огонь.

— По низовым коллективам, — сказал он, — и в некоторых воинских частях стихийно проходят собрания под лозунгом «Ленин с нами! Ленин вечно жив!» Предлагаю в этой обстановке поддержать начинание масс.

Раздались аплодисменты.

Брежнев молча поднялся и пошел к выходу.

От двери навстречу метнулись охранник и врач. Думали, что Генеральному потребуется реанимация. Но тот прошел мимо.

Меня отпустили домой под утро. Я возражал, говорил, что метро еще не ходит.

— На такси у вас найдется, — сказал мне майор, который снимал последний допрос. Он знал о содержимом моего бумажника.

Такси я не поймал. Шел пешком. Рассвет был ясным, но холодным. Последние листья лежали на мостовой.

Город жил странно. Словно началась Олимпиада. На каждом углу стояли милиционеры. По двое, по трое.

Возле райкома партии толклись, мерзли, переминались с ноги на ногу несколько пенсионеров унылого, но целеустремленного вида. Цепь милиционеров отделяла их от дверей райкома.

Когда я проходил мимо, один из пенсионеров в глухом черном пиджаке, увешанном значками дивизионных и армейских юбилеев, поднял костлявый кулак и тихонько воскликнул:

— Ленин вечно жив!

Милиционеры молчали.

Разумеется, понял я, возрождать будем Ильича.

У памятника Пушкину на Пушкинской площади, не смотря на ранний час, бабушки укладывали венок из живых астр.

Тогда-то, проникая в сознание каждому, снова возник голос Кабины. Текст был идентичен вчерашнему. Старушки распрямились, и одна громко крикнула:

— До встречи, наш гений!

Милиционер стал вежливо подталкивать бабушек к входу в метро.

Пожалуй, подумал я, стоило взять полсотни у профессора. Все равно его дело труба.

Политбюро собралось с утра.

Щелоков доложил о внутренней обстановке. Затем выслушали доклад Комитета государственной безопасности. Обстановка в стране была в целом спокойной, на местах ждали решений центра. Даже требовали решений, опасались упустить инициативу. В некоторых областях, предугадывая решение Политбюро, были приняты резолюции «Возвратим Ильича народу». Брежнев молчал. Затем Громыко зачитал телеграмму от левого крыла Лихтенштейнской партии труда, в которой, в частности, говорилось: «Надеемся, дорогой Леонид Ильич, увидеть Вас на трибуне Мавзолея в день парада в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции рядом

с Владимиром Ильичем Лениным, продолжателем дела которого Вы являетесь».

Брежнев открыл рот. Все ждали, что он скажет. Брежнев спросил:

— «Вы» там с большой буквы?

— Здесь все с большой буквы, Леонид Ильич, — ответил Черненко, опередив Громыко.

Еще помолчали. Надо было что-то предпринимать. Положение было куда более сложным, чем казалось на первый взгляд. Первое решение, столь единодушно поддержанное вчера, после ночных размышлений оказалось далеко не идеальным.

— Тут товарищи из Люксембурга... — начал Брежнев.

— Из Лихтенштейна. — нетактично поправил его Громыко, и Брежнев подумал, что Громыко слишком очевидно прочит себя в наследники. Но Андропов не пустит. Нет, не пустит. Брежнев, рассуждая так, не имел в виду собственную смерть — она была за пределами разумного. Но это не мешало рассуждать о наследнике.

— Тут товарищи из Люксембурга, — продолжал Брежнев, — выставляют меня на Мавзолей рядом с Ильичем. Нетактично это.

Андропов старался не улыбнуться. Но воображение предательски и явственно рисовало картинку — двое рядом. Один в кепке, другой в шляпе. Эта картинка была недопустима.

— А кто же будет в Мавзолее лежать? — спросил вдруг Кунаев. Вопрос был диким, именно такого можно было ждать от представителя среднеазиатской республики.

— В Мавзолее, — сказал тихо и твердо Андропов, который уже все просчитал и понял, — будет лежать Владимир Ильич Ленин.

— А на трибуне? — не понял Кунаев.

— На трибуне будет Леонид Ильич и, если обстоятельства не изменятся, вы тоже.

Поднялся одобрителный шумок. Все поняли, что Ильича возрождать не время. Черненко хотел сказать небольшую речь по этому поводу, но Кузнецов тихо положил

руку ему на локоть, и Черненко осекся. Любые лишние слова в этой ситуации грозили бедой.

— Требуется выдвинуть альтернативный лозунг, — сказал Андропов. — По моим каналам сообщили, что китайское руководство будет стараться оживить Сунь Ятсена.

— Знаю товарища Сунь Ятсена, — сказал Брежнев миролюбиво. Самое страшное было позади. Он снова был среди единомышленников, помощников и соратников. — Он много сделал для китайской революции. Это классик китайской революции.

— Классик? — произнес вслух Долгих. — Именно классик!

— Только не Сталин! — воскликнул Устинов. — Я с ним работал.

— Позаботьтесь, пожалуйста, — сказал ему Брежнев, — чтобы в Грузии все было тихо. Там у вас какой округ? Закавказский?

— Товарищи выполняют свой долг, — сказал Устинов.

Вечером перед программой «Время» диктор, не скрывая торжественной дрожи и придыхания в голосе, сообщил о решении Политбюро и Совета Министров: «Завтра в двенадцать ноль-ноль по московскому времени каждый гражданин Советского Союза выполнит свой партийный и человеческий долг. Каждый пожелает, чтобы после долгого могильного сна очнулся и приступил к исполнению своих обязанностей перед прогрессивным человечеством ведущий классик марксизма-ленинизма Карл Маркс».

В этот момент, когда прозвучало это сообщение, я сидел у Элеоноры.

Элла готовила кофе. Красные брючки так туго и нагло обхватывали ее ягодицы, что я вдруг понял, почему она всегда находится в состоянии бравого сексуального возбуждения.

— Ты слышишь? — закричал я. — Они выбрали Маркса.

— Слышу, — сказала Элла спокойно. — Не глухая.

— Но почему не Ленина? Почему? Народ их не поймет.

— Зачем им Ленин? — искренне удивилась Элла. — Что они с ним будут делать? Отчет ему представят, как просрали его светлые идеи?

— Элла, заткнись! — сказал я. — Ты ничего не понимаешь в политике.

— А ты в жизни. Я бы на их месте сейчас же закопала его так глубоко, чтобы ни один пришелец не докопался.

— А Маркс?

— Тебе надо объяснять? Маркс даже по-русски не сечет. Они ему Институт марксизма-ленинизма отдадут, дачу в Барвихе. Ему сколько лет было, когда он помер?

— Много.

— Вот пускай и доживает на персоналке. А еще лучше — передадут в ГДР. Пускай там ликует.

Элла была права, но тяжелое чувство несправедливости не оставляло меня. Все было не так, не ладно.

— Значит, в Америке будет Линкольн, у китайцев Мао, а нам немецкого классика?

— Голосов враждебных наслушался, — сказала Элла. — А они, как всегда, клеветают. Мы еще посмотрим, кто там у них возродится. А может, и никто. Если это блеф.

— Как так блеф?

— Космический блеф. Самый обыкновенный. Нас испытывают. Пей кофе и раздевайся. Мне сегодня в ночную выходить, забыл, что ли?

Элла — медсестра в психичке. Характер у нее жесткий.

Любовником я был в тот вечер никудышным. Элла была мною недовольна. Совсем не вовремя я спросил:

— А что если они, то есть мы пожелаем Ленина? Или Лермонтова?

— Ты можешь наконец не отвлекаться? — спросила Элла злым свистящим шепотом.

Потом, когда она одевалась, сказала:

— Пожелаете, как бы не так! Завтра же постановим. И даже репетиции проведем.

Она была права. Весь следующий день от края и до края бурлила наша страна.

Стихийные митинги были организованы на каждой фабрике, в каждом колхозе под лозунгами: «Маркс вечно жив!» Пионеры пели по радио написанную за ночь композитором Шаинским бодрую песню: «Том за томом «Капитал» Маркс нам снова написал!» с приветом: «Том девятый, том десятый дружно выучим, ребята!»

Нас тоже собрали.

Куприянов сказал, что творческое развитие марксизма получит мощный толчок, который позволит нам оставить далеко позади философские системы Запада. Новые веяния, отражающие заботу... и так далее. Представитель райкома прочел по бумажке закрытую разработку, в которой было самое главное. Там говорилось откровенно, что Политбюро и правительство внимательно изучили настоящий вопрос. Высказывалось мнение о возрождении к жизни всеми нами горячо любимого Владимира Ильича Ленина. Однако полученные по галактическим каналам сведения убедили партию и лично ее Генерального секретаря в том, что в случае удачного исхода первого возрождения Советскому Союзу будет предоставлено исключительное право повторить опыт. В свете этого и в глубоком убеждении, что партия не имеет права допустить малейший риск в отношении возрождения нашего Ильича, решено оживить вождя пролетариата только тогда, когда наука скажет со всей уверенностью, что это не причинит вреда его умственным способностям.

Не могу сказать, что я в это поверил, но многие поверили. Прямо не говорили, но давали понять, что в каждом новом деле возможна неудача. Неудача с Марксом — это беда. Неудача с Лениным — катастрофа.

Когда я шел с работы, памятник Пушкину был окружен цепью дружинников. Цветов перед ним не было. Музей Пушкина закрыли на учет. Ходили слухи, что в Гори произведены аресты. По улицам толпились люди, словно был праздник. Многие, особенно молодежь, шумели

ли и игнорировали милицию. По Метростроевской длинной колонной шли танки.

До утра так и не погасли огни в зданиях КГБ на Лубянке. Черные «волги» часто выскакивали с Дзержинской площади и, сделав визжащий круг вокруг монумента первому чекисту, неслись к Старой площади. Потом возвращались.

По настоянию врачей Брежнев провел ночь в реанимации. К нему был допущен только Андропов. Они коротали время за часом. Вспоминали эпизоды войны. О завтрашнем дне не говорили. Андропов заверил Генерального, что все меры приняты.

На следующий день по всей стране население собиралось в актовых и конференц-залах.

Гремела музыка. Пенсионеров и детей организовали в детских садах и красных уголках домоуправлений. На улицах остались только милиционеры и дружинники.

Без десяти двенадцать Кабина в последний раз повторила свое объявление. Без пяти двенадцать заревели гудки всех заводов и фабрик. Начался отсчет времени.

Иностранных корреспондентов в Звенигород не пустили. Сам город и окрестные леса были окружены танками.

Политбюро и генералитет находились в бомбонепробиваемом бункере, выкопанном на месте оранжереи. Брежнев смотрел в сильную подзорную трубу на закрытую дверь.

Без одной минуты в стране наступила гробовая тишина. Лишь шелкал метроном.

Потом было шесть коротких гудков точного времени.

И все репродукторы Советского Союза одновременно произнесли:

— Мы хотим, чтобы основоположник марксизма Карл Маркс ожил!

— Мы хотим... чтобы основоположник...

— Мы хотим...

— Я хочу, — мысленно произнес Брежнев. И не смог ничего поделать. В его уставшем от заседаний и недосыпа мозгу возник образ покойной мамы.

— Мама! — прошептал он.

Дверь в Кабину начала медленно отходить в сторону.

Андропов выхватил из рук офицера переносной пульт с кнопкой. Разумеется, он верил в единую волю своего народа, но на нем лежала ответственность.

Палец Андропова застыл над кнопкой.

В дверях кабины показался человек...

Андропов нажал на кнопку.

Раздался взрыв. Кабина приподнялась в воздух и, разваливаясь, рухнула на землю, погребая под собой певца Владимира Высоцкого. Его гитара отлетела в сторону и упала, почти целая, на жухлую осеннюю траву. Подкоп, сделанный заранее саперами Комитета и начиненный динамитом, исправил возможную ошибку. Прах певца Владимира Высоцкого захоронили во внутренней тюрьме КГБ.

Политбюро более не возвращалось к этому вопросу. Было лишь объявлено, что эксперимент закончился неудачей по техническим причинам за пределами Советского Союза.

Из китайской Кабины вышел Конфуций. Через месяц он умер от постоянного огорчения. В США Кабина подарила стране кинозвезду Мэрилин Монро. Она жива до сих пор.

А мы все забыли.

1986 г.



РАССКАЗЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Мы прожили семьдесят с лишним лет в стабильном государстве, стабильном, как Швейцария. Правда, правила игры в нем были иными, чем в Швейцарии, хотя лидеры нашей революции провели в Швейцарии лучшие годы, впитывая свежий воздух Альп и аромат горячих булочек.

Одним из основных правил нашей жизни была ее религиозная предопределенность: властям было известно все, что случится в будущем. Различие с любой религией заключалось в том, что нормальная религия обещает рай после смерти, а коммунизм — рай на Земле. То есть религия дарит тебе счастье индивидуально, даже если ты умрешь через пять минут, и масштабы счастья зависят от того, насколько ты хорошо слушался старших на этом свете. Коммунизм гарантирует счастье всем без исключения, кто доживет до неизвестно когда наступающего рая, то есть для ваших внуков и правнуков. И счеты с тобой будут сводиться на Земле, а не на том свете, даже если в рай ты и не стремишься.

Классическая утопия вовсе не была утопией, она не создавала образ идеального желанного общества на рельсах существующей религии и порядка, она придумывала нечто совершенно иное и даже крамольное. Недаром за утопии рубили головы, недаром самая знаменитая из русских утопий «Что делать?» писалась в каземате Петропавловской крепости. Все утопии, антиутопии, анти-антиутопии, придуманные фантастами, оказывались альтернативой существующему порядку вещей. Невозможно придумать утопию, которая описывала бы жизнь в раю с точки зрения религии. А вот советская фантастика придумала настоящую утопию — описание жизни в коммунистическом раю, где происходят конфликты лишь хорошего с лучшим, а страдают герои лишь

от недостатка творческого труда или невозможности немедленно отдать свою жизнь за идеалы. Сколько существовало счастливое социалистическое общество в нашей стране, столько фантасты делились на две категории. Одни воспевали коммунистическое будущее, другие старались эту задачу проигнорировать и хотя бы намекать на то, что фантастическая литература призвана говорить о проблемах общества, а не высасывать из пальца сказки о несуществующем счастье. Даже организационно фантасты делились на некие сообщества. В шестидесятые годы «неконформисты» группировались вокруг издательства «Молодая гвардия», где их опекала редакция Сергея Жемайтиса и его помощниц — Бэллы Ключевой и Светланы Михайловой. Вождями этих писателей — первой «новой волны» стали братья Стругацкие, которые, как самые талантливые и потому неудобные фантасты, подверглись наиболее яростным нападкам блюстителей коммунистических идей. В результате редакцию Жемайтиса разогнали и передали ее наиболее активным проповедникам коммунистических утопий, которые потребовали зарезервировать за ними право на публикацию любого фантастического произведения, чтобы никто не смел думать и сомневаться. Эти блюстители стали известны среди любителей фантастики как «молодогвардейцы» (не путать с героями Краснодона, так как издательство было создано задолго до войны и, вернее всего, получило имя в память о гвардейцах Наполеона), они прославились доносами в вышестоящие комсомольские и партийные органы, а наиболее ярые из них — клеветническими пасквилями, направленными против Стругацких.

Я вспоминаю о тех временах пятнадцатилетней давности, потому что отлично помню чувство бессилия перед коммунистической стеной, которая пропускала лишь гимны, а если разоблачения, то мистера Смита и мистера Брауна, чем занимались некоторые из моих коллег. И тогда казалось, что если бы когда-нибудь коммунизм чуть-чуть потеснился (о гибели его и мечтать не приходилось), если бы приподняли шлакбаумы бесконечных запретов, то мы бы все начали писать талантливые тома, в которых открыли бы глаза зем-

лякам на то, где они живут, что происходит и куда катится наша Родина.

И вот коммунизм рухнул. И сказано было: печатай что знаешь.

И читатели ринулись к Чейзу, Гаррисону, Картеру Брауну и Стивену Кингу, читатель выбрал себе в герои Шварценеггера и ван Дамма, фантастические журналы разорялись из-за отсутствия подписчиков, а издатели отворачивались от залежавшихся в столах и почти отважных опусов моих соотечественников.

Ситуация в нашей фантастической литературе изменилась: жизнь оказалась неожиданной любых придумок. Молодогвардейцы в массе своей совершили закономерный скачок от идеологии коммунизма к мистике и оккультным наукам и как литераторы сгнули, ибо ранее были сильны лишь монополией. Возникла немногочисленная, но буйная поросль подражателей «крутым» американцам, которые использовали в качестве литературного приема кулаки и бластеры. Я помню состояние, близкое к шоку, когда на прилавках появились первые опусы подобного рода: «Космическая проститутка» или создания Малышева и Петухова.

Куда сложнее оказалось тем, кто старался остаться писателями и еще вчера были убеждены, что родной народ только и ждет нашего правдивого и смелого слова.

Оказалось, что откровенное и смелое слово не так уж интересует читателя. Интерес к нему удовлетворялся публикацией документов и правдивых мемуаров о ГУЛАГе и сталинских казнях. В ящиках письменных столов фантастов было не так уж и густо. Впрочем, наконец-то были опубликованы две или три повести Стругацких, ранее малодоступные... А жизнь вокруг раскручивалась с такой бешеной скоростью, что уже через год-два самые фантастические предположения об эволюции нашего общества оказались наивным лепетом. Стабильность анти-Швейцарии обернулась фантомом. Ничего постоянного не осталось, а скрип и грохот рухнувшей империи заполнил окрестности ядовитой пылью.

Пока фантасты хлопали глазами, стараясь отыскать свою нишу в новом мире, их место заняли писа-

тели реалистического толка со склонностью к лаконичности фельетона, журналисты и драматурги. «Невозвращенец» Кабакова стал первой антиутопией нашего времени, но следующего шага Кабаков сделать не смог, как не одолели видений грядущей катастрофы реалисты Войнович и Айтматов. Пока что поток событий несется быстрее, чем фантазия писателей.

Наверное, надежды на будущее нашей фантастической революции следует связывать с поколением писателей, начавшим работать в переломные годы. Они не несут вериг советской Швейцарии и более раскованны. Но рассказы и повести, выходящие из-под пера Пелевина, Столярова, Рыбакова, Лазарчука, Лукьяненко и иных писателей средних лет, более тяготеют к вчерашним нашим мечтам о фантастике, нежели к литературе завтрашнего дня, которая должна в конце концов обогнать действительность, чтобы осознать ее тенденции и устремления.

В свете этих моих рассуждений я пытаюсь отыскать место собственным рассказам последних лет. Их общий недостаток — фельетонность, попытка создать притчу, анекдот, связанный с некими аспектами нашей действительности. Оказалось, что сделать решающее движение вперед куда труднее, чем гоняться за отдельными тараканами. И все же, на мой взгляд, некоторый прогресс в моих последних рассказах можно отыскать, хотя бы потому, что я пытаюсь сберечь основную функцию современной фантастики — предостережение. Именно поэтому я надеюсь, что они станут составляющей общего прогресса нашей фантастической литературы, ступенькой к той лестнице, по которой поднимется к эпохее мой коллега. Может быть, сегодня он еще только учится грамоте на компьютере.

ЗВЕНЯЩИЙ КИРПИЧ

В середине VI века до нашей эры положение Вавилонского царства, которым правил известный Валтасар, никуда не годилось. Местные тираны и наместники грабили безропотное население, экономика разваливалась, искусства и науки пришли в упадок. Тем временем персидский царь Кир в союзе с коварными мидянами готовился преодолеть линию укреплений, построенную еще Навуходоносором, и нарушить тем самым хрупкое политическое и военное равновесие.

Многие в Вавилоне полагали, что виной тому политика Набонида, отца Валтасара, который не занимался текущими делами, любил роскошь и чинопочитание, а также участие в торжественных церемониях.

Как-то перед очередным пиром ближайшие соратники Валтасара собрались во дворце. Начальник складов сообщил, что зерно поступает вяло и низкого качества. Сатрап Лидии доложил, что в стране, разоренной его обезглавленным предшественником, ожидается плохой урожай. Мудрец Улулай сказал, что изобретение катапульты задерживается из-за недопоставок листовой меди. Везде обнаруживались недостатки и прорехи. Многие понимали: ожидаются казни и должностные перестановки.

Тут вперед вышел глава соглядаев и сказал:

— Позволь слово молвить, великий повелитель!

Валтасар мрачно кивнул.

— Мои люди раздобыли у одного египетского караванщика образец новой вражеской технологии.

По его знаку слуга внес блюдо, на котором лежало нечто, покрытое шелковым платком.

Глава соглядатаев сорвал платок, и на блюде обнаружился кирпич.

Кто-то хихикнул. Его увели. Повелитель нахмурился.

— Не спеши с выводами, — сказал глава соглядатаев. — Это не просто кирпич, а новое слово в стратегии.

Он легонько ударил по кирпичу длинным ногтем мизинца, и кирпич отозвался серебряным звоном.

— Не понял, — сказал Валтасар.

— Египетские мудрецы изобрели этот звенящий кирпич с далеко идущими целями. Отныне у них все подходы к городам, а может, даже к границе будут выложены этими кирпичами, и вражеское войско даст знать о своем приближении задолго до приближения. Звон подков и каблуков по такой дороге разносится на дневной переход. Отныне Египет будет в безопасности от неожиданного нападения.

— Чепуха, — сказал кто-то. Его увели. Валтасар задумался. Потом приказал вызвать экспертов по кирпичам.

Эксперты долго спорили, разделившись на четыре партии. Некоторые полагали, что создать такой кирпич невозможно, потому что в Вавилоне нет для этого материалов. Другие считали, что кирпичи не настоящие, а выдумка египетской пропаганды. Они предлагали разбить образец, чтобы увидеть в серединке серебряный колокольчик. Третьи стояли за то, чтобы наладить импорт кирпичей в обмен на ливанский кедр. Наконец, четвертые, в лице начинающего мудреца Авельмардука, сразу дали обещание изобрести и изготовить такой же, но лучше качеством, в течение десяти лет.

Валтасар всех выслушал. Затем кирпич по его приказанию разбили. Колокольчика в нем не нашли и поэтому накормили кирпичными обломками скептиков. Оптимисты же в лице Авельмардука получили задание изобрести отечественный звенящий кирпич до конца текущего года.

Учреждению, созданному для изготовления кирпича, который обезопасит государство, отвели летний дворец Навуходоносора по соседству с храмом Мардука. Кирпич получил название «КЗ», весь район, прилегающий к опытному производству, обнесли привезенными из Аравии непреодолимыми колючками и ввели систему пропусков на глиняных табличках.

Так как Предприятие запросило на первое время ты-

сячу талантов серебром, были урезаны ассигнования на сельское хозяйство и писцовые школы. Через три месяца на производстве «КЗ» трудились уже восемьдесят тысяч рабов и более сорока тысяч вольнонаемных специалистов. Руководитель Предприятия мудрец Авельмардук получил чин особо приближенного советника и право реквизировать в пользу проекта любое имущество. К зиме он реквизировал долину реки Диялы, в которой из опытных и неудачных партий кирпича «КЗ» были возведены дворцы для него и членов его семейства.

Так как положение населения продолжало ухудшаться, в государстве Валтасара участились казни. Но в то же время поползли слухи о том, что сотрудники Авельмардука зазря проедают народные деньги и не спешат изобретать «КЗ», тогда как все прочие отрасли науки в Вавилоне перебиваются с лепешек на воду.

Некоторые стали писать правителю доносы на глиняных табличках. Однако эта практика скоро кончилась, так как ввиду растущих потребностей Предприятия «КЗ» в качественной глине все глиняные карьеры были засекречены, а писцам и работникам средств массовой вавилонской информации было предложено писать письма и книги палками на песке.

Так прошел первый год. По истечении его повелитель Валтасар призвал перед свои грозные очи советника Авельмардука и спросил его:

— Где твой кирпич? Враги приближаются к столице, но я этого не слышу.

— Они еще далеко, — ответил Авельмардук. Он заметно потолстел, окреп и загорел в очередном отпуске в долине реки Диялы.

— Где «КЗ»? — настаивал Валтасар.

— Я был бы рад доложить тебе, о повелитель, об окончании работ. Но, к сожалению, массовый саботаж моих коллег сорвал мои планы.

— Объясни, — сказал Валтасар.

— Я буду искренен с тобой, мой повелитель, — сказал Авельмардук. — Хотя рискую вызвать твой гнев. Для того чтобы спасти наше государство и одним ударом разрубить узел проблем, требуется полная концентрация усилий в одном направлении. Что же мы видим в

действительности? Одни продолжают разводить коней и овец, другие добывают земляное масло, третьи изобретают катапульты, четвертые замыслили совсем несусветное: боевую машину, которую движет пар! Более того, я знаю о предателях и саботажниках, которые втихомолку строят флот и тшчатся надуть вонючим дымом большой шар, утверждая, что смогут подняться на нем в небо. Вот, дорогой повелитель, на что растраниживаются народные деньги! А мы с тобой из-за этого не можем обезопасить государство от врагов.

Валтасар пришел в страшный гнев. Сначала он приказал собрать к себе всех мудрецов, которые упорно продолжали заниматься пустым изобретательством, когда решалась судьба «КЗ» и всего государства. На этом собрании выступил с гневной речью советник Авельмардук и убедительно доказал собравшимся, что все эти мудрецы и халдеи являются персидскими агентами. После этого большинство мудрецов раскаялись в своих ошибках, а остальных пришлось отправить в Аравийскую пустыню на соляные копи.

Деньги и ресурсы, освободившиеся после этого «великого очищения науки», были переданы Предприятию «КЗ», его опытные заводы задымили втрое активней, а советник Авельмардук построил четыре дворца для своих наложниц на берегу Евфрата.

К сожалению, экономическое положение Вавилонии продолжало ухудшаться, но страна, включая Валтасара, жила надеждой на скорейшее завершение программы «КЗ».

Тем временем коварный Кир преодолел Миллийскую стену Навуходоносора, занял город Сиппар и форсированным маршем двинулся к столице. От топота его армий дрожала земля, и звук этот доносился до дворца Валтасара.

За день до первого штурма Вавилона правитель собрал к себе сановников государства и спросил:

— Готовы ли стены Вавилона к отражению штурма?

— Нет, — ответил начальник стен, — все кирпичи, что ранее шли на эти цели, переданы Предприятию

«КЗ». Туда же ушла вся глина. Стены частично обвалились.

Валтасар, разумеется, приказал казнить начальника стен.

— Готовы ли мои непобедимые колесницы, чтобы смести с лица земли подлых персов? — спросил затем Валтасар.

— К сожалению, нет, так как железо с них передано заводам «КЗ», а деревянные части сожжены в печах «КЗ», — ответил, дрожа предсмертной дрожью, командующий колесницами.

Командующий колесницами был казнен. За ним лишились жизни не готовые к отражению противника начальники катапульт, хранители ворот, смотрители продовольственных складов, а также мудрецы и халдеи, которые не сумели оперативно изобрести царскую машину, воздушный шар, парусный флот и земляной огонь.

Но не все еще было потеряно. С минуты на минуту с Предприятия «КЗ» обещали доставить опытную партию звенящих кирпичей.

В ожидании кирпичей Валтасар закатил пир для оставшихся в живых сановников. Напились так, что кто-то написал на стенах непонятные слова. Последующие историки утверждают, что звучали они так: «Мене, Мене, Текел, Упарсин» — и предрекали гибель Вавилона и лично Валтасара. Задним числом предрекать легко.

На следующее утро Валтасар, пребывавший в тяжком похмелье, вызвал к себе Авельмардука. Авельмардука долго искали и наконец перехватили у западных ворот, когда он пытался скрыться из города на боевом дромадере в сопровождении верной наложницы, двух мешков золота и опытного образца. Дезертира привели к повелителю.

— И ты, Авельмардук? — укоризненно спросил Валтасар.

— Меня неправильно поняли, — ответил советник. — Я эвакуировал из столицы опытные образцы, чтобы наладить их промышленное производство в труднодоступных горных районах.

И Авельмардук протянул повелителю первый кирпич.

Повелитель щелкнул по нему ногтем. Кирпич легонько звякнул.

— Через три года доведем до кондиции, — заверил его Авельмардук.

Валтасар поглядел на слова, написанные кем-то на стене, потом прислушался. У ворот дворца кипел бой, грохот стоял такой, что приходилось кричать.

— Звенит! — прокричал Валтасар. Он поднял кирпич и разможил им голову Авельмардуку.

Через несколько минут и сам Валтасар погиб возле своего трона.

Это случилось в 538 году.

До нашей эры.

1987 г.

АПОЛОГИЯ

От переводчика

Как известно, после смерти императора Нерона, не столько при его непосредственных преемниках, как в период правления Божественного Веспасиана, в среде римских писателей и ораторов широко распространились критические выступления в адрес Нерона и его приспешников. Вскрывались все новые преступления тирана, и, осмысливая историю Рима за последние десятилетия, многие утверждали, что деятельность Нерона пагубным образом сказалась на положении дел в империи.

Однако, как это бывает в истории, в Риме нашлись и апологеты Нерона как среди его родственников, так и меж бывших соратников. Даже в среде плебса, недовольного гуманизацией общества, сокращением числа зрелищ, народных празднеств и требованиями всеобщей экономии, появлялись культы Нерона, в которых он фигурировал в качестве мученика, железной рукой уничтожавшего коррупцию, ведшего империю к победам и принимавшего близко к сердцу чаяния простого народа.

Любопытным примером сочинения, отражавшего попытки реабилитировать память Нерона, может служить небольшая «Апология», принадлежавшая перу Гнея Домиция, малоизвестного публициста середины II в. н.э., очевидно, отдаленного родственника императора. Объектом критики автор «Апологии» избрал известное сочинение Светония «Жизнеописание двенадцати цезарей», созданное в первой половине II в. и сконцентрировавшее в себе критику Нерона и нероновщины.

Опус Гнея Домиция не пользовался известностью в Риме, и упоминаний о нем у других авторов и даже ссылок на него не сохранилось. Данный список обнаружен при

недавних раскопках древних выгребных ям в Остии. Текст отличается неполнотой и отступлением начала и конца.

«...Даже странно сегодня выслушивать подобную клевету, ибо совершенно очевидно, что к власти его привели не интриги Агриппины Младшей, а воля римского народа, и Нерон всегда высоко превозносил заслуги своего предшественника Клавдия и воздвигал ему статуи в различных городах империи.

Известна гуманность, которую проявлял Нерон. Даже Светоний вынужден было признать, что, когда Нерону пришлось впервые ставить свою подпись под смертным приговором, он промолвил вслух: «Как хотел бы я не уметь писать!» Тот факт, что Нерон не повторял этого восклицания при подписании последующих приговоров, говорит лишь о его скромности и нежелании повторять уже всем известную фразу.

Забота Нерона о безопасности государства всегда сочеталась с заботой о его экономике. Недаром, как всем известно, он сократил на четверть жалованье доносчикам. Заявления некоторых критиков о том, что число доносчиков увеличилось вдесятеро и многие доносили бесплатно, никак не бросают тени на императора. Каждый искал врага и спешил сообщить о нем любимому императору. Это говорит лишь о безграничной любви народа к Нерону.

Светоний несправедлив, обвиняя великого императора в том, что он слишком широко тратил деньги на строительство помпезных сооружений и статуй в собственную честь. Императором двигали только интересы народа, который хотел гордиться строительными достижениями Римской империи, тем, что в ней строятся самые высокие дома в мире. Светоний упрекает Нерона в том, что он возвел себе позолоченный монумент высотой в 120 локтей. Светоний! Не смешивай бескорыстную любовь народа к императору с его побуждениями. Если бы народ того не требовал, Нерон не разрешил бы ставить себе статуи.

Как глупы и наивны Светоний и подобные ему, когда стараются набросить тень на доброе имя императора в связи со строительством известного канала. Желание императора сделать Рим морским портом имело под собой здравые экономические соображения. «Для выполнения этих работ, — пишет Светоний, — он приказал свозить

всех, где сколько было, колодников, а также ловить людей и приговаривать их исключительно к этой работе». Однако каждому известно, что строительство канала стало великой школой перевоспитания преступников, о чем с радостью свидетельствовали писатели, которых Нерон на свои средства возил на великое строительство. Если же на канале и на других великих стройках попадались отдельные невинно осужденные, то нарушения римской законности, если становились известными императору, немедленно пресекались.

Настало время перейти к спору об измышлениях Светония, касающихся якобы имевших место убийств некоторых государственных мужей, а также близких к Нерону лиц.

Что касается смерти предшественника Нерона, великого Клавдия, то сам Светоний вынужден скрепя сердце признать, что «непосредственным виновником смерти последнего он, правда, не был, но имел причастность к ней». Как мог Нерон иметь отношение к смерти Божественного Клавдия, если в тот период его не было даже в Риме? И не мог Нерон быть заинтересован в смерти Клавдия, так как он высоко ставил его талант и относился к нему с великим уважением. Клавдий умер своей смертью после продолжительной болезни и не был отравлен, как утверждает Светоний. На что только не идут некоторые авторы, чтобы опорочить человека достойного и чистого! Что же касается того, что после смерти Клавдия Нерон, на словах восхваляя своего предшественника, на самом деле «объявил недействительными многие его декреты и постановления», то это клевета. Светоний не хочет принять во внимание, что политическая обстановка в Римской империи изменилась, империя была окружена врагами, враги проникли и внутрь нее. В таких условиях некоторые эдикты и предписания Клавдия несколько устарели и требовали поправок. Увеличение поборов и разорение земледельцев Светоний имеет наглость объяснять страстью императора к помпезному строительству и расточительством. В самом же деле Нерон нуждался в средствах для укрепления могущества Римской империи. В окружении врагов он должен был проявлять особую бдительность. Слова Светония: «Люди привлекались по

обвинению в оскорблении величества за всякое действие и слово, находившее против себя доносчика» — чистая ложь. Не за всякое действие, а за вражеское!

Светоний обвиняет Нерона в том, что он руками подосланного убийцы уничтожил своего ближайшего соратника Британника, который якобы был страшен Нерону тем, что пользовался большей популярностью в народе и многие прочили ему императорский трон. В действительности же нет никаких доказательств причастности Нерона к смерти Британника, и мне интересно спросить Светония: какая птичка нашептала ему о том, что Британника убили по приказанию цезаря?

Светоний имеет наглость утверждать, что Нерон убил своих обеих жен. Однако каждому известно, что его первая жена, разделившая с ним ложе задолго до того, как он стал императором, получила развод и умерла своей смертью, причем ее нравственный уровень оставляет желать лучшего. Что же касается смерти второй жены, Пoppеи, и заявления Светония, что «он и ее убил... за то, что она стала резко упрекать его...», то это пустой домысел. Мы, историки, должны быть объективны. Нам известно, что жена Нерона скончалась. Следовательно, мы должны скорбеть вместе с императором по поводу ее кончины.

Наконец, утверждение Светония о том, что Нерон довел до самоубийства своего соратника и учителя Сенеку, также не подтверждается документами. Напротив, известно, что Нерон публично покался в том, что Сенека напрасно питает против него подозрения и что он, Нерон, скорее умрет, чем причинит ему какой-нибудь вред. Сенека же поступил как последний предатель, приняв яд и лишив Нерона верного и мудрого соратника. Далее Светоний обвиняет Нерона в массовых преступлениях против римской знати и государственных лиц. Светоний признает, что Нерон, решив избавиться от старой знати, немедленно открыл два больших заговора, в которые были втянуты крупнейшие деятели Римской империи, — это заговор Пизонов в Риме и заговор Винициев в Беневенте. Да, эти заговоры были! И нелепо подозревать Нерона в том, что он их выдумал потому, что они были ему нужны для уничтожения возможных соперников. Ведь, как признает сам Светоний, когда заговорщики предстали перед

судом, заключенные в тройные кандалы и прошедшие обычную пытку, «одни из них добровольно признались в преступлении, другие же даже вменили его себе в заслугу».

В разоблачении заговоров и суровом истреблении врагов империи Нерон действовал строго в рамках закона. И потому особо кощунственной кажется нам, радетелям за правду, выдумка Светония, что якобы «дети осужденных были изгнаны из Рима и истреблены ядом или голодом». Как можно бросить столь безответственные обвинения в адрес человека, который так любил детей! Достаточно вспомнить, как император заботился о мальчишке Споре, которого носили на разукрашенных носилках, и, как признает сам Светоний, «император то и дело целовал его».

Рассказывая о разоблачении заговоров и совершенно не учитывая при этом обострения борьбы внутри империи, а также ухудшения ее внешнего положения, Светоний докатывается до голословного утверждения, будто «после этого он принялся истреблять без всякого разбора и меры, кого бы ему ни заблагорассудилось и по какой угодно причине. Сообщу несколько примеров: Сальвидиену Орфиту было поставлено в вину то, что он сдал три комнаты своего дома близ форума внаймы под квартиру представителям чужеземного государства». Вот тут Светоний и выдает себя с головой. Зачем бы честному римлянину сдавать квартиру представителю чужеземного государства? Какие римские секреты он продавал этим представителям? Молчишь, Светоний? Нечего сказать?

Дальнейшее перечисление «жертв» Нерона не представляет интереса для исследования, и мы его опустим. Зачем нам оправдывать иностранных агентов и заговорщиков? Также мы отвергаем как недоказанные сплетни Светония о том, что Нерон якобы сжег Рим. Позволим остановиться лишь на одной частности, трактовка которой нам кажется типичной для заушательской манеры Светония. Светоний утверждает, что Нерон, выступая перед народом, специально подобрал множество юношей всаднического сословия, а также пять тысяч сильных молодых людей из плебса, чтобы они «изучили различные роды аплодисментов и усердствовали во время его выступлений». Зачем, скажите, Нерону тренировать «молодых лю-

дей», если народ каждое его слово встречал громовыми аплодисментами и криками: «Да здравствует император!»?

В заключение моей апологии я хотел бы кратко остановиться на событиях последнего периода жизни императора и развеять очередную тучу клеветы, запущенную Светонием.

Светоний осмелился утверждать, что Нерон игнорировал донесения лазутчиков о том, что галлы под предводительством Виндекса готовятся к вторжению в Италию, полагая, что Виндекс никогда не осмелится на него напасть. Когда же вторжение началось, Нерон, по утверждению Светония, «в течение восьми дней кряду даже виду не показал, что собирается давать кому-нибудь приказание, и, казалось, молчанием хотел заставить забыть о происходящем». Светоний пишет, что, ссылаясь на болезнь, Нерон не явился на собранное заседание сената, что в первые дни он отказался обратиться к народу. Когда же он узнал, что положение ухудшается, то «повалился на пол, жестоко сраженный духом, и долго лежал безгласный и почти полумертвый. Придя в себя, он растерзал на себе одежды и, бия себя в голову, заявил, что «его песня спета».

Говоря так, Светоний пытается вызвать у читателя подозрение в том, что великий римский полководец был подвержен трусости и растерянности, что армии его терпели поражения, потому что он истребил собственных полководцев... В самом же деле любому человеку ясно, что в те дни, когда Нерон не показывался народу, он планировал операции по отражению предательского нашествия...»

На этом месте рукопись «Апологии» Гнея Домиция обрывается. Очевидно, нам так и не удастся узнать, каким образом автор трактует последние дни Нерона и какими словами воспекает его общую прогрессивную роль в истории Римской империи.

ДИСКУССИЯ О ЗВЕЗДАХ

ЧАСТЬ I. ЗАГАДКА

Второго эгалитария 346 года эры Галактического братства космический корабль «Рука дружбы» приблизился к планете Валетрикс. Именно этот день должен был стать днем вступления планеты в Содружество.

Планета Валетрикс находилась под ненавязчивым наблюдением галактических патрулей в течение последних ста шестидесяти лет. За ее прогрессом следили, не вмешиваясь, ибо так велят законы. Десять лет назад было решено, что по своему технологическому уровню и социальному развитию планета почти созрела для того, чтобы узнать, что она — не центр Вселенной, что рядом с ней и вдали от нее существуют цивилизации, далеко обогнавшие Валетрикс в своей эволюции и готовые способствовать бурному развитию младшей сестры.

Корабль «Рука дружбы» не в первый раз выполнял подобную миссию. И всегда успешно. Ритуал ее был разработан лучшими психологами и прогнозистами Галактики. Экспедиция Приобщения была знакома с местным языком, обычаями и национальным характером валетриксян. Ее руководитель был осведомлен о том, как и что сказать при первой встрече с аборигенами, знал, какие подарки им преподнести и как убедить их, что пора избавиться от локальных недостатков и приобщиться к галактическим достижениям.

Приняв форму и цвет, наиболее приятные глазам аборигенов, «Рука дружбы» опустилась неподалеку от столицы.

Посадка была произведена в ясную погоду утром.

Вскоре подъехала военная машина. В ней находились

три человека в форме. Капитан корабля и психолог вышли им навстречу и на отличном местном языке объяснили, что прибыли с миссией доброй воли.

Командир военной машины велел им войти обратно в корабль и ждать распоряжений, а сам вызвал по рации наряд, который окружил корабль и пресекал попытки местных жителей приблизиться к пришельцам. Никто на корабле этому не удивился — подобный вариант встречи был проигран на компьютерах десятки раз.

Примерно через два часа к кораблю приблизилась машина высокопоставленного вельможи в сопровождении нескольких танков. Капитану корабля и психологу было предложено следовать в город.

В городе их провели в высокое здание с толстыми стенами, которое, как было известно по снимкам с летающих тарелочек, заключало в себе Академию наук, соединявшуюся подземным переходом с Управлением правопорядка.

Так как при входе в Академию наук пришельцев обыскали и изъяли у них передвижную аппаратуру, связь с ними на этом этапе прервалась, но это не вызвало тревоги, поскольку такой вариант был просчитан и предусмотрен.

Переговоры затянулись. Видно, интерес к галактической миссии был так велик, что команда корабля успела пообедать и отдохнуть.

В шестнадцать часов, когда на «Руке дружбы» обсуждали меры, должны вызвать у аборигенов чувство преклонения перед могуществом пришельцев, над кораблем появилась эскадрилья самолетов.

Поочередно пикируя над кораблем, самолеты сбросили несколько атомных бомб. Несмотря на то что бомбы были относительно первобытными, обшивка корабля не выдержала, и в мгновение ока корабль и люди, находившиеся внутри, испарились.

Новость эта повергла в шок всю Галактику.

Несмотря на то что сотрудники Центра галактических контактов доказывали, что цивилизация Валетрикса не обладает исключительной агрессивностью и ни один компьютер не смог бы предсказать столь нелепую и бесчело-

вечную реакцию на миссию доброй воли, гнев общест-
венности против сотрудников, не предотвративших гибель
людей, был настолько велик, что весь центр был вынуж-
ден подать в отставку.

Тем временем началась эпопея по спасению капитана
и психолога экспедиции. Помимо чисто гуманных сообра-
жений, за этой эпопеей скрывалось жгучее желание раз-
гадать тайну гибели «Руки дружбы».

Как известно, капитана корабля спасти не удалось, так
как он был ликвидирован. Но психолог остался жив, его
удалось отыскать и вывезти с Валетрикса.

Из его показаний и из сведений, принесенных мик-
роразведчиками, мы имеем полную картину событий, про-
исшедших на этой планете, и считаем своим долгом
ознакомить с ними Галактику во избежание повторения
трагедии.

ЧАСТЬ II. РАЗГАДКА

Серapiон Неклыс не смог одолеть университетского
курса. Изгнанный из университета, он устроился препо-
давать словесность в торговое училище, где чувствовал
себя обойденным и униженным. Но у него было увлече-
ние. На жалкую свою зарплату он купил телескоп. Цель
этой покупки была простой. Неклыс еще в школе надеялся
когда-нибудь открыть звезду, которую назовут его име-
нем. Теперь же открытие такой звезды казалось ему
единственным выходом из тупика. Неопрятный внешний
вид, физическая нечистоплотность, высокий визгливый
голос и настойчивый взгляд фанатика усугубляли его
одиночество, а отсутствие женской привязанности осво-
бождало его ночи для того, чтобы проводить их у теле-
скопа. Телескоп был слабеньким, никакой звезды в такой
не откроешь, и с годами Неклыс все более утверждался в
отчаянном убеждении, что он жертва заговора, направ-
ленного на то, чтобы закопать в землю его талант. Неклыс
не высыпался, кричал на учеников, даже, говорят, бил
девочек.

По жалобе родителей одной из его жертв Неклыса

выгнали из училища. Его делом занимался инструктор Управления обучения по имени Резет, человек махонького роста, страшно амбициозный, отлично изучивший основные труды Вождя и слышавший грозой проштрафившихся педагогов.

Когда Неклыс предстал пред грозные очи карлика, тот полагал, что столкнулся с обычным делом: невежда и истерик заслуживает лишь одного — изгнания.

Но уже в первую встречу Неклыс произвел на Резета сильное впечатление. Он ни в чем не каялся, ни в чем не чувствовал себя виновным. Вместо этого он утверждал, что современная астрономия находится в руках проходимцев и врагов государства, что астрономы открыли за последние годы массу новых звезд, однако скрывают их от народа и за большие деньги продают зарубежным врагам, которые и пожинают лавры первооткрывателей.

Резет отказался подписать приказ об увольнении Неклыса, и тот вернулся в училище к вящему изумлению своих коллег и учеников. А тем временем Резет написал статью в одну из газет о самородке, который, сидя на крыше своего скромного дома, открывает новые звезды.

Резет рассчитал правильно. В те годы на Валетриксе много писали о талантах, вышедших из глубин народа. И неудивительно — самым ярким из них считался сам Вождь, который, по официальной версии, будучи бедным сапожником, смог заочно закончить университет и одновременно готовить революцию. Это было ложью, потому что он был не сапожником, а сыном фабриканта сапог, да и в революции не участвовал. Он вышел на сцену потом, когда революционеры боролись за наследство Первого Вождя.

О народных талантах писали много. Большой известностью пользовался безногий инвалид войны, который научился танцевать. Он был взят в труппу Главного театра и назначен ведущим солистом. Его редкие выступления проходили под бурные овации, хотя инвалид танцевать не умел. Специально для него писались балеты со статичным главным героем. Знаменитостью стала одна бездарная певица, которая вывела новую породу пингвинов. Был создан центр разведения пингвинов, и певица обещала с

помощью пингвиного мяса решить продовольственную проблему в государстве. Правда, пингвиное мясо никто есть не хотел. Да и было его не много — пингины плохо размножались в умеренном климате.

Расчет Резета был верен.

Учителя словесности, который открывает во славу Вож-
дя новые звезды, заметили, и он перестал ходить в класс. Он сидел теперь на крыше круглые сутки и смотрел на небо в сильный телекоп, приобретенный ему по подписке среди учащихся и педагогов.

Как-то ночью к нему поднялся Резет. Резет стал редактором городской газеты, купил новый костюм и понимал, что пора придумать инициативу, прежде чем затопчут за-
вистники.

— Слушай, Серапион, — сказал он, сидя на табуретке рядом с телескопом и глядя невооруженным глазом на звезды. — Где же обещанные звезды?

— Телескоп слаб, — сказал Серапион, не отрываясь от окуляра.

— Неужели ни одной так и не открыл?

— Открыл несколько, — сказал Неклыс. — Но оказа-
лось, что они уже перехвачены.

— Другие перехватили?

— Главная обсерватория.

— А мне звонили из Дома. Сам прочел статью. Спра-
шивает: чем порадуешь?

— Буквально на днях, — сказал Неклыс. — Может
быть, завтра. Я как раз сейчас рассматриваю одно подо-
зрительное созвездие.

— Большую звезду рассматриваешь?

— Шестнадцатой величины. Слабенькую.

— Слабенькая не годится, — сказал Резет.

— Не понял.

— Нам нужна большая звезда. Которую может уви-
деть каждый дурак.

— Но они все открыты!

— Я зря на тебя поставил, — сказал Резет, попыхивая
сигаретой. — Ты труслив и глуп.

— Откуда я ее тебе найду?

Резет встал и протянул указательный палец к зениту.

— Это что? — спросил он.

— Это главная звезда созвездия Медальона. В сказках ее называют звездой Печали.

— Отлично, — сказал Резет. — Вот ее и откроешь, голубчик.

— Это невозможно!

— Для нас нет ничего невозможного.

— Надо мной будут смеяться.

— Не посмеют, — сказал Резет, — потому что ты дашь ей имя.

— Нельзя! У нее есть имя!

— Это старое, изжившее себя имя. Отныне открытая тобой звезда будет называться звездой Вождя. Ясно?

— Ничего не ясно! — Неклыс был в отчаянии.

Но Резет сверкнул в темноте вставными золотыми зубами и простучал высокими каблуками, сбегая по деревянной лестнице.

На следующий день городская газета на первой странице поместила трогательный рассказ о том, как простой человек из народа, талант и умелец, смог найти и открыть звезду Вождя. Звезду, которую проглядели академики и профессора и которую, разумеется, не открыли зарубежные враги. Каждый желающий может увидеть эту звезду.

Трудно представить, какой шум поднялся в тот день в научных кругах. Как хохотали над глупым редактором и жуликом-любителем! Сотни возмущенных и издевательских писем пришли в газету. В коридорах журналисты показывали желающим на маленького Резета, который завтра вылетит с работы из-за крайнего идиотизма. Резет все слушал и молчал. Он сделал ход, который мог стоить ему головы. А мог снести много чужих голов.

Через два дня в газете было опубликовано краткое письмо Вождя, в котором тот изъявлял личную благодарность астроному-любителю Серапиону Неклысу и предостерегал в будущем от подобных инициатив, так как скромность не позволяет Вождю принимать знаки внимания со стороны народа.

Газета еще набиралась в типографии, а потрясенные

сотрудники проползали мимо кабинета Резета на четвереньках. Более сообразительные с утра принесли ему списки тех, кто посмел поставить под сомнение открытие и гениальность главного редактора.

Резет выгнал с работы всех непокорных и заслал их на изумрудные рудники. Он мог это сделать, потому что был назначен Господином культуры и науки и получил прямую трубку для связи с Господином правопорядка.

В Главной газете было напечатано коллективное письмо академиков и профессоров, которые поздравляли нового академика Серапиона Неклыса, человека из народа, с эпохальным открытием.

Были срочно изданы новые атласы звездного неба и сделаны гневные представления посольствам иностранных держав, которые не откликнулись на переименование.

Академики и профессора шептались по углам, жаждали справедливости и писали анонимные письма Вождю, в которых пытались восстановить истину. Авторы выявляли по почерку.

Директор Центральной обсерватории Серапион Неклыс продолжал с прежней настойчивостью проводить ночи за телескопом, в чем ему теперь помогали две тысячи научных сотрудников. Многис вельможи государства приезжали к нему и кто просьбами, кто угрозами требовали, чтобы он открыл для них хоть по маленькой звездочке. Некоторым Неклыс подарил по астерониду. Но не больше. «Звезда в небе может быть одна», — любил он повторять с улыбкой.

Неклыс приоделся, он жил теперь на большой вилле, где при нем числились секретари, аспиранты, стенографы, охрана и любовница, на которую у директора Обсерватории не хватало времени.

Так прошло два года. Все привыкли и к новой звезде, и к новому положению друзей. Но их враги не дремали. Они собирали силы. Как-то в университетском журнале появилась статейка, которая ставила под сомнение научную компетентность Неклыса, правда, не оспаривая того, что самая яркая звезда на небе носит имя Вождя. Редактора того журнала сняли и арестовали. Но сам по себе

сигнал был симптоматичен. Затем на одной конференции сразу три недобитых академика принялись задавать Неклысу провокационные вопросы, на которые он не стал отвечать. Но вопросы были заданы, и академики, как ни странно, ушли из зала живыми.

Через час Резет позвонил Господину правопорядка и поинтересовался, почему академики до сих пор на свободе. На что получил сухой ответ:

— Потому что их не за что сажать!

— Но они же поставили под сомнение?!

— А может, правильно поставили? — И Господин правопорядка, которого, очевидно, опутали своими сетями агенты врагов, повесил трубку.

Резет, Неклыс и их ближайшие соратники собрались на вилле Неклыса, чтобы обсудить тревожное положение.

Настроение у всех было подавленное. Говорили, что некий прохвост проник к Вождю и обещал ему открыть целое созвездие. Все говорили, что старый президент академии потребовал, чтобы Неклыса подвергли экзамену за курс средней школы. И Вождь всех слушал. И молчал.

— Нужна идея, — сказал Резет. — Если мы не найдем идеи, которая сокрушит врагов, нам не жить.

— Я не хотел, — сказал Неклыс, который в последние дни с тоской вспоминал недавние времена, когда он сидел на крыше училища у слабенького телескопа.

— Твоих желаний уже не существует, — сказал Резет. — Ты историческая фигура и исполняешь волю судьбы. И если ты упадешь, то увлечешь в пропасть всех нас.

Ропот ужаса прокатился по толпе сторонников. Некоторые стали подвигаться к дверям, собираясь улизнуть и сообщить миру, что их патрон — самозванец.

— Может, и в самом деле открыть созвездие Вождя? — спросил заместитель Неклыса.

— Глупо, — оборвал его Резет. — Созвездие Вождю уже предлагали. Думайте, думайте!

— Черт побери! — Неклыс вскочил с кресла и принялся бегать по кабинету. — Если бы небо было твердым, я бы продырявил в нем звездами имя Вождя!

— Стоп! — крикнул Резет.

— Не обращай внимания, — отмахнулся Неклыс. — Я в переносном смысле.

— Переносного смысла не бывает, — сказал Резет. Его узкая длинная головка уже лихорадочно работала. — Может, в этом наше спасение.

— В чем?

— Все астрономы, в том числе и наши, твердят, что Вселенная бесконечна, — сказал Резет. — И звездам нет числа...

С этими словами он выбежал из кабинета, и тут же за окном взревел его автомобиль.

Астрономы вскоре разошлись. Многие полагали, что Резет сошел с ума. Другие спешили покаяться.

На следующее утро в Главной газете появилось открытое письмо Вождю.

«Дорогой Вождь! — говорилось в нем. — Вот уже несколько лет я, руководствуясь Вашими идеями, веду тщательное наблюдение за звездным небом. Если бы не Ваша постоянная забота и поддержка, мне бы никогда не удалось сделать тех открытий, которыми теперь по праву гордится отечественная наука. Однако в последнее время положение в астрономии категорически ухудшилось. Сплотившиеся враги патристического направления в астрономии полностью продались зарубежным авторитетам и перекрывают воздух тем ученым, которые во главе со мной пытаются отстоять ценности, лежащие в основе веры наших пращуров.

Я должен довести до Вашего сведения, что, движимые низкопоклонством перед врагами, наши лжеастрономы взяли на вооружение лживые теории иностранного монаха Перника и сожженного возмущенным народом реакционера Джубруна, которые внушали людям, что наш Валетрикс не центр Вселенной, а лишь одна из многих планет. Это измышление, подхваченное реакционерами всех мастей, полностью опровергается жизненным опытом народа и здравым смыслом. Новый сокрушительный удар эта лжетеория получила в последние годы, когда Вы лично возглавили человечество. Уже одного этого факта достаточно, чтобы убедиться в том, что Валетрикс является

центром Вселенной. Но перникисты-джубрунисты ставят под сомнение центральность нашей планеты, намекая таким образом, что на каждой из планет может родиться Вождь, подобный Вам.

Так как предательские воззрения перникистов-джубрунистов разделяются Академией наук, а мне, как и другим истинным патриотам, закрыт путь к истине, прошу уволить меня и позволить вернуться к моему скромному телескопу, чтобы искать в твердыне неба знаки моей правоты.

Бывший начальник Главной обсерватории,
академик Серапион Неклыс.

Вся страна, весь мир целый день хохотали над этим письмом. Даже ученики младших классов не могли удержаться от издевок.

Неклыс в панике примчался к Резету и кричал в подвале, куда его быстро увел идеолог:

— Ты меня опозорил! Мне теперь все закрыто! Мне стыдно выйти на улицу.

— Я все продумал. Выбора не было, — вздохнул Резет. — Я пошел на риск.

— Но почему подписали моим именем?

— Потому что ты большой ученый, а я маленький политик. Лучше выпей!

Резет и Серапион в тот день напились до безобразия, пели песни, крушили мебель. В таком состоянии их застал фельдшер из Дома. Он привез ответ Вождя. Ответ был краток:

«Работайте спокойно».

Через полгода в Академии наук прошла дискуссия о принципах строения Вселенной. К тому времени Резету, который занял по совместительству пост Господина правопорядка, удалось лишить жизни и свободы наиболее упрямых сторонников множественности миров и бесконечности Вселенной. Остальные трепетали.

Но, несмотря на то что исход дискуссии был предре-шен и вся пресса государства с энтузиазмом поддержала прогрессивную позицию Серапиона Неклыса, среди астрономов и даже физиков нашлось несколько идиотов, кото-

рые старались поставить под сомнение народную мудрость. После дискуссии, которая приняла историческое постановление «Считать небо твердым!», упомянутых ретроградов отправили на изумрудные рудники.

Небо стало твердым, и никто уже в этом не сомневался. Дети в школе учились по учебникам, в которых доступно доказывалось, что Валетрикс — единственная планета в мире, потому что в нем есть место лишь одному великому Вождю.

Так как наука должна была развиваться далее, Неклыс периодически выступал с новыми смелыми идеями.

Последней из них было предложение объединить усилия астрономов и артиллеристов: построить такую пушку, чтобы она могла дострелить до неба и пробить его твердь. Но не просто пробить, а выбить в нем ряд отверстий, которые вкуче читались бы как имя Вождя. И тогда каждый житель планеты, выходя вечером на улицу, сможет обратить взор к нему и согреть сердце лицезрением любимого имени.

Вождь дал согласие на эксперимент.

Три года ушло на строительство пушки, и ресурсы государства были напряжены до предела. Великое свершение было не за горами.

На четвертый год пушка выстрелила, а когда дым рассеялся, оказалось, что в небе не возникло новой дырки. Артиллеристы, прежде чем их расстреляли, утверждали, что им всучили неправильные данные о расстоянии от Валетрикса до небосвода. Но Резет и Неклыс убедительно доказали Вождю, что артиллеристы неправильно прочитали чертежи. Были набраны новые артиллеристы, и началось строительство новой пушки, втрое больше первой.

И именно в эти месяцы, полные голодного энтузиазма и благородных лишений, на большом поле возле столицы неожиданно опустилось некое яйцеобразное сооружение, из которого, как донес в Дом начальник патруля, вышли люди, умеющие говорить на нашем языке и утверждавшие, что они прибыли с другой планеты.

Двоих из них вскоре доставили в Дом.

Там с ними беседовал сам Вождь. При беседе присутствовали Резет и Неклыс.

— Вы утверждаете, — сказал Вождь, старчески шагая по мягкому ковру, — что прибыли с другой планеты?

— Совершенно точно, — ответил капитан «Руки дружба».

— Как же вы могли это сделать, — Вождь улыбнулся своей известной каждому ребенку лукавой и доброй усмешкой и почесал седые бакенбарды, — если небо, как известно, твердое?

— Не может быть! — воскликнул психолог Галактического центра. — На вашем уровне цивилизации вы должны находиться на грани космических полетов и давно уже догадаться, что Вселенная бесконечна.

Вождь покосился на Неклыса, Неклыс в растерянности — на Резета.

— Мы все это слышали, — вздохнул Резет. Он был страшно перепуган. Этот разговор мог оказаться последним в его жизни. — Нам об этом давно твердили враги. К счастью, наша наука опровергла реакционные бредни.

— И все же, — вежливо сказал капитан, — мы прилетели.

— Если бы вы пробили наше небо, — задумчиво произнес Вождь, — в нем образовалась бы дырка. А дырки нет. Нет? — С этим вопросом он обратился к Неклысу.

— Нет дырки, — согласился тот. Он пытался сообразить, не лучше ли покаяться сейчас, чем ждать, пока покаяние из него выбьют.

— Ты что-то хотел сказать? — спросил проницательный Вождь.

— Мы не рассматривали вопрос, — сказал Неклыс, пытаясь унять дрожь в коленях, — есть ли Вселенная за пределами твердого неба. Не исключено...

— Исключено, исключено! — завопил Резет, который был куда умнее своего друга. — Там ничего нет!

— А если было, — тихо сказал Вождь, — то за пределами могли бы появиться иные вожди. Ваши слова, Неклыс?

— Это Резет написал! — признался астроном. — Я не хотел.

Вождь будто и не услышал этих слов. Он обратился к капитану «Руки дружбы»:

— Вы продолжаете настаивать на том, что Вселенная бесконечна?

— И число населенных миров в ней велико, — терпеливо ответил капитан.

— А вы? — вежливо спросил Вождь у психолога.

— Я не хотел бы углубляться в дискуссию, — сказал тот. Он был ученым и хотел сначала понять глубину заблуждений и убежденности своих оппонентов. — Не исключена иная точка зрения.

— Увести их, — сказал Вождь. Затем обернулся к Резету. — А их яйцо стоит?

— Еще стоит, — сказал взбодрившийся Резет.

— Тогда вы знаете, что делать.

На Неклыса он не смотрел.

Вечером того же дня Резет был снова принят Вождем.

— Ну, что нового? — спросил Вождь, стоя у окна и глядя в сад.

— Случилось несколько происшествий, — сказал Резет. — Некоторые настолько драматичны, что я опасюсь...

— Говори.

— Сегодня при учебном атомном бомбометании случайно уничтожено инородное тело, что упало с твердого неба, — сказал Резет.

— И что?

— Тело разрушено, и все погибли.

— Жаль, — сказал Вождь. — Есть ли жертвы среди мирного населения?

— Минимальные, — ответил Резет.

— Назначить родственникам пенсии, — сказал Вождь. — Что еще?

— Из двоих сумасшедших, которые пытались настаивать на лживых теориях, один застрелен при попытке к бегству.

— Ага, — согласился Вождь. — Это тот, что упорствовал.

— А второй жив. Я буду беречь его на случай, если вам захочется с ним побеседовать.

— Разумно, — сказал Вождь. — Мне всегда интересны чужие идеи. Это все?

— Все.

— Тогда идите и еще подумайте, — сказал Вождь, так и не обернувшись.

Резет послушно покинул кабинет Вождя. Он был грустен. Он поехал на виллу к Неклысу. Они долго говорили, вспоминали свою молодость. Затем Резет вернулся в Дом.

Он позвонил снизу.

Вождь не спал. Он читал. Он только спросил:

— Что у вас еще?

— Несчастье, — сказал Резет. — Напоровшись на нож в припадке безумия, погиб наш ведущий астроном Серапион Неклыс.

— Я искренне скорблю, — сказал Вождь. — В официальном сообщении не надо упоминать о безумии. Это грубо. Достаточно сердечного приступа. И учтите, я буду на похоронах. Так что обеспечьте безопасность.

Рассказывают, что у гроба Серапиона Неклыса Вождь уронил слезу.

1988 г.

СТАРЕНЬКИЙ ИВАНОВ

Разумеется, он не всегда был стареньким. Это он только в последние годы стал стареньким. Его койка стоит в убежище рядом с моей, и он мне показывал свои детские фотографии.

Иван Иванович, серьезный, худенький, одетый почему-то в девичье платье, сидит на коленях у массивной женщины в большой шляпе с выходящим из живота обширным бюстом.

— Похож? — спросил Иван Иванович.

— Похож, — ответил я.

— И всегда был похож, — сказал Иван Иванович. — А это моя мать. Она меня воспитывала в бедности, но строгости. Папа нас оставил в младенчестве.

С первого взгляда ясно, что иначе воспитывать она не умела.

Историю своей интересной жизни Иван Иванович рассказывал мне не по порядку. Теперь же, когда его нет среди нас, я разложил его воспоминания в хронологическом порядке. И мне открылись некоторые любопытные закономерности.

1917 год Иван Иванович встретил гимназистом последнего класса. Он был хорошим учеником, но не блестящим, и потому его любили учителя. В классе он ни с кем не дружил, потому что друзей ему подбирала мама, а ему хотелось дружить с другими. Самое яркое воспоминание того года — получение премии за перевод Овидия.

На демонстрации Иван не ходил, потому что мама велела ему получить достойный аттестат зрелости, полагая, что он пригодится при любой власти. К тому же Иван Иванович всегда боялся толпы. Он был невелик ростом,

худ и очкаст. Таких бьют при любом народном возмущении.

В 1918 году Иван Иванович поступил на службу. Аттестат ему не понадобился. Он был делопроизводителем в Москульттеапросвете, но ездить на работу было далеко. Они с мамой жили на Сретенке, а учреждение располагалось на Разгуляе. Так что когда Иван Иванович увидел объявление о том, что делопроизводители требуются в Госзерне, что помещалось напротив клиники Склифосовского, он перешел туда.

Впервые его исполнительские способности проявились именно там.

То есть способности были и ранее. Иван Иванович был аккуратен, вежлив и тих. Он никогда не выступал на собраниях и чурался общественной деятельности. У него была одна всем известная слабость. Смысл жизни для Ивана Ивановича заключался в получении премий. Обычно он работал от сих до сих. Правда, добросовестно. Но, если он узнавал, что за такое-то задание положена премия, он мгновенно перевоплощался. Он готов был просиживать на службе ночами, он мог своротить Гималайские горы совершенно независимо от размера этой премии. Само слово «премия» вызывало в нем внутренний ажиотаж, подобно тому как словом «щука» можно свести с ума заядлого рыболова, а запахом водки — алкоголика.

В период нехватки продовольствия произошел первый случай из длинной череды подобных, который обратил на исполнителя внимание руководства.

— Если кто-нибудь из вас, архаровцы, придумает, как отыскать эшелон с пшеницей, что затерялся на пути между Белгородом и Москвой, — сказал начальник подотдела Шириков, заходя в большую гулкую комнату, где сидели тридцать сотрудников подотдела, — он получит премию.

— Я найду, — сказал тихий Иванов, приподнимая худенький зад над стулом. — Только мне надо выписать мандат.

В комнате засмеялись, а товарищ начальник подотдела Шириков, однорукий матрос с «Ретвизана», сказал:

— Зайди ко мне.

Иванов под хихиканье коллег прошел за перегородку, где пронизательный Шириков сказал:

— Если не шутишь, бери мандат, и чтобы через два дня зерно было в Москве. Не доставишь, пойдешь под ревтрибунал. Охрану дать?

— Ни в коем случае, — испугался Иванов. Он не выносил вида винтовок.

Вечером второго дня осунувшийся Иванов в пальто без правого рукава, с кровавой ссадиной через щеку вошел в кабинет товарища Ширикова, который, за неимением другого угла, там и ночевал.

— Состав на Брянском вокзале, — сказал он и упал в обморок.

Шириков отпоил Ивана Ивановича горячим чаем. Потом взял трубку и позвонил на Брянский вокзал. Иванов не врал. Состав стоял там. Может быть, Иванов и рассказал Ширикову, как он совершил такой революционный подвиг, но мне Иван Иванович о подробностях не рассказывал. Известно лишь, что Шириков предложил Иванову наградить его почетным оружием, но тот сказал, что хотел бы получить положенную премию. На следующее утро Иванов сложил в дерматиновую сумку два фунта воблы, фунт муки и полфунта леденцов. Остальные сотрудники подотдела готовы были растоптать его от ненависти.

С тех пор так и пошло. Если надо было сделать невыполнимую работу, Шириков приходил в комнату и говорил Ивану Ивановичу, что тот по выполнении ее получит премию. И тот выполнял любую работу. Одна недоброжелательница прозвала его даже Василисой Премудрой. Но прозвище не прилипло, потому что было длинным.

Тем более она сама его быстро забыла, потому что Иван Иванович, теперь уже замначальника подотдела, сделал ей предложение и она пересехала к нему на Сретенку. Они прожили два года, но потом Соня, как звали жену Иванова, не выдержала притеснений его мамы, которые были тем более невыносимы, что приходилось жить

в одной комнате в коммунальной квартире, и уехала от него, хотя развода не взяла.

В 1924 году Госзерно реорганизовали, Ширикова кинули на укрепление коммунального треста, и тот, уходя, взял с собой Ивана Ивановича.

Так прошло несколько лет. Иван Иванович ничем особенным не отличался, хотя и совершил несколько небольших подвигов, оцененных премиями. Года через два умерла мама, полагавшая, что сына недооценивают. Жена Соня после этого вернулась к Ивану Ивановичу, и у них родилась дочь. Жизнь налаживалась.

Иван Иванович показывал мне фотографии того времени. Он, еще молодой, но строгий, стоит рядом с женой Соней, которая держит на коленях дочку, очень похожую на Ивана Ивановича в детстве.

Ивану Ивановичу запомнилась от тех лет премия в виде наручных часов в стальном корпусе и с секундной стрелкой, которую он получил за то, что разработал и провел в жизнь идею товарища Ширикова о создании цепи современных бань в подотчетном районе. Задача была сложная: достойных помещений не хватало, а народу надо было мыться. Шириков обратился к Ивану Ивановичу и сказал:

— Будет премия.

Иван Иванович думал три дня. Он ходил по Москве, рассматривал дома и строения. Наконец, удовлетворенный, вернулся за свой небольшой стол и написал, а затем подал начальству докладную записку о размещении бань в некоторых церквях. Там толстые стены и даже встречаются подвалы, где можно разместить котлы.

Шириков несколько смутился, опасаясь, не слишком ли радикально решение Иванова. И премию выдать воздержался, пока не провентилирует вопрос в Моссовете.

Иванов был обижен. Он привык уже, что, если премию обещали, премию должны дать. Так и сказал жене. Жена Соня сказала, что лучше прожить без премии, чем принимать такое решение. Иванов ничего не ответил жене, но той же ночью написал письмо в ОГПУ, где разъяснил свои разногласия и честно поведал об обещанной премии.

Шириков больше на работу не пришел, но Иванову его место не отдали, как беспартийному. Впрочем, Иванов на него и не претендовал, так как был идеальным исполнителем, а не организатором.

Новый начальник подтвердил, что премия Иванову положена, однако после того, как тот лично проведет операцию по передаче церкви под бани. Иванов честно провел эту операцию и был премирован часами с секундной стрелкой, которые носил до старости.

Умение с выдумкой исполнять принесло Ивану Ивановичу еще одну премию в размере месячного оклада в середине тридцатых годов, когда в коммунальном тресте был обнаружен правотроцкистский заговор на немецкие деньги. Сверху спустили разрядку, в которой было сказано, что в тресте есть восемнадцать участников заговора, во главе которых стоит Семенов. Но более ничего не уточнили.

Начальник был растерян и призвал Иванова.

Иванов прочел письмо из ОГПУ и спросил: а может ли он рассчитывать на премию, если удачно выполнит поручение? Когда он получил соответствующее обещание, он взял список сотрудников, в котором нашел семнадцать Семеновых и двадцать одну Семенову. Из них он и составил список участников правотроцкистского заговора на немецкие деньги. Начальник колебался, потому что от него требовалось лишь восемнадцать заговорщиков, а если отыскать тридцать восемь, то не останется кандидатов для следующих заговоров.

Тогда Иванов, почувствовав, что рискует остаться без премии, переслал второй экземпляр списка в ОГПУ. На следующий день начальник не пришел на работу, а Иванов получил премию в размере месячного оклада.

Его жена Соня выразила сомнение, правильно ли Иванов ведет себя. Тот даже не рассердился.

— Я же получил премию, — сказал он. — Зря премии не дают. Мама была бы рада.

Его жена Соня навсегда уехала от мужа, взяв с собой дочку. Она поселилась у родственников под Запорожьем.

Иванов посылал алименты на воспитание дочери, а

когда получал премию, присылал больше. Если Соня получала денег больше, чем рассчитывала, она долго плакала.

Последний раз Иван Иванович прислал дополнительные тридцать рублей в 1947 году, в день восемнадцатилетия дочери.

В то время он уже работал в Академии наук, но не ученым, а исполнителем в Президиуме. Тогда случился казус: к нам в страну приехала высокопоставленная делегация из недружественной страны, чтобы ознакомиться со сталинским планом преобразования природы. Для делегации был выделен специальный участок, где должны были колоситься поля, огражденные буйными лесными посадками. Однако за день до отъезда делегации стало известно, что посадки, созданные на принципах внутривидового сотрудничества и взаимопомощи, завяли, а поля, засеянные ржаной пшеницей, перерожденной из яровой, пусты. Ни остановить делегацию на правительственном уровне, ни пустить ее в сторону не удалось. Тогда тот академик, который придумал дружбу между деревьями, отыскал Ивана Ивановича и обещал ему премию.

Иван Иванович, как он мне признался, взял географическую карту того района и выяснил, что выше него находится большая плотина. По согласованию с академиком и другими лицами он предложил выход. Он сам отправился на ту плотину и в нужный момент открыл все ее створы. Река, разлившаяся по полям и лесным полосам, нечаянно утопила иностранную делегацию, а также несколько деревень. Были принесены соответствующие извинения за стихийное бедствие. Больше подобные делегации не ездили. Иван Иванович получил свою премию, но был строго наказан за самоуправство и три года провел в лагерях строгого режима.

Денег оттуда он семье не посылал, потому что дочь уже достигла совершеннолетия и никто не ждал от отца вестей. В то же время он четырежды получал в лагере премии. В первый раз за то, что исполнил просьбу начальника лагеря экономить ватники заключенных, которые за пятилетку изнашивали ценную одежду до дыр. Он предложил совместить борьбу за экономию ватников с эконо-

мией питания. Двойная экономия привела вскоре к тому, что ватники стали освобождаться от содержимого вдвое быстрее, а из сэкономленных продуктов удалось выделить премию Иванову в виде пирожка с повидлом.

Иванов был освобожден досрочно. Он не изменился, лишь облысел. Обиды ни на кого не таил, так как все премии, которые ему были обещаны, как до ареста, так и во время жизни в лагере, он получил.

Я пропускаю здесь несколько лет плодотворной работы Ивана Ивановича. Но надо сказать, что за эти годы он получил более двадцати премий и репутация его настолько укрепилась, что его стали использовать в самых различных областях хозяйства.

Однажды судьба свела его с бывшей женой Соней.

Проблема, стоявшая перед проектировщиками большого комбината в Запорожской области, заключалась в том, что комбинату требовалось много воды, а воды было мало. Пригласили Иванова. Обещали премию.

Иван Иванович решил, что посетит во время этой командировки свою семью. Семья встретила его прохладно. Дочь была замужем и отца не узнала. А Соня узнала, но не обрадовалась. Чтобы не тратиться на гостиницу, в которой были номера лишь по три рубля, тогда как командировочные Ивана Ивановича предусматривали оплату в размере полутора рублей, Иванов решил переночевать в домике у Сони.

Ему постелили у окна на диване.

Утром Иван Иванович проснулся от звона цепи. Его жена набирала воду из колодца. Он встал, подошел к колодцу и увидел, что до воды метров десять.

Попрошавшись с Соней, Иван Иванович отправился в Запорожье и узнал у специалистов, что в том районе есть большая подводная линза, из которой и черпают воду местные жители. Иван Иванович обрадовался, вернулся в Москву и там сообщил, что воду для комбината можно найти, если выкопать возле него колодцы глубиной в пятьдесят метров и качать воду прямо из линзы.

Некоторые специалисты полняли шум, уверяя, что этим будет ликвидировано местное сельское хозяйство.

Однако они не знали, как суров становится Иван Иванович, когда дело идет о заслуженной премии. Он смог пробиться к министру, и комбинат получил воду, а Иванов премию. Четыре близлежащих района области были выселены, так как невозможно возить воду в цистернах для ста пятидесяти тысяч семей. Когда в другом министерстве, которое прознало о способностях Ивана Ивановича, решено было повернуть на юг северные реки и таким образом насытить влагой поля юга, исполнителем пригласили Иванова. Иванов уже стал пожилым человеком. Он получил отдельную однокомнатную квартиру, где повесил фотографию мамы и почетные грамоты, но жениться снова не стал.

Ученые и любители старины сильно возражали и рвались в кабинет к министру, чтобы объяснить, почему нельзя губить север ради спасения юга. Иван Иванович добился в министерстве, чтобы другим ученым, которые будут доказывать обратное, тоже дали премии. Другие ученые, узнав о премиях, стали доказывать общественности, что опасения первых ученых напрасны. Тем временем, пока никто не мог разобраться в споре, Иванов дал сигнал бульдозерам и экскаваторам двинуться на север, где они срочно прокопали каналы. Эта борьба, закончившаяся победой Ивана Ивановича, заняла три года. Но для Иванова не прошла бесследно. Он получил премию в размере ста двадцати рублей. И смог купить красивый импортный торшер.

Еще пятьдесят рублей премии он получил за то, что ему удалось уничтожить озеро Байкал. А потом шестьдесят пять — за ликвидацию Аральского моря.

Газеты и журналы метали громы и молнии в министров и академиков, полагая, что это они уничтожают природу и культурные ценности. Что из-за их легкомысленных, корыстных и даже преступных действий нашим детям нечего будет есть и нечем дышать. Но никто не метал молний в Ивана Ивановича, потому что он был совершенно незаметен. И никто так и не догадался, что именно его страсть к получению небольших, честно заре-

ботанных премий и есть главная причина упадка нашей цивилизации.

На рубеже девяностых годов Иван Иванович, согбенный возрастом, собрался уйти на пенсию. Но тут его вызвал к себе сам Петрищев.

— Иван Иванович, — сказал Петрищев, — как ты знаешь, народ у нас за последние годы очень разболтался. Все труднее строить новые заводы, так нужные нашему министерству для выполнения плана. Мы, конечно, не возражаем с тобой против охраны окружающей среды.

— Нет, не возражаем, — сказал Иванов.

Петрищев налил в стакан воды из графина, подошел к подоконнику и лично полил стоявшие в горшках цветы.

— Боюсь, что Златогорский комбинат нам не дадут пустить. И тогда мы не реализуем ассигнования.

— Плохо, — сказал Иванов.

— Мне хотелось бы дать тебе премию, Иванов, — сказал Петрищев. — И немалую. Рублей в сто. Как ты на это смотришь?

— А чем они мотивируют?

— Ах, не говори! Типичные демагоги. Говорят, что дым этого комбината уничтожит воздух над Европейской частью территории нашей страны. А это — преувеличение.

— А премия когда будет? — спросил Иванов.

— Сразу, как только задымят трубы комбината.

Удивительная сила духа и упорство крылись в этом немощном на вид старичке. Не прошло и шести месяцев, как, несмотря на протесты общественности, на три специальных постановления правительства и даже резолюцию ООН, Златогорский комбинат дал первый дым. Вскоре половина человечества была вынуждена перейти в газоубежища.

Премию Иван Иванович получил вместе с противогазом. Он отложил ее на черный день и переселился в газоубежище.

Там мы с ним и познакомились.

Длинными вечерами Иван Иванович дребезжащим голосом рассказывал мне о своей жизни, и постепенно я стал

понимать, какую громадную, неоцененную роль он сыграл в жизни нашего государства. Я сказал ему об этом, и Иван Иванович удовлетворенно кивнул. А на следующей неделе, когда из-за кислотных дождей никто не мог выйти из газоубежища, мы с ним занялись подсчетами. Оказалось, что за свою жизнь Иван Иванович получил в общей сложности сто сорок две премии общей суммой в восемь тысяч тридцать два рубля. Это помимо зарплаты. Затем мы с ним стали подсчитывать, во сколько его деятельность обошлась стране. Без ложной скромности Иванов согласился на мои неполные выводы: восемнадцать триллионов с хвостиком. И каждый новый день, сколько бы их ни осталось до конца света, стоил не меньше шестнадцати миллиардов.

— Что ж, внушительно, — сказал старенький Иванов. Впрочем, эти цифры на него не произвели большого впечатления, потому что были абстрактны. Я сужу об этом, потому что за последующие дни он ни разу не вспомнил о них, зато как-то утром растолкал меня, чуть не свалив с раскладушки.

— Послушайте, — шептал он. — Мы ошиблись. Я забыл о трех премиях. Общая сумма — восемь тысяч триста тридцать шесть рублей.

Вот так-то!

Вчера Иван Иванович покинул нас.

В полдень в газоубежище вошли три человека в галстуках и противогазах. Они долго шептались с Иваном Ивановичем. Наконец один из них внятно произнес:

— Премию вам гарантирую.

Иван Иванович подмигнул мне и ушел вместе с ними, натягивая противогаз.

Уже третий день я жду конца све...

ТЕБЕ, ПРОСТОЙ МАРСИАНИН!

Рассказ-гипотеза

На своем опыте я убедился в том, какую огромную роль может сыграть маленький человек в истории планеты. Я имею в виду себя. Подумать только, если бы моя кузина не работала в Марсводхозе, судьба Марса могла бы сложиться иначе.

Когда колодец в нашем поселке совсем пересох, я приехал в Соацеру, потому что нехватка воды грозила разорением. Моя повозка, запряженная белым рогатым медведем, за два дня преодолела расстояние от предгорий Соара, через плодородные поля Азоры до громадного пустыря древней Соацеры, над которым возвышался монумент Магацитла. Я миновал развалины цирка, проехал под рухнувшими арками. Над моей головой пролетали крылатые лодки и парусиновые птицы горожан. Смуглые лица высывались из воздушных экипажей...

Вот и прекрасная Соацера, столица Марса. Пурпуровая, серебристая, канареечная листва парков сомкнулась надо мной, засверкали отблесками солнца окна уступчатых домов, когти медведя застучали по белым плитам улицы.

Я остановил повозку у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачноватого здания из черно-красного камня. По широкой лестнице между квадратных, суженных кверху колонн, доходивших только до трети высоты дома, спешили, спускаясь и поднимаясь, многочисленные инженеры и чиновники в черных и красных тогах и круглых шапочках.

Я долго не мог отыскать места, чтобы поставить мою

повозку. Дважды меня отгонял солдат в белом яйцевидном шлеме и в серебристой широкой куртке с толстым воротником, закрывающим шею и низ лица. Он дениво ругал меня «темной деревенщиной» и даже намеревался избить меня дубинкой, но потом, узнав, что я из соарских красв, а значит, его земляк, смиловился и разрешил привязать медведя у стоянки наземных экипажей.

Мою кузину Шохихи я не без труда отыскал на восьмом этаже здания Верховного совета инженеров. Марсводхоз, где она состояла секретаршей инженера, был в те дни организацией незаметной, бедной и, можно сказать, бесперспективной. В титанической борьбе, что кипела в вышних эшелонах власти, Марсводхоз участвовать не смел, перебиваясь мелкими заказами.

Кузина Шохихи обрадовалась, когда я стал вынимать из мешка дары сельской жизни — фрукты и ранние овощи, которыми в том году, хоть и скудно, нас одаривали боги. Затем я объяснил кузине цель моего прихода.

Кузина моя, несмотря на молодость, была бойка и умела устраиваться в жизни, иначе как объяснишь тот факт, что она, единственная из нашей волости, пробилась в Верховный совет инженеров?

После недолгого размышления Шохихи велела мне ждать, а сама скрылась за массивной дверью. Возвратилась она через три минуты и с лукавой улыбкой велела мне войти в кабинет.

Разумеется, я оробел. Мне еще никогда в жизни не приходилось входить в обиталище столь важной персоны.

За каменным столом восседал худой человек в высокой зеленой шляпе, что свидетельствовало о его принадлежности к Марсводхозу. Он улыбнулся мне тонкими губами и спросил:

— Зачем пожаловал, поселянин?

Я быстро опорожнил мешок, выложив на стол те овощи и фрукты, что остались после подарков кузине. Начальник не возражал, он поглядывал на меня, не переставая улыбаться.

— Вижу, — сказал он наконец, — что проблема твоя мала, как малы твои деревенские подарки.

— Воистину, — согласился я.

— Он хороший, хоть и простой человек, — сказала от двери моя кузина.

— Вижу, — согласился худой инженер, которого, как я впоследствии узнал, звали Лецатлом.

Он ждал.

— Колодец в нашей деревне, — сказал я, униженно пряча взор, — скоро совсем усохнет. Вода уходит все глубже. Плохо марсианскому крестьянину.

— Знаю, — тяжело вздохнул Лецатл. — История Марса завершается. Жизнь вымирает на нашей планете. Пройдет несколько столетий, и последний марсианин застывающим взором в последний раз проводит закат солнца.

Инженер Лецатл вздохнул.

Я был потрясен его словами. У нас в деревне никогда не думали о судьбах Марса. Мы полагали, что существующий порядок вечен, и к рассказам о волнениях в городах и даже о войнах относились равнодушно. Пускай городские дышат дымом хавры и летают на полотняных птицах — не наше это дело.

— Подумай, темный крестьянин, — продолжал Лецатл. — Как я могу поднять уровень воды в твоём колодце? Может, ты полагаешь, что я буду таскать туда воду в кожаных ведрах?

Моя кузина хихикнула, я подумал, что пропали зазря овощи и фрукты, которые мы собирали со всей деревни.

И тут стена справа от меня раздвинулась, и в кабинет Лецатла вошел другой инженер, потолще — сам главный инженер Марсводхоза Таскаб, лишь недавно назначенный на должность и желающий себя показать.

— Я услышал случайно ваш разговор, — сказал он высоким скрипучим голосом.

Лецатл вскочил из-за стола. Кузина пала на колени. Я последовал ее примеру, потому что каждый крестьянин знает, что лучше лишний раз упасть в пыль, чем получить палкой по голове.

— Я услышал и подивился твоей ограниченности, Лецатл, — сказал Таскаб. — Может быть, визит этого тем-

ного поселенца — знак небесного благоволения. Разве ты не знаешь, что Марсводхоз намереваются прикрыть, считая, что от нас нет пользы? А если прикроют, Марсводхоз, куда ты пойдешь, уважаемый Лецатл? Может, ты хочешь присоединиться к городской черни?

— Но я не вижу связи, великий Таскаб, между моей судьбой и судьбой поселенца, — смутился Лецатл.

— Когда народу плохо, — ответил его начальник, — куда идет народ за помощью? Он идет в Марсводхоз.

— Но мы не можем рыть колодцы! — возразил Лецатл. — У нас нет для этого средств и техники.

— Ну что же ты мелочишься, мой глупый Лецатл? — сказал ему начальник, подошел к столу, выбрал самое зрелое яблоко из принесенных мною и надкусил его. — При чем тут колодцы? Мы проведем канал к деревне нашего друга, поведем его от реки Лиазы и напоим страждущие поля.

— На это нам не выделяют ассигнований!

— Замолчи! Мне надоело тебя слушать! Народ требует, а мы с тобой кто? Мы — слуги марсианского народа!

— Простите, великий инженер, — вмешался я, — нам совсем не нужен канал. Нам бы воды в колодец...

— Почему вам не нужен канал? — строго спросил Таскаб.

— Канал будут строить много лет, а когда его построят, наши поля уже высохнут и нам придется переселяться в другое место.

— Ты видишь только свою деревню, — сказал главный инженер. — Думай обо всей волости. Ты представляешь, как повысятся урожаи, когда целая река придет к твоим краям?

— Это, конечно, хорошо...

— Твои дети будут купаться в реке, ты будешь умываться каждое утро!

— Мы, марсиане, к этому не привыкли. Часто мыться вредно.

Но главный инженер меня уже не слушал. Он обернулся к кухне Шохихи и сказал :

— Неси сюда чистый свиток и палочки для письма. Я буду диктовать тебе письмо в Совет инженеров!

Я не верил своим ушам! Мой скромный визит вызвал к жизни столь важный документ. В своем письме в Совет инженеров Таскаб сообщил, что народ Марса, в первую очередь жители волости Соар, а также долины Азоры требуют немедленно провести канал, чтобы спасти их от засухи и голодной смерти. Конечно же, смерть нам не грозила, да и жители плодородной долины Азоры не нуждались в каналах, но письмо Таскаба в Совет инженеров звучало столь тревожно и убедительно, что у меня на глаза навернулись слезы.

Когда я возвратился в деревню, в моей хижине собрались односельчане.

— Ну что, починят нам колодец? — спросил старейшина деревни.

— Бери выше, — сказал я, чувствуя себя причастным к великим решениям столицы. — К нам проведут настоящий канал. Наши дети будут в нем купаться, а воды будет столько, что у каждого дома мы устроим бассейн.

Соседи покачали головами, не поверили мне. Не поверили они и газете, в которой вскоре было напечатано, что для того, чтобы покончить с нехваткой воды в предгорьях Соара, решено построить специальный канал от реки до хребта.

Канал строили четыре года. Трудно приходилось Марсводхозу. Опыта не было, к тому же ставили палки в колеса завистливые конкуренты и высоколобые из Совета инаний, утверждавшие, что воды на Марсе и без того недостаточно. Зачем же тратить ее столь неразумно?

Но вот наконец, когда крестьян в нашей деревне уменьшилось вдвое — поля наши уже не могли прокормить всех едоков, — канал добрался до высохшего колодца. Он прорезал своим широким ложем всю долину Азоры, поглотив поля и виноградники, стоимость его оказалась в шестнадцать раз больше проектной, а рабочих на строительстве померло видимо-невидимо. Но так как Марсводхоз думал лишь о счастье простых людей, строительство было завершено.

В ночь двойного полнолуния за мной прислали из Соацеры специальную воздушную лодку. В ней прилетела моя кузина Шохиhi в новой шубе из лапок песчаных крыс.

— Кузен! — воскликнула она, подбегая к моей покосившейся хижине, что стояла над откосом канала. — Ты включен в комиссию по открытию канала как представитель народа. Одевайся!

— О, Шохиhi! — ответил я. — Мы так обеднели, пока ждали воды, что я был вынужден продать все свои накидки и плащи. Да что я! Посмотри, мои соседи тоже ходят в рубище, а то и голышом.

— Ничего, — ответила Шохиhi, бросив взгляд на собравшихся соседей. — Мы выдадим тебе одежду из фондов Марсводхоза. А когда придет Большая вода, вы все разбогатеете и купите серебряные плащи.

На следующее утро, получив казенный плащ, который был мне велик и волочился по полу большой воздушной лодки, я был представлен важным инженерам, что собрались на борту этого экипажа. Начальство, облаченное в серебряные и черные плащи, в различного вида головные уборы, улыбалось мне и поздравляло в моем лице марсианских земледельцев, о которых оно так славно позаботилось.

Лодка легко поднялась в воздух над окраиной Соацеры, там, где река Лиаза протекала по соседству с монументом Магачитла. По знаку, сделанному самим Таскабом, раскрылись могучие бронзовые врата, и воды реки хлынули в широкое ложе канала, гоня перед собой пыль и остатки забытой в канале техники. Лодка летела невысоко, следуя за валом воды, стремившейся по каналу. Жители окрестных деревень сбегались, чтобы полюбоваться зрелищем. Среди крестьян я угадывал чинов Марсводхоза, которые подсказывали, когда поднимать руки и ликовать. Рядом со мной стояли Таскаб и инженер Лецатл. Они тихо переговаривались, не обращая на меня внимания, как не обращают внимания на сенную мышь.

— Сейчас наступит момент, — сказал Таскаб, — что-

бы утвердить объемы работ на будущий год в десятикратном размере.

— Совет инженеров приятно поражен, — заметил Лецатл.

— Еще бы! Всюду разруха, только мы добиваемся успеха.

Они обернулись к Великим инженерам, которые стояли у борта воздушной лодки, с улыбками наблюдая за тем, как волна, катившаяся по каналу, смыкает с берегов остатки разрезанных им полей и несет, несет вверх мусор и труху. Затем корабль повернул обратно, чтобы успеть к банкету.

До нашей деревни вода в тот день не дошла. Инженеры сказали, что так и надо, но вскоре в долине будет сооружена дополнительная насосная станция, там, где последние капли воды впитывались в темный песок.

На банкете меня кормили рядом с инженерами. Потом велели прочесть тост. Текст на золотом свитке дала мне Шохихи. Буквы были большие, и я прочел почти без запинок. Затем, уже пешком, я вернулся в деревню.

Огромную насосную станцию построили на нашем канале еще через три года. К тому времени в нашей деревне осталось лишь пять домов, а воду мы возили из долины Азоры в бочках. Черпали ее из того огромного солоноватого болота, что образовалось за насосной станцией, поглотив большую часть некогда плодородных полей. Большинство жителей долины переселились в город и превратились в курильщиков хавры.

К сожалению, насосной станции было нечего качать. И тогда возник великолепный план, должный решить заодно и проблему снабжения столицы водой, так как сильно обмелевшая Лиаса уже неспособна была напоить город. Четверть государственного бюджета была выделена на то, чтобы провести канал от северной полярной шапки Марса к истокам Лиазы. Канал должен был достичь длины в тысячу дневных переходов, иметь на своем пути множество насосных станций и водохранилищ.

...Я попал в Соацеру в надежде добыть там бочку для воды. Наша прохудилась. Мучаясь от пыли и жары, я

обошел весь город, но ни в одной лавке бочек не отыскал, так что пришлось брести в Марсводхоз, чтобы попытаться увидеть мою дорожку Шохихи.

Марсводхоз к тому времени отделился от Совета инженеров и построил в центре Соацеры на площади Атлантиды черный небоскреб, в котором трудились тысячи чертежников и инженеров. Летающие лодки и воздушные шары сотнями опускались на плоскую крышу небоскреба.

Меня долго не пропускали в здание. Я пытался доказать у входа, что я и есть первый простолудин, который вызвал возвышение Марсводхоза, но меня, глядя на мои жалкие одежды, лишь поднимали на смех.

И все же мне повезло. В тот момент, когда меня, пиная остроносими башмаками, вытаскивали из громадного нефритового холла, мой отчаявшийся взор упал на большую мраморную статую, что возвышалась у стены. Статуя изображала марсианина в сельской тоге с кожаным ведром в руке. Черты лица марсианина показались мне знакомыми.

— Стойте! — закричал я пронзительным голосом. — Прочтите, невежественные солдаты, надпись под этой статуей!

Некоторые из солдат засмеялись, но начальник караула смиротворился и прочел буквы, выбитые на постаменте:

«Тебе, простой марсианин, наш труд и наши достижения!»

— Это же мой памятник! — кричал я. — Это памятник мне!

Солдаты растерялись, ибо не ожидали такого поворота событий, а начальник караула, хоть и не угадавший сходства между мной и мраморной статуей, на всякий случай велел меня отпустить и позвонил наверх к Шохихи. Та, узнав, в чем дело, приказала пропустить меня.

Я еще раз взглянул на мраморную статую и, погрозив пальцем солдатам, поднялся на лифте на сороковой этаж, где находился кабинет моей кузины. Она страшно растолстела и стала главным секретарем и первой наложницей Верховного инженера Таскаба.

Кузина встретила меня очень мило, расспросила о жизни в нашей деревни и огорчилась, узнав о ее бедственном положении. Потом она напоила меня настоем горных трав и показала большую карту Марса, висевшую на стене кабинета господина Таскаба, который в тот день отсутствовал, так как повез правительственную комиссию на южный полюс.

Вид моего родного Марса меня поразил. Ведь я учился целый год в школе и там тоже была карта. Но как разительно она отличалась от марсводхозовской! На последней вся планета была исчерчена прямыми полосами, которые, пересекаясь, образовывали водохранилища и озера.

— Любуешься? — сказал инженер Лецатл, входя в кабинет. — Впечатляет?

Он еще больше похудел, но одет был богато.

— Очень рад, — произнес я, опускаясь на колени и целуя край плаща великого инженера. — Но скажите мне, о инженер, почему нужно перекопать весь наш Марс?

— Чтобы его спасти, — сказал инженер.

— А как же раньше?

— Раньше? Раньше не было каналов, и народ был несчастлив.

— Когда как, — вздохнул я.

— Серость неблагоприятная! Неужели ты забыл, как наш первый канал напоил твою деревню?

— До нас-то вода так и не дошла, — вздохнул я.

— Это частность, — нахмурился инженер. — Мы думали о главном. Нам удалось спасти от засухи долину Азоры.

— Но, великий господин...

— Молчи. Правда, пришлось пожертвовать рекой, которая ранес питала водой Соацеру. Наша столица поделилась водой с народом.

Я поклонился, потрясенный подвигом нашей столицы.

— Но мы не могли оставить без воды тех честных тружеников, что обитают в главном городе Марса, — продолжал Лецатл. — И потому начали колоссальные работы по перекачке воды с северной снежной шапки. Несколько лет вся страна в громадном напряжении ковала

светлое будущее. Вместо телевизоров заводы выпускали землечерпалки, вместо летающих лодок — лопаты.

— Ах, какой энтузиазм! — поддержала инженера моя кузина.

— Позвольте задать глупый вопрос, — сказал я. — Зачем же выпускать землечерпалки, если канал уже построен?

— Канал построен, — снисходительно усмехнулся Лецатл. — Но дело наше не закончено. Сегодня Марсводхоз стал самой главной организацией Марса, на него вся надежда...

— А если его не станет?

— Ах, какой ты темный! — вздохнула кузина.

— Куда же вы денете миллионы рабочих, — рассердился Лецатл, — которые роют каналы? Куда вы спрячете тысячи машин, что сделаны по нашим заказам? Что будут делать наши проектные институты и управления? Что?

Инженер Лецатл гневался, и я отступил в сторону, боясь, что он меня убьет. Но тут красный бог пустыни потянул меня за дурацкий язык.

— Значит, вы работаете для себя? — спросил мой язык. Клянусь, что я к этому вопросу не имел отношения. Так что побои, которые обрушил на меня Лецатл, были незаслуженными.

Уморившись колотить меня, инженер воскликнул:

— О нет! Мы не эгоисты, мы не палачи Марса, мы не преступники, как утверждает некий так называемый эколог...

Тут Лецатл в негодовании плюнул, моя кузина тоже плюнула, и я, чтобы не отставать от образованных людей, плюнул вслед за ними.

Лецатл несколько успокоился. Он подошел к окну и, глядя на равнины Марса, открывшиеся его взору, тихо сказал:

— Все не так просто. Когда мы взяли воду из северной полярной шапки, по всей планете стало меньше дождей. И чем лучше работал наш главный канал, тем сильнее свирепствовали засухи. Да, вода в столицу поступала. Но

высохли окружающие поля, и некому стало кормить город.

— Надо было тут же закрыть канал! — сказал я.

— Это было бы капитуляцией! Мы сделали лучше. Мы протянули еще более грандиозные каналы от южной полярной области.

Инженер Лецатл подошел к карте Марса и включил бегущие огоньки, чтобы показать мне, какие каналы уже несут живительную влагу на поля, а какие еще строятся. Это было чудесное зрелище, и оно меня порадовало.

— Значит, теперь с сельским хозяйством хорошо? — спросил я.

— Скоро будет хорошо, — твердо ответил инженер. — Правда, основные резервы снега на полярных шапках истощены и дожди на всей планете прекратились.

— Это я чувствую всей шкурой, о великий, — согласился я. — Но куда девается вода? Ведь раньше ее не было только в моем колодце.

— Воду поглощают пески, вода разливается, просачивается, даже разворовывается. Ты не представляешь, какое на Марсе идет вредительство!

— Всех бы расстрелять, — заметила моя кузина.

— А безответственность некоторых рядовых строителей? — продолжал Лецатл. — А плохое качество строительной техники? А нехватка материалов? Об этом ты подумал?

— Нет, не подумал, — сказал я.

— Всех расстрелять, — сказала Шохихи.

— Так что сейчас мы приступили к суперканалу, — сказал Лецатл. — Он соединит тремя линиями северный и южный полюса и наладит нормальный баланс воды на планете. И тогда все будет хорошо.

Лецатл замолчал.

— Великий инженер, — сказал я, — нельзя ли для нашей деревни достать новую бочку? Нам не в чем возить воду из болота, в которое превратилась долина Азоры.

— Вон отсюда! — закричал инженер. — Чтобы я тебя больше не видел! Своим разговором о бочках ты

подрываешь великую идею! Я тебе целый час говорил о достижениях, а ты ответил мне черной неблагодарностью.

— Тебя надо расстрелять, — сказала моя добрая кузина.

Чтобы они не успели привести в исполнение эту угрозу, я убежал по лестнице с сорокового этажа.

На улице, как всегда, ярко светило солнце. Когда я брел обратно в деревню, задыхаясь от жары и мучимый жаждой, то увидел, как на пустыре у памятника Магациглу расстреливали саботажников. Среди них было несколько экологов в лиловых тогах и высоких шапках.

На дне канала, того самого, первого и знаменитого, который должен был заменить мой колодец, стояла желтая тина.

В деревне я никого не нашел. Люди ушли.

Без бочек я не мог возить воду из болота, да и вода была там вонючая. Чтобы не помереть с голода, я перебрался в горы и там в узком ущелье отыскал небольшой родник, возле которого я с тех пор и живу. Родник с каждым месяцем скудеет. Не знаю, кто из нас иссякнет раньше...

Уже пять лет я не видел ни одной живой души. Если раньше над головой иногда пролетали воздушные лодки, то теперь небо опустело. Вчера мне приснилось, что я поднимаюсь над Марсом на большой птице. И вижу, что он весь изрезан широкими высохшими каналами. И ни одной души... Лишь где-то возле северного полюса последние инженеры из Марсводхоза строят свой последний канал.

ТРЕВОГА! ТРЕВОГА! ТРЕВОГА!

1

Высокий, стройный, несмотря на свои сто двадцать лет, Верховный координатор Дальней разведки широкими шагами пересек полутемный зал космической связи. Техники безмолвно поднялись при его приближении. Огоньки на пультах тускло отражались на серебряном мундире координатора. Безмолвное напряжение опустилось на зал. В тишине, подчеркиваемой шепотом самописцев и тихим жужжанием самонастройки, голос координатора прозвучал громом.

— Канал срочной связи, — произнес он.

От легких и быстрых движений техников ярче загорелись экраны. Мигнула мириадами огоньков схема готовности.

— Код? — спросил первый техник.

— Шесть-особый. Тревога первой степени.

— Все каналы свободны, — сказал второй техник.

Координатор опустился в кресло. Его рука в черной перчатке на секунду замерла над пультом, прежде чем набрать известные лишь координатору цифры...

Палец решительно опустился на пульт, коснулся первой цифры...

2

Зарево вулканов окрашивало небо в грозный багровый цвет. Иногда по непрочной еще коре планеты прокатывалась волна землетрясения. Вездеход по касательной опустился возле висящего над черным камнем пузыря станции.

Усталый разведчик тяжело спрыгнул на пиритовую

плиту, скафандр особой защиты делал его похожим на старинного робота.

Мягко открылся люк, приглашая Свиридова войти в уют и безопасность станции.

Лишь одна мысль, одно необоримое желание завладели мозгом и телом разведчика — спать...

Натруженными руками он снял шлем. Растер жесткими пальцами глубокий красный шрам, пересекающий щеку. Взглянул в зеркало. «Сколько тебе лет, старина?» — спросил он свое изображение. Изображение сощурилось в ответ. Лицо было молодое, но глубокие складки у губ, щетина на подбородке, мешки под глазами мешали поверить, что ему лишь завтра минет тридцать.

Струи дезинфицирующего душа ударили по плечам и животу. Но не принесли свежести и облегчения. Свиридов был по ту сторону усталости.

Переодевшись в шорты и голубую домашнюю накидку, Свиридов прошел на Центральный пункт. Ирида коротко взглянула на него. Изображения на экранах зашатались, заваливаясь вправо.

— Что, трясет? — сказал Свиридов.

— Поспи, — сказала Ирида, обратив на него пристальный немигающий взгляд сирианки. — Три часа. Потом снова на вахту. Возможен взрыв на склоне Пленницы. Надо будет эвакуировать оборудование.

— Три часа? — спросил Свиридов.

— И ни минуты больше.

Свиридов сказал себе: три часа — это вечность, это спасение...

Неожиданно вспыхнул экран внутреннего оповещения.

Зеленое лицо второго исследователя, увеличенное втрое, так что видна была каждая чешуйка на лбу и хоботе, смотрело на Свиридова.

— Никита, — сказал Второй, — экстрасрочная с Земли. Тебе.

Лицо исчезло — на экране возникла желтая полоска космограммы. С легким щелчком она отделилась от экрана и перелетела в руки Свиридову.

— Ты знала? — спросил Свиридов у Ириды, прочтя космограмму.

- Да, — ответила сирианка.
- Надо лететь, — сказал Свиридов, преодолевая дурноту.
- Сквозь пылевую на планетарном катере тебе до утра не прорваться, — сказал с экрана Второй.
- Надо, — сказал устало Свиридов.
- Может, поспишь сначала? — спросила Ирида. В ее ровном голосе впервые за последний месяц прозвучала жалость.
- Не нужно меня жалеть, девочка, — сказал Свиридов, попытавшись улыбнуться. — Надо. Я прошел сквозь льды Андромахи и огонь Белого Карлика. Я постараюсь прорваться.
- Ты прорвешься, — сказал Второй.
- Я готовлю катер, — сказала Ирида. — Надевай скафандр.
- Что в ее инопланетном взоре? Неужели это любовь?
- Чтобы никто не увидел, как покраснел его шрам, Свиридов отвернулся и натянул шлем.
- Надо, — повторил он. Голос его прозвучал глухо.

3

Рука в черной перчатке снова замерла над кнопками. Лениво перемигивались огоньки над пультами. Второй сигнал устремился в звездные дали...

4

Павел знал: за спиной поселок, посевы, теплицы. Если он не выдержит, погиб труд всей колонии.

Он стоял на краю рощицы живых, подвижных, трепещущих деревьев, которые, ощущая его напряжение и решимость, старались отклониться, прижаться к желтой земле. Растительный мир страшился грядущего боя.

Пискнул биолокатор, вмонтированный в браслет. Опасность!

Легким движением Павел включил гравитатор, и тот рывком вознес его над поляной, над вершинами деревьев.

Биолокатор не ошибся.

Огромные лиловые лопухи на болотце расступились, и

оттуда черной молнией вырвалась торпеда страшного хищника — перепончатого ящера. Ломая робкие деревья, ящер рухнул на поляну, там, где секундой раньше стоял Павел. Сообразив, что потерял добычу, ящер принялся рвать когтями траву и ломать стволы.

Павел включил мини-камеру — зрелище было достойно того, чтобы запечатлеть его на видео.

Это было ошибкой. Второй ящер услышал жужжание камеры. Тень его на мгновение закрыла солнце, и Павел лишь чудом успел увернуться от живого снаряда, круто уйдя к кустам, откуда к нему уже устремился бородавочник — скользкое трехметровое существо, схожее сразу с жабой и кабаном.

Павел разрядил в бородавочника бластер, затем перевернулся в воздухе так, что гравитатор чуть не разбил его о торчащую из болота скалу, и уже из-за скалы всадил очередь в разъяренную морду ящера.

Но это еще не победа. Павел знал, что на запах крови и паленой шерсти из леса вылетит вся стая. Надо отступать.

Второго ящера Павел срезал, когда тот опрокинул на него скалу, третий уже подстерегал его за болотцем. А часть своры уже пробиралась низиной к теплицам.

Поэтому пришлось вынырнуть из теплой жижи болотца, где Павел был почти в безопасности, и выскочить на открытое место, чтобы рептилии увидели своего врага.

Павел стоял, широко расставив ноги и непрерывно стреляя из бластера. Ящеры падали, корчились в судорогах, но на их месте тут же возникали новые и новые чудовища...

— Павел, — слышалось в шлемофоне. — Павел, ты еще жив?

— Сражаемся, — коротко ответил Павел. — Если продержусь еще полчаса, считай, что теплицы спасены.

— Павел, тебя вызывает Земля.

— Не могу отвлекаться.

Павел взмыл в небо и оттуда расстрелял группу бородавочников, что пытались прорваться по узкой промоине.

— Павел, — слышалось в шлемофоне. — Шесть-особый. Тревога первой степени.

— Еще этого не хватало!

Павел бился врукопашную с небольшим птеродактилем, который умудрился вцепиться ему в спину.

— Павел! — Вызов повторили.

— Эх! — сказал Павел, отрывая хищный клюв птеродактиля. — Не успел я спасти теплицы.

С этими словами Павел включил силовое поле и гравитацию на полную мощность. Лес стремительно пошел вниз. Один из ящеров еще пытался преследовать его, но быстро отстал и присоединился к стае, которая понеслась крушить лабораторию и теплицы...

А Павел уже вышел в стратосферу, к катеру, что ждал его на орбите.

5

Рука в черной перчатке набрала новую комбинацию на пульте.

Техники готовили каналы прибытия.

— Сигнал стопорится, — сказал Координатор.

— На пути «черная дыра», — ответил техник. — Чтобы пробить ее, нужна энергия всей Солнечной системы.

— Отдайте приказ. От моего имени. Переключить все станции Земли и Марса на мой пульт.

— Слушаюсь, — сказал техник.

6

Сто тридцать шесть этажей.

Общая высота — восемь метров сорок сантиметров.

Лаконичные линии, строгие очертания...

— Как ты думаешь, — спросил Джон, — им понравится?

— Должно понравиться.

— Как много от этого зависит! — сказал Джон.

— Земля будет благодарна нам, — согласился Джавад.

Да, земные специалисты неплохо потрудились. Жители планеты, трудолюбивые, схожие с муравьями двухсантиметровые насекомые, согласились наконец рассмотреть просьбу землян. В благодарность за дьявольский трехмесячный труд Джавада и Джона — разведчиков с Терры.

Четыре посольства направляла туда Земля в надежде

получить формулу лекарства от смерти. И четыре посольства отправлялись обратно несолоно хлебавши. Жители планеты не соглашались на обещания и посулы Земли. Но Джавад и Джон сделали то, что не удалось их предшественникам. Используя земную технологию, они построили небоскреб, который пришелся по душе не только населению, но и правительству планеты. И вот сейчас разведчики ждали встречи с правительственной комиссией. За небоскреб и проектную документацию они должны были получить лекарство от смерти.

— Еще два часа трудных переговоров, — сказал Джон, — и домой!

— Два часа? Я думаю, что и пятью часами не обойдемся. Ты же знаешь, какие у них сложные обычаи и правила. Каких трудов нам стоило зазвать комиссию на стройку!

— Надеюсь, ты не забыл, с какой ноги делать первый шаг и как кланяться канцлеру правой руки?

— Нет. Я помню это, даже если ты разбудишь меня среди ночи. А ты сам не забыл, как обращаться к Государственной шляпе?

Джон улыбнулся.

— Мы заслужили отдых, — сказал он. — Я так устал от бесконечных уменьшений и увеличений! Утром во мне два сантиметра, к обеду я возвращаюсь в естественное состояние, затем снова уменьшаюсь для споров со снабженцами, затем снова...

— И так далее, — подытожил Джавад. — Я даже порой забываю, какого же я размера в самом деле.

И, нажав на кнопку биотранслятора, он тут же начал уменьшаться.

— Погоди, Джавад! — взмолился Джон. — Рано!

— Пора, — откликнулся Джавад, ставший размером с кошку. — Сейчас придет их комиссия.

Он продолжал уменьшаться.

В ухе Джона щелкнул динамик космической связи.

— Говорит центр, — услышал разведчик. — Связь шесть-особый.

— Что случилось? — спросил Джон.

— Тревога. Срочно вызывают на Землю.

Джон посмотрел под ноги. Там, далеко внизу, у входа

в небоскреб, уже собирались зеваки. Среди них стоит Джавад. С минуту на минуту появятся кареты правительства.

— Мы не можем, — сказал Джон. — Через пять минут у нас решающая встреча. Земля получит лекарство от смерти.

Джон не смог скрыть ликования в голосе.

— Шесть-особый, — повторила Земля. — Тревога первой степени! Вы поняли?

— Я понял, — сказал Джон горько.

Джавад быстро увеличивался. Он тоже услышал вызов.

— Пошли? — спросил Джон.

— Пошли, — сказал Джавад.

Они смотрели вниз. Из-за холма появились первые правительственные кареты.

— Что ж, лекарство от смерти подождет, — криво усмехнулся Джон. И они поспешили к космическому кораблю.

7

Черный палец дотянулся до следующей кнопки.

— Можно давать свет? — спросил техник. — Многие в Солнечной волнуются. Звонят. В детских садах кухни отключились. Холодильники под угрозой.

— Минутку, — резко оборвал его Координатор. — Следующий вызов потребует дополнительной энергии. Земля потеряет.

8

Жюльен замер в тени нависающего над ним мрачного замка. Специальный плащ делал его практически невидимым. Третьи сутки, питаюсь лишь таблетками, он подслушивал переговоры пиратов Серого облака с графом Кровавого залива. Что привело их сюда, в мирный край Облачной империи?

Жюльен напрягся... Слышны шаги. Некто, стуча по каменным плитам подкованными каблуками, вошел в потайной зал. Кто это? Жюльен осторожно достал светящий-

ся регистр походок. Частота и амплитуда шагов совпадали с характеристиками шагов Эж-о, лилового палача бандитов Гонгоры... Но ведь мы были уверены, что этот голубчик отдыхает на Марциальных водах!.. Теперь все встанет на свои места. Вот он, дьявольский, столь опасный для Галактики союз пиратов, графа и мафии. Теперь главное — не упустить ни слова из их переговоров...

Жюльен включил дистанционно управляемые магнитофоны замка.

Каждое слово, каждый вздох долетали теперь до него...

Но раньше чем Жюльен услышал первые слова, в его ухе застрекотал галактический вызов:

— Внимание! Шесть-особый! Тревога номер один!

— Я не могу, — прошептали в микрофон посиневшие от холода губы Жюльена. — Я на задании.

— Шесть-особый!

— Это угроза всей Галактике.

— Тревога первой степени!

Жюльен выключил микрофоны и пополз кустами к прогалине, где под кучей сучьев скрывался его гравитолет...

9

— Последний вызов, — произнес Координатор. — И можете переключать снабжение энергией на Солнечную систему.

— Слушаюсь, — сказал техник и склонился к пульту связи.

Черная рука вновь протянулась к кнопкам вызова...

10

Базиль отозвался не сразу.

Батискаф попал в объятия щупальцев стометрового кальмара, и Базиль старался вырвать батискаф из ловушки, не убив последнего гиганта юрского моря.

А кальмар все тянул и тянул батискаф в глубину...

Нет, положение не было безвыходным. Базиль дал напряжение на внешнюю оболочку. Голубые электриче-

ские искры вспыхивали на присосках щупальцев. Но кальмар не намеревался отпустить жертву.

Базиль понял — пора включать вибрацию.

Батискаф задрожал.

— Вызов шесть-особый, — раздалось в батискафе. — Говорит Земля. Срочное возвращение.

— Не могу, — сказал Базиль. — Меня не пускают.

— Без шуток! — Он узнал голос самого Координатора. — Тревога первой степени.

— Тогда мне придется убить суперкальмара, а он в Красной книге.

— Постарайтесь обойтись без жертв, — сказал Координатор. — Но это не отменяет приказа.

— Значит, стрелять?

— Шесть-особый!

В батискафе воцарилась тишина.

— Прости, старина, — сказал Базиль, включая лазерную пушку...

11

Они входили поочередно в зал Координационного совета.

Разведчики высшего класса. Резиденты в дальних мирах. Элита галактической службы.

Сдержанно здоровались. Проходили к свободным креслам. Свиридов сразу задремал. Он очень устал.

Координатор вошел в зал. Он успел переодеться. На нем был алый плащ, на груди — большая Звезда Галактики.

Разведчики не вставали. Это не принято. Здесь все равны. Здесь каждый разделяет ответственность перед человечеством, неся свой крест на дальних планетах и в открытом космосе, защищая Землю от неожиданностей, внося свой вклад в покорение Вселенной. Избранные. Лучшие из лучших.

Координатор окинул их суровым, но теплым взглядом.

— Можете садиться, — произнес он, занимая свое кресло.

Эта фраза, оставшаяся с давних времен неравенства, была частью ритуала.

— Я созвал вас. — сказал Координатор, — так как в этом возникла крайняя необходимость.

Собравшиеся хранили молчание. Все понимали, что никогда Координатор не посмел бы оголить столь ответственные участки незримого галактического фронта, если бы не крайняя нужда.

— Сегодня к нам поступил следующий документ. — Координатор вынул из папки желтоватую пластинку. — «От Земгосстата Координационному совету. Срочно. Секретно, — прочел Координатор. Разведчики замерли в своих креслах. — Требуем по всем постам и станциям в трехчасовой срок представить отчетность по использованию канцелярских кнопок и бумаги. А также дать объяснение по вопросу перерасхода шестидесяти трех скрепок за период по январь текущего галактического года. Исполнение возложить лично на Верховного координатора».

Воцарилась мертвая тишина.

Координатор положил пластинку на сверкающую мраморную поверхность стола.

— Положение серьезное. — произнес он. — Сейчас же каждый из нас, включая меня, приступает к составлению отчета. Надеюсь, что скрепки будут найдены. Как, мальчики?

Свиридов, сон которого как рукой сняло, ответил за всех:

— Мы не подведем вас, шеф.

ПОСЛЕДНИЕ СТО МИНУТ

Я не выспался. Я спал на балконе, на раскладушке, там было чуть прохладнее, но грохотал гром, всю ночь вспыхивали молнии — будто кто-то входил ко мне, включал ослепительный свет над головой, а потом, не извинившись, уходил, потушив свет и оглушительно хлопнув дверью. И донимали комары, городские, мелкие, беззвучные, озлобленные, что совокупляются в мокрых подвалах и плодят таких же, мелких и подлых.

Я дремал, просыпался; мне казалось, что я совсем не сплю, хотя я, конечно, сколько-то спал.

Встал я в семь, начал собираться, формула «возьмите с собой только самое необходимое» вчера не казалась столь невыполнимой. Я принялся складывать самое необходимое на пол в комнате, чтобы потом отобрать из самого необходимого самое-самое необходимое. Процесс этот был длительным и очень печальным, потому что мне все время встречались вещи, которые нельзя было назвать необходимыми, но без которых существование теряло смысл.

Я стоял над грудой необходимых предметов, когда начал звонить телефон. Это было сразу после восьми.

— Прости, — сказал Булыгин, не поздоровавшись. — ты сегодня будешь в конторе?

— Не знаю. А что?

— У меня гипертонический криз. Не могу выйти на улицу. Но если я сегодня не заплачу за водопровод в дачном кооперативе, меня лишат. У тебя есть полторы сотни?

— Но я сегодня, наверное, не буду...

— Постарайся, Сережа. Мне очень нужно. Найдешь Каца и отдашь, полторы сотни, запомнил?

— Запомнил.

Я повесил трубку и утешил себя тем, что Булыгин уже позвонил с той же целью еще пятерым сослуживцам.

Я вернулся к груде абсолютно необходимых вещей и положил рядом с ней дорожную сумку.

Уже в половине девятого температура была тридцать три градуса. Жара держалась уже двадцать пятый день. И это в мае!

Я включил телевизор.

Скучный японский профессор рассказывал о необратимости парникового эффекта. Я принялся раскладывать необходимые вещи на две кучи.

Затем отечественный профессор, куда веселее и жизнеспособнее японского, комментировал речь коллеги, обвинил его в пессимизме и сообщил, что меры принимаются. Потом девица с красными волосами начала петь и припрыгивать. Наверное, это была старая запись. В Москве уже две недели никто не припрыгивает.

Я пошел в душ — все равно проблему необходимых вещей мне не решить.

Тут же меня догнал звонок телефона. Я вернулся. Совещание у Филимоненко состоится во вторник, в три часа, сказала секретарша Леночка.

Я согласился. Я не стал говорить ей, что во вторник меня уже не будет в Москве.

Я включил душ. Сквозь шум тепловатой воды донесся телефонный звонок. Мокрый, но не освеженный, я кинулся к телефону. Боба сказал, что умерла его тетя. Я эту тетю никогда в жизни не видел, но завтра будет вынос тела и надо помочь нести гроб. Я сказал Бобе, что меня не будет в Москве, но Боба не поверил и обиделся.

Я вернулся в душ. Снова зазвонил телефон. Междугородный. Это был Мирошниченко. Было плохо слышно, но я понял, что с поездками из Харькова произошла заминка и потому он не смог достать билета. Так что я должен ждать его через две недели. Я согласился ждать.

Доктор позвонил ровно в десять. К тому времени я успел поговорить с двенадцатью знакомыми и малознакомыми. Градусник за окном показывал тридцать восемь — температура поднималась катастрофически, как и предсказывал доктор еще на той неделе.

Доктор спросил:

— Вы готовы?

— Почти.

— Почему такой голос? Плохо спали?

— Плохо. Но это понятно.

— Разумеется, нервы?

— Нет, очень жарко.

— Я вам завидую. Если вы не лжете, то, значит, вы умеете владеть собой. Теперь слушайте меня внимательно. Сейчас десять часов три минуты. Через сто минут я жду вас на пустыре за гастрономом. Знаете?

— За стекляшкой?

— Да. Там забор, но в нем много отверстий, сделанных пьяницами. Сегодня суббота, на пустыре никого не должно быть.

— Через сто минут? — Мозги были совсем жидкими, и меня охватило вялое раздражение против его манеры изъясняться не по-человечески. Сто минут. Значит, во сколько мне надо быть на пустыре?

— Значит, на пустыре вы должны быть в одиннадцать сорок три. Ни минутой позже. Мы не можем ждать.

— Я понимаю, — сказал я.

— Надеюсь, вы уже уложили вещи?

— А можно взять вторую смену?

— Ни в коем случае. Вес вашей сумки не должен превышать пять килограммов триста граммов.

Доктор отключился.

Я подумал, что у меня достаточно времени, чтобы еще раз залезть под душ. Но не дошел до душа. Снова позвонил телефон, и я решил было не подходить, потому что после разговора с доктором окончательно понял, что завтра меня в Москве не будет, но потом все же подошел — в последний раз.

Звонила Ольга. Она очень удивилась, что я так рано встал, хотя я всегда рано встаю. Оказывается, она не хотела меня будить. Потом она спросила, как я себя чувствую, и я честно признался, что чувствую себя паршиво.

— Все себя чувствуют паршиво, — сказала Ольга. — Ты не представляешь — я сейчас говорю с тобой, а вся потная, словно камни таскала. Когда это кончится?

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, никогда.

— Ой, не надо меня пугать! Меня все пугают — и телевизор, и даже ЖЭК. У нас горячей воды нет.

— А разве сейчас бывает другая?

Она не поняла юмора и сказал:

— Я в принципе согласна на горячую воду, потому что ее можно охладить. Ты меня понимаешь?

— А что звонишь? — спросил я, поглядев на часы и поняв, что семь минут из отведенных мне ста я уже истратил.

— Вопрос сексуальный, — сказала Ольга. — Конечно, при такой температуре думать о сексе неприлично, но женщина должна устраивать свое личное счастье. Как ты думаешь, Андрюша не импотент?

— Что?

— Манихеева мне сказала, что она точно знает от его прошлой любовницы, что он практически импотент...

Когда я смог повесить трубку, оказалось, что потрачено пятнадцать минут.

И тут же телефон взвыл снова. Он требовал меня, он желал общаться.

Я протянул руку к аппарату и тут осознал, что я не только сто минут — я могу всю свою жизнь провести у телефона.

Я законопослушный человек и не люблю бить чашки. Но осознание катастрофы вошло в меня в этот момент так глубоко, что я осторожно и медленно поднял телефон на уровень плеч и с наслаждением мальчишки, который ломает дорогую игрушку, швырнул его на пол. От телефона отлетели какие-то куски, он весь стал плоский, но тут же зазвенел вновь.

И тогда я его растоптал.

Топтал я его увлеченно, но кончилось это плохо, потому что я поскользнулся на какой-то детали и сел на пол. Отшиб копчик. Да так, что думал — уже не встану. Только мысль о том, что мне осталось восемьдесят минут, заставила меня с крихтеньем подняться на четвереньки и приняться за отбор самых необходимых вещей.

Позвонили в дверь.

Я открыл, придерживая ладонью поясницу.

Это был почтальон.

Пот катился по нему ручьями.

— Я «Новый мир» не стал в ящик класть, — сообщил он мне. — Крадут. Из двадцатой квартиры жаловались.

Он передал мне журнал. На обложке были мокрые следы его пальцев.

— У вас попить не найдется, водички? — сказал почтальон. — Невыносимо работать. А кто о нас думает? У вас телефон разбился?

Мы пошли с ним на кухню. Из-под крана он пить не хотел, но, к счастью, нашлась вода в чайнике.

— Вчера по телевизору говорили, — сказал почтальон. — Нет гарантий, что не будет заражена вода, потому что очистные сооружения от этой жары остановились. Вы слышали?

— Нет, не слышал.

Почтальон пил медленно, мелкими глотками, я его знал уже лет пять, он все собирался на пенсию, потом возвращался, потому что дома было скучно.

— А вы в командировку собрались? — Он, оказывается, увидел, проходя мимо комнаты, мои вещи.

— Уезжаю, — сказал я.

— Только не на юг, — сказал почтальон. — Потому что там доходит до пятидесяти. У меня племянница вернулась. К счастью, живая.

— Я в другую сторону.

Он допил воду, поблагодарил, но ушел не сразу, он полагал невежливым уйти сразу. Я закрыл за ним дверь и понял, что до randevу мне осталось меньше часа. Внутри начал щекотать какой-то жучок. В конце концов, за что я держусь? Зачем мне галстук? Или вторые ботинки? Пожалуй, надо сделать вот что: три пары белья, рубашка, зубная щетка — представим, что мы отправляемся в Ленинград. На три дня. А остальное — сувениры. И две книги. Какие книги? Нет, надо взять мои статьи. И рукописи... А зачем сувениры?

Я метался по комнате. Нет, со стороны вы бы подумали, что я сижу перед вещами в кататоническом трансе. На самом же деле я мысленно метался по комнатам, хватал с полки и из шкафов вещи, тащил их к куче, выбрасывал, хватал другие...

Когда же я наконец поднял дорожную сумку, — конечно же, в ней было куда больше пяти килограммов, —

мне расхотелось уходить. Я все понимал: надо. И ничто меня не удерживало: ни семьи, ни друзей, ни родителей — все это было, и все это как-то кончилось...

Нет, понял я, так нельзя. Я выключил телевизор, который передавал приукрашенный прогноз погоды, сел на стул, посидеть на дорожку. Тихо тикали часы. Еще мамыны, настенные.

Я встал, подошел к двери, но тут же положил сумку на пол и побежал на кухню. Мне показалось, что я не выключил газ. Конечно же, я выключил газ.

Можно было бы еще посидеть — мне оставалось полчаса, а идти до гастронома не больше семи минут.

Лучше я приду раньше. Хватит. Каждая минута здесь бессмысленна.

Я закрыл окна. Ночью может быть гроза — каждую ночь бывают сухие грозы, после которых становится еще жарче. А если и получается дождь, то он тут же поднимается паром...

На улице были люди. Странно, но люди ходят по улицам. И будут ходить до последней возможности. Вот мать везет ребенка гулять... Вот старуха тащит с рынка сумку. Значит, на рынке чем-то торгуют. Я бросил взгляд на градусник — ртутный столбик стоял возле сорока. Днем поднимется до пятидесяти.

Я захлопнул дверь, вызвал лифт. Лифт приехал сверху. В нем стоял Мешков. В брюках и майке.

— Простите, — сказал он. — Я в таком неглиже. За газетой еду.

— Я понимаю, — сказал я.

Господи, подумал я, забыл деньги. Сберкнижку и деньги. Возвращаться?

Я поглядел на часы. Двадцать пять минут. Черт с ней, со сберкнижкой, там все равно рублей сорок, не больше.

Мешков навалился на меня, от него пахло потом.

— Нет, вы мне как физик скажите, что будет? Что будет?

— Ничего хорошего, — сказал я.

— Но ведь вы несете ответственность.

— Почему?

— Вы же, ученые, довели до такого состояния.

Но было слишком жарко, чтобы он мог накачать себя до действенного гнева.

Лифт остановился на первом этаже.

— Нет, вы не убегайте, не убегайте. Вы читали, что в Индии количество смертей достигло шестнадцати миллионов? А с Африкой потеряна связь. С целыми городами. И вы еще настаиваете, что не имеете к этому отношения?

— Не больше, чем директор любого завода, который травил воздух, — сказал я.

— Нет! Он же дурак, этот директор. Он о премии думал. А вы знали, к чему это приведет.

Я освободился от его потных пальцев.

— Страшно газеты брать. Но всегда остается надежда. Это как со средством от СПИДа, — сказал Мешков.

Он пошел к почтовому ящику. Я думал, что уже избавился от него, но в дверях дома меня остановил крик:

— У меня на даче все выгорело!

Двадцать минут.

На улице было так жарко, словно меня подвели к открытой двери в домну. Воздух был неподвижен.

Я стоял на верхней ступеньке и не решался сделать шаг на солнце.

— Сергей Матвеев! — Навстречу мне шла Наташа Птицына, за ней брел пудель Тришка. Оба беленькие, но от жары помятые и мягкие. — Сережа, я так больше не могу. У вас в институте нет какого-нибудь другого бюро прогнозов?

— Ты хочешь, чтобы тебе приятно врал?

— Конечно, пускай врут, но ведь надо на что-то надеяться. Ты в командировку?

— Да, я спешу.

— Одну минутку. Все равно самолеты уже не летают, мне одна знакомая сказала. Мне нужно с тобой посоветоваться о Дашке. Ты понимаешь, она решила поступать на физмат. Разве это дело для девочки?

— Наташа, мне в самом деле надо идти.

— Я же тебя не из-за пустяков беспокою, а по делу. Скажи, у тебя есть кто-нибудь в приемной комиссии?

— Боюсь, что никаких экзаменов в этом году не будет, — сказал я. — И вообще, если можешь, последуй

моему примеру — уезжай куда-нибудь. Чем дальше, тем лучше. К Северному полюсу.

— Я тебя понимаю. Вчера демонстрация была на Пушкинской о конце света. Говорят, всех милиция забрала. Положение аховое. Но все равно мы не можем уехать, ты же понимаешь. Дашке поступать, не терять же год...

— Прости, я опаздываю. До свидания.

— Я к тебе завтра зайду.

Я вышел на улицу. Надо спешить.

— Сережка, сукин сын!

Мазовецкий шел под большим, в цветах, зонтом. Он дышал как рыба, выброшенная на берег. Он загородил мне дорогу животом.

— Не уйдешь, — засмеялся он. — Два слова!

Пальцы его были мокрые. На солнце было градусов шестьдесят.

— Я тебе звонил, я ты трубку не берешь, — сказал Мазовецкий. — А дело важное. Завтра будут распределять места на стоянке. Два места освободились.

— Я опаздываю!

— Ты только скажи — ты придешь за меня голосовать?

— Стоянка тебе уже не пригодится!

— А что, плохо выгляжу?

— Вся наша Земля плохо выглядит.

— Да, положение критическое, я сегодня ночью пытался «неотложку» вызвать — занято, как на вокзале, пришлось валокордином спасаться. Ты куда? Ты не ответил...

Я вырвался и поспешил по улице. Поспешил — неправильное слово. Каждое движение вызывало спазм в сердце. Рубашка была мокрая. Может, бросить эту чертову сумку?

— Вы не скажете, как пройти на Тишинский рынок?

Человек, который остановил меня, был в черном пиджаке, и от него исходили волны адского жара.

— Прямо и направо, — сказал я на бегу.

Но человек загородил мне дорогу.

— Извини, — сказал он. — Прямо куда?

— Вон туда! — Крик у меня не получился. Я толкнул человека, он был крепок и горяч.

— Не спеши, — сказал он. — А направо где?

Я бежал дальше, до поворота, человек в черном пиджаке грозно кричал мне вслед, но я не слышал, что он кричал, потому что уши заложило и голова кружилась. В тени, вытянувшись вдоль дома, лежал человек, пожилой, босой. Может быть, умер, может, тепловой удар. Но я не мог остановиться... Наверное, редким прохожим я казался сумасшедшим. Нормальный не бегает по солнцепеку.

До гастронома оставалось метров триста.

Взвизгнули тормоза. Черная «волга» остановилась у тротуара. Я не видел, кто там, но за мной застучали шаги. Бежала Софья Вячеславовна.

— Сергей Матвеевич!

Она ухватила меня за мокрую рубаху, да так цепко, что мне пришлось затормозить.

— Какое счастье! — сказала она, держа меня алыми когтями и доставая другой рукой из плоской черной сумки пластиковую папку. — Это одна секунда. Только подпишите, что не возражаете против обмена жилой площади. Да не рвитесь вы, успеете. Это же каторга — пока всех обойдешь, легче отказаться от обмена.

Она была без лифчика, и пропотевшая блузка приклеилась к полной груди.

— Вот здесь. Погодите, еще на одном экземпляре.

Она тяжело дышала. Но не отпускала меня.

Потом я снова побежал и уже на углу у гастронома с ужасом понял, что черная «волга» Софьи Вячеславовны пятится вдоль тротуара. Дверца открылась.

— Не на том экземпляре! — крикнула Софья Вячеславовна.

Я не слушал, я бежал к гастроному.

Она топала следом.

В узкой тени вдоль стены магазина стояла длинная очередь за водкой. Люди в очереди были сонные, покорные. За зданием стекляшки начинался забор. Я начал протискиваться в дыру. Сзади меня держала за сумку Софья Вячеславовна.

И тогда я увидел, как с пустыря как бы не спеша, но

ускоряясь, чтобы в несколько секунд достичь световой скорости, поднимается последняя летающая тарелочка, которая эвакуировала с Земли тех, кого еще можно было спасти на благо космической цивилизации. Которая должна была увезти меня...

Софья Вячеславовна не заметила никакой тарелочки — та уже скрылась в непрозрачном жарком мареве, окутавшем умирающую от парникового эффекта Землю.

— Подпишите или нет?

— Отпустите сумку, тогда подпишу, — сказал я спокойно. Так спокойно ведут себя люди, которым сказали, что их близкий только что умер. Ведь ничем не отличается минута ДО от минуты ПОСЛЕ.

Она исчезла, поспешила к своей черной «волге», которую отсудила у дипломата-мужа. Я уселся у забора на выгоревшую траву. Под забором была узкая полоска тени. Я поставил сумку рядом с собой на землю. Я почему-то надеялся еще, что они вернутся. Хотя они не возвращаются.

В дыру ввалились два подростка с бутылкой портвейна. Они были в потных ярких майках и обрезанных у колен джинсах.

— Хочешь третьим? — спросил один из них. — Хочешь, дядя?

На самом деле они и не собирались со мной делиться.

Я знал, что никуда отсюда не уйду — не смогу уйти. Я слушал, как они тихо разговаривали. Про Римку и Володьку, про то, что на той неделе обещали похолодание, а какой-то старик отдал концы. За забором загудела машина. Донеслись крики из очереди. В этом городе все намеревались жить вечно.

«СПАСИТЕ ГАЛЮ!»

Глава первая. Из Отчета

18 сентября в 16 часов 40 минут при переходе экскурсии из цеха № 3 в профилакторий с целью ознакомления экскурсантов с условиями отдыха работников Предприятия от группы отстала Галя Н., ученица 7-го «Б» класса подшефной школы. Несмотря на принятые меры охраны детей, выразившиеся в том, что, помимо Главного технолога Щукина Н.Р. и его заместителя Клопатога Р.Г., группу сопровождали преподаватель 7-го «Б» класса Калинина Р.Р. и стрелок специализированной охраны Варнавский Г.Л., Гале Н. удалось, как сообщили ее друзья по классу, присутствовавшие при инциденте, незаметно отойти в сторону. Ее действия были вызваны слухами, имевшими место среди детей, о том, что запретная Зона Предприятия таит в себе некие сокровища и пресловутое озеро Желаний. По сообщению преподавательницы Калининой Р.Р., вышеупомянутая Галя Н. отличается непостоянством характера, тяжелыми семейными обстоятельствами и слабой дисциплиной.

При обнаружении исчезновения Галины Н. были приняты следующие меры:

а) сделано объявление по внутренней сети Предприятия в надежде на то, что Галя Н. неглубоко углубилась в Зону и, услышав призыв, вернется обратно. Эта мера эффекта не дала;

б) группа школьников была временно задержана в профилактории, где им был выдан горячий ужин, и включен видеофон для того, чтобы слухи об исчезновении Гали Н. не распространялись по городу и не вызывали излишней паники населения;

в) был вызван из дома Васюнин Г.В., сборщик цеха

№ 2, который, как известно, самовольно бывал в Зоне, за что имеет выговор и предупрежден об увольнении в случае повторения.

Глава вторая. Сталкер Жора

— Меня подняли с койки. Я сменился в два и лег спать. Звонят от Главного технолога — пропал ребенок. Упустили в Зону. Немедленно приезжай.

Я, конечно, ответил, что когда получать выговоры, то Васюнин плохой. Когда же прошляпили, ребенка упустили — Васюнин, спасай!

Оделся, приехал на Предприятие.

Там, у третьего корпуса, директор, Главный технолог, заместители, спецхрана. Суетятся. Директор ко мне:

— Сталкер, надо помочь.

Сталкером меня после одного фильма зовут. Там был такой тип, что-то вроде меня. И Зона тоже была. Смотрел я тот фильм, впечатления не получил. Пугают, а не страшно. Им бы в нашу Зону.

— Нет, — говорю, — я не в форме.

— Премию дадим, улучшим жилищные условия, — говорит директор.

Еще бы, думаю, — что в городе поднимется, когда поймут, что ребенок пропал с концами! А выйти у нее шансов немного. Бывало, совались в Зону. Где они? Кто кормит их детей? Хотя, конечно, соблазнов немало. Но сокровищ нету. Другие только треплются. Далеко никто не пойдет. Может, Лукьяныч до третьего пункта ходил. Дальше его белая Козява не пустила. Вернулся, шрам на руке всем показывает.

— Ты о ее матери подумай, — сказал технолог.

— А что ее мать?

— Может, знаешь? Она раньше в «Ласточке» работала.

Это меня подкосило. Лариса! Душа моя, Лариса, сколько вздохов из-за нее, сколько слез пролито, а может, и крови! И я мальчишкой глазел на ее золотые кудряшки и алый ротик! И был раз допущен. Нет, серьезно. Один поцелуй — и умереть! Значит, это ее Галка? Вся в мать?

— Пойду, — сказал я. — Только вы пенсию оформите моей Людмиле. Ей, если что, Пашку воспитывать.

— Какая пенсия! — кричит директор. — Ты же вернешься! Мы другого знать не хотим. Мы верим в тебя, Жора.

— Слушай, давай без демагогии, — сказал я. — Я жить хочу, но мне девчонку жалко. Если она вглубь пошла, там и я не бывал. Зона есть Зона. Она человека не признает. У нее свои законы.

Тогда директор дал слово — если что, оформят, как погибшему на производстве.

Директор сказал, что со мной пойдет Щукин.

— Слушай, — сказал я Щукину. — интеллигенция. Ты мне в обузу. Вместо того, чтобы ребенка вытаскивать, придется тебя на горбу тащить. Лучше я Лукьяныча возьму.

Лукьяныч сначала ни в какую.

— Меня уже ломало, — говорит.

Но пошли все же мы втроем. Я сам на складе отобрал что нужно. На это ушел почти час. Кладовщик куда-то ушел, сам директор пломбы рвал. Взял хорошую веревку, нейлоновую. Пушку я Лукьянычу брать не велел. В Зоне пуля не спасет. Щукина я сгонял к спортсменам. У них, у альпинистов, оборудование взяли. Взломали дверь и взяли. Два ледоруба. Палатку. Кто-то из начальства стал говорить — на что палатка, не ночевать же собираетесь. Конечно, неплохо бы бронежилеты, но у нас их нет. Ватники взяли, свитера. Врачиха из медпункта бинты принесла, вату, я потребовал флягу со спиртом. Еще десять минут скандала. В конце концов директор флягу коньяком залил. Из своего фонда.

Я сказал Щукину:

— Оставайся, Коля.

А он поморгал, очки поправил. И говорит:

— Ничего, я в молодости в погранвойсках служил. Ты не беспокойся. Я не буду обузой. Я виноват, что не досмотрел, — с меня спрос.

— Ладно, — говорю, — но учти, я иду спасать Ларскину Галку, а не тебя.

— Понятно, — говорит. А ватник ему мал — руки чуть не по локоть наружу, пальцы тонкие. Но упрямый.

В пять тридцать мы вышли.

Мне это не нравилось. Скоро сумерки. А ночь в Зоне еще никто не проводил. А если провел, уже не расскажет.

Глава третья. Технолог Щукин

Я шел в середине. Первым Жора Васюнин, легкий, худой, злой. Замыкал Лукьяныч. Лукьяныч робел, поминутно оглядывался. Директор соблазнил его большой премией. Впрочем, на что Лукьянычу премия? Удивительно несоизмеримы наши дела и их последствия! Любопытно, а что если бы и я потребовал премию? Я внутренне усмехнулся. Я понимал, что мы должны найти девочку до темноты. Директор взял с нас слово, что до темноты мы вернемся. Я могу его понять: гибель девочки — это потеря, горе, но не трагедия для Предприятия. Если погибнет группа — можно представить, какой будет суд. А директору два года до пенсии.

Я нес мегафон. Когда я брал его, Жора ничего не сказал. Но, как только стены контейнеров скрыли нас от жалкой, потерянной группы провожающих, он оглянулся и коротко сказал:

— Брось.

Я положил мегафон на ящик.

— Лучше не шуметь, — сказал он коротко. — Зона не любит чужого шума.

В походке Жоры, в голосе что-то изменилось. Он стал первобытным. Именно первобытным — мягким, настороженным, готовым отпрыгнуть. Я старался подражать ему, ступать в след. Сзади топал и пыхтел Лукьяныч. Он никому не подражал.

Густая пыль покрывала вышербленный асфальт. Еще лет восемь-десять назад здесь был хозяйственный двор Предприятия. За эти годы Зона, наступая на нас, пожрала этот участок двора и приблизилась к третьему цеху. Некоторые работники второй смены уверяют, что в осенние глухие вечера слышат крики и стоны из Зоны. И ее страшное дыхание.

— Смотри, — сказал Жора тихо. Он показал под ноги. Я подошел к нему. Цепочка следов, девичьих, узких, легких, тянулась между обрушенными контейне-

рами. Сквозь щели в контейнерах проступали металлические узловатые части станков.

— Она, — сказал Лукьяныч. — Давай крикну.

— Тише, — ответил Жора. — Она час назад здесь прошла. Видишь, пыль уже снова села... Теперь не докричишься.

Мы остановились под двумя бетонными плитами, которые образовали как бы карточный домик.

— Я здесь был, — сказал Лукьяныч.

Жора поднял кверху руку.

Тихий стон донесся спереди.

Я хотел броситься туда, полагая, что стонет Галя.

Но Жора удержал меня.

— Это не то, — прошептал он.

Мы протиснулись по очереди сквозь переплетение арматуры. Под ногами хлюпала рыжая жижа. И тут я понял, откуда нам послышался стон: переплетение труб, висевшее на остатках колонн, покачивалось в полной неподвижности воздуха, словно невидимая сила раскачивала их. Трубы издавали странную смесь жалких ноющих звуков.

Я вздохнул облегченно и хотел идти дальше, но Жора знаками приказал взять правее. Мы шли, прижимаясь к зубьям кирпичной стены. Следов девочки больше не было видно. Я старался представить себе: какая она? Я же видел ее в группе этих веселых щебечущих школьников. Почему именно ее потянуло в известную всем смертельную опасность Зоны? Что за сила сидит в человеке, которая омрачает его разум? Я скорее могу понять Лукьяныча, которого вела туда корысть, или Жору, вообще склонного к авантюрам и, по слухам, выносившего из Зоны ценные и загадочные вещи. Но девочка?

Я задумался и налетел на спину замершего Жоры. Сзади дышал Лукьяныч. Может, у него астма?

— Проходим трубу, — прошептал Жора. — Проходим по одному. Я бегу первый. Если благополучно, махну рукой. Бежишь ты. Не оглядываться, не останавливаться.

Я нагнулся, заглянул в трубу. Она казалась нестрашной. Впереди, недалеко, был виден свет.

— А обойти нельзя? — спросил я.

Жора не ответил. Мой вопрос был глуп. По обе сторо-

ны возвышались обрывы кирпича и ржавых конструкций, с которых свисали серые бороны лишайников.

Жора наклонился и побежал.

Я смотрел ему вслед и считал шаги. Его черная фигура заполнила всю трубу.

И вдруг исчезла. Исчезла раньше, чем кончилась труба. Я мог поклясться в этом.

— Сгинул, — сказал Лукьяныч.

— Ты что говоришь! — огрызнулся я.

— Тогда идите, — сказал Лукьяныч. — Мне туда не к спеху.

Я понимал, что надо идти. Я снял с плеча моток веревки и передал его Лукьянычу. Сам взялся за конец.

— Будете страховать, — сказал я.

Я нагнулся и пошел в трубу. В ней царил резкий неприятный запах, схожий с запахом аммиака. Дно трубы было скользким, идти было трудно, я шел осторожно — считал шаги. Жора исчез на десятом шагу. На девятом я остановился. Вокруг воцарилась неестественная мертвая тишина.

К моему удивлению, оказалось, что дно трубы и далее кажется твердым, и от этого обмана зрения я чуть было не сделал следующий шаг, даже поднял ногу, но не успел перенести вес тела вперед, как понял, что на самом деле дно трубы — лишь отражение ее потолка в покрытой блестящей пленкой темноте глубокого колодца. Я присел на корточки и попытался разорвать пленку. Пленка с треском лопнула, и я увидел — совсем близко, на расстоянии метра — запрокинутую голову Жоры, которая медленно вползала в черную глянцевую трясику. Почему-то я совсем не испугался, наверное, был готов к чему-то подобному. Я бросил конец веревки Жоре, а сам упал на скользкий пол трубы и крикнул Лукьянычу, чтобы держал крепче — веревка рывком натянулась так, что я чуть было ее не отпустил. А Жора тем временем смог выдернуть руку из жижи и схватиться за веревку, отчего на секунду его лицо скрылось в черноте, но, когда мы с Лукьянычем стали тянуть, с хлопаньем и всхлипом трясина отпустила Жору, и через минуту отчаянного напряжения он оказался рядом со мной. От него несло отвратительной вонью.

— Живой, — прохрипел он, — живой...

— Ты знал? — спросил я. — Ты знал и пошел?
— Оно редко открывается. А с четырех закрыто.
— Весь в дерьме, — укоризненно произнес Лукьяныч.
— Пошли, — сказал Жора, поднимаясь на четвереньки. И так, на четвереньках, он пополз вперед.

Я полагал, что он обезумел, пытался остановить его, но он лишь грубо огрызнулся и миновал благополучно место, где только что зияла трясина.

Я колебался последовать его примеру.

— Иди, не дрейфь, — прохрипел он, оборачивая ко мне черное лицо. — Они закрылись.

Я прополз за ним и, когда опасность осталась позади, позволил себе спросить:

— Что это было? Почему возникло? Почему исчезло?

— Потом скажу, сейчас молчи...

Мы выползли из трубы. Я обернулся. Из черной пасти трубы показался Лукьяныч. Над трубой криво висела эмалевая табличка «Туалет закрыт с 16.30». Словно какой-то шутник только что повесил эту табличку и подсказал мне обернуться и разделить с ним непринужденное веселье по поводу его выдумки. А сам ухмыляется из темноты.

В ответ на мои мысли из недр трубы донесся грохот спускаемой воды, словно прорвался водопад и в следующее мгновение он ринется наружу, чтобы утопить нас... Я рванулся вперед и налетел на спину обогнавшего меня Лукьяныча, который локоть к локтю с Жорой замер, закрывая от меня то, что заставило моих спутников остановиться.

Сначала мне показалось, что они стоят на краю зеленой лужайки, расцветшей синими васильками, но тут же стало ясно, что полянка живая, но покрыта она не травой и цветами, а тысячами круглых стеклянных разноцветных глаз, большей частью зеленых и бирюзовых. Это были лишь глазные яблоки, лишённые ресниц и век, но тем не менее они жили, подмигивали, их зрачки сужались, приглядываясь к нам, и по лужайке глаз как бы прокатывалась волна, отчего глаза приближались к нам, стремясь достать до наших ног.

— Направо! — крикнул Жора, и мы побежали между россыпью глаз и остатками блочного дома, сложившегося

подобно карточному домику в длинную грудку плит, рам, кусков кровли, ступенек...

Глаза были резвее нас, они лились, отрезая нам дорогу, и вот уже мы бежим по глазам, которые с треском лопаются, разлетаются в пыль под ногами, но все новые и новые глаза рвутся к нам, уже взбираются, вкатываются по штанинам, шекочут ноги...

Мы уже не бежали — мы брели, почти по пояс в глазах, и Жора, перекрывая треск и шорох, кричал нам:

— Вы только не бойтесь, они не кусаются, не кусаются...

Но у Лукьяныча нервы не выдержали. Он увидел рядом щель между плитами, начал протискиваться в нее, раздирая потертый китель. Он рычал и брыкался ногами, еще мгновение — и он исчез из виду, только слышно было, как трещат, скрипят панели, и тут же послышался шум обвала, и грудка панелей и лестниц начала оседать, вваливаться внутрь, погребая под собой Лукьяныча.

— Все, финиш, — сказал Жора, отряхивая с себя голубые глаза.

— Мы должны спасти его, — сказал я.

— Свежо предание.

— Но он, может быть, жив.

— Вот сам и иди, — сказал Жора зло.

— Пойду, — сказал я, глядя в растерянности на развалины дома и не видя щели и отверстия, в которое можно было бы проникнуть.

А Жора пошел вдоль развалин, не оборачиваясь, будто забыл о Лукьяныче.

— Так нельзя! — крикнул я, догоняя его.

Жора не отвечал.

Потом остановился, глядя вверх.

Я проследил за его взглядом и увидел, что на высоте трех метров завал пересекает трещина.

— Жди здесь, — сказал Жора.

— Нет, — сказал я. — Только вместе.

Жора выругался и начал карабкаться наверх. Я помог ему. Потом Жора протянул мне руку, и я взобрался наверх.

Трещина была узкой — внизу темнота. Жора кинул

туда камешек. Камешек застучал по плитам — значит, провал был неглубоким.

Жора посмотрел на небо. Небо было бесцветным, вечерним.

— Черт знает что! — сказал он. — Из-за этого болвана Галку погубим.

Но, видно, доброе начало в этом грубом на вид парне победило.

Он протиснулся в трещину, прыгнул вниз, исчез из глаз. И тут же я услышал изнутри:

— Прыгай, тут недалеко.

Я послушался его. Каменная россыпь ударила по ногам, я ушибся, упав на бок.

Я зажмурился. Когда открыл глаза — вокруг была темнота. Еле-еле можно было угадать фигуру Жоры.

— Ты живой? — спросил он.

— Ничего, — сказал я.

— Тогда пошли. Нам надо вниз спуститься, его туда затащи.

Жора пошел вперед, я поднялся, последовал за ним.

— Ты за стену придержишься, — сказал Жора. — Здесь стена есть.

И в самом деле, справа была стена.

— Лестница, — предупредил меня Жора, и я угадал по тому, как его черная тень начала уменьшаться ростом, что он спускается вниз.

Я спускался следом, нащупывая ногой ступеньки.

— Осторожнее!

Одной ступеньки не было.

А вот и лестничная площадка.

— Никогда не подумаешь, что внутри есть такие пространства, — сказал я.

— Помолчи. Неизвестно, кто нас слушает.

— Кто здесь может быть? — сказал я, внутренне улыбнувшись: развалины не казались мне страшными. Дом как дом, старый...

Мы спускались по следующему маршу лестницы.

И в этот момент что-то горячее и быстрое ударило меня по шее. Я вскрикнул. И присел. Горячее давило, шевелилось — это было Живое.

— Ты что?

Мягкие шерстяные пальцы ощупывали мои щеки...

Я пытался оторвать их от лица, а другая рука непроизвольно шарилась по стене. Кончиками пальцев я нащупал выключатель и нажал на него.

Зажегся свет. Лампа под белым плафоном буднично освещала лестницу.

Горячие пальцы оторвались от моего лица — большая летучая мышь заметалась под потолком.

И исчезла...

Внизу стоял Жора, смотрел на потолок.

— Мутант, — сказал он.

Я почувствовал страшный упадок сил и опустился на ступеньку.

Жора подошел ко мне, нагнул мою голову, осмотрел шею. Провел по ней пальцами.

Потом показал мне пальцы. Они были в крови.

— Вампир, — сказал он. — Хорошо, что свет загорелся.

— Вампир? — Мой голос звучал глухо, я его сам не узнал. Словно говорил какой-то старик.

— Думаю, он много не успел отсосать. Пошли.

— Там могут быть другие?

— Могут. Зря я тебя взял с собой. Если боишься, вылезай.

— А Лукьяныч?

— Вот именно.

Мы вышли в низкий длинный коридор. Он был освещен такими же белыми круглыми плафонами. Двери были закрыты. На полу толстый слой пыли. У стены стоял открытый ящик с разноцветными погремушками. Из-за двери послышалась стрекотня пишущей машинки.

— Жора!

— Я слышу, — сказал он. — Иди.

— Но там кто-то есть.

— Иди, тебе говорят!

Но я все же приоткрыл дверь.

Там была полутемная комната. Свет в нее проникал из коридора. В разбитое окно потоком, достигая пола, вливалась груда кирпичей. На столе стояла пишущая машинка. Возле нее недопитая бутылка молока и кусок колбасы. Никаких других дверей в комнате не было. И ни одного человека.

— Не заходи! — Жора протянул руку, оттащил меня и захлопнул дверь. — Тебе жить надоело?

Сзади слышался треск. Я вздрогнул и оглянулся. Погремушки выпрыгивали из открытого ящика и падали на пол — как блохи.

— Идем, — сказал Жора.

В конце коридора была еще одна лестница.

В подвал.

Подвал был длинным и низким. Из труб капала вода, вода была на полу, по воде плавали широкие светло-зеленые листья кувшинок, но вместо цветов в воде покачивались колбы, наполненные розовой жидкостью.

— Лукьяныч! — позвал Жора.

В ответ — тишина. Мертвенная, угрожающая.

— Погиб он, — сказал Жора. — Зря мы сюда сунулись — сами не выйдем.

Но пошел дальше по подвалу, отбрасывая башмаками колбы и листья кувшинок.

В трубе что-то запело, будто там была заточена птица.

И тут мы увидели Лукьяныча. Он медленно и неуверенно брел нам навстречу.

Трудно вообразить себе облегчение и радость, которые я испытал при виде старого вахтера.

— Лукьяныч! — побежал я к нему.

Тот услышал.

— Ну вот, — сказал он. — А я думал — кранты.

Труба, пересекавшая подвал под самым его потолком, вдруг изогнулась, разорвалась пополам, и на каждом торце образовалась зубастая безглазая морда. Морды повернулись к Лукьянычу.

— Ложись! — крикнул ему Жора. — Ложись, тебе говорю!

Но Лукьяныч растерялся или не услышал этого крика. Он остановился, поднял руки и стал отмахиваться от морд.

Из морд поползли белые волосатые языки, они схватили Лукьяныча за руки, обвили их и стали дергать, словно хотели втянуть в трубу.

Лукьяныч бился, пытался оторвать от себя эти белые языки и потом, прежде чем мы успели подбежать, как-то лениво и равнодушно опустил в воду — во все стороны поплыли, словно опасаясь коснуться его, листья кувшинок.

Языки втянулись обратно в морды, морды прикоснулись друг к дружке, и труба, словно так и положено, вытянулась под потолком.

Лукьяныч лежал в воде. Я приподнял его голову.

— Поздно, — сказал Жора.

Я поднял руки вахтера. Пульса не было.

— Пошли, — сказал Жора. — Кончился Лукьяныч.

— Нет, — сказал я, — мы не можем его оставить.

Я попытался поднять Лукьяныча, но он был невероятно тяжелым, он выскользнул из моих рук и упал в воду.

— Жора, ну помогите же мне! — сказал я.

— Дурак, — сказал Жора. — Посмотри.

Лукьяныч быстро темнел, рот оскалился, показались неровные золотые зубы.

Сомнений не оставалось. Он был мертв.

Но оставить человека в подвале — это было выше моих сил. И Жоре пришлось буквально оттащить меня от тела вахтера.

Он вел меня прочь, к лестнице. И тут я услышал сзади голос Лукьяныча:

— Погоди... Шукин, погоди.

— Он живой! — крикнул я и вырвался из рук Жоры. Но, подбежав к Лукьянычу, я в ужасе замер.

Его широко открытые глаза были совершенно белыми, более того, они были покрыты короткими белыми светящимися волосками. Лукьяныч смеялся. Он хотел дотянуться до меня, и я стал отступать. Его пальцы, пальцы скелета, почти дотянулись до меня — и вдруг Лукьяныч кучей тряпья упал в воду и стал растворяться в ней.

Я не помню, как Жора вытащил меня оттуда...

Глава четвертая. Технолог Шукин

Я очень устал. И, наверное, потерял немало крови. Я хотел остановиться и отдохнуть, но остановиться было страшно.

Мы шли в лабиринте железных ящиков разного размера и формы. Ящики были ржавыми, они вздрагивали, и изнутри доносилось постукивание, словно кто-то просил выпустить его наружу... Стенка одного была выломана.

— Вырвались, — сказал Жора. — Теперь держись.

Я не знал, кто вырвался, и не было сил спрашивать.

Небо было синим, вечерним, и уже появились первые звезды. Где-то далеко летел самолет. Стены ящиков смыкались над головами, и мы шли по узкому извилистому ущелью.

Местность начала понижаться. Мы опускались в какую-то воронку.

Ящики кончились, но приходилось перебираться через завалы бревен, бревна были гнилые, между ними летали светлячки. Жора шел уверенно. Только один раз он остановился и замер, приложив палец к губам. Я тоже замер. Я уже понял, что единственное спасение — во всем слушаться сталкера. Я не могу сказать, что раскаивался в том, что отправился в этот несчастный поход. Я был за пределами страха и любопытства.

Мы стояли, ожидая, пока длинная вереница больших белых крыс перейдет нам дорогу. Крысы не обращали на нас внимания. Каждая из них тащила в зубах маленькую куколку. Последняя, совсем еще крысенок, видно, устала и уронила куколку на землю.

Когда крысы исчезли, Жора наклонился и поднял куколку.

— Посмотри, — сказал он, протягивая мне куколку.

Я, хоть было довольно темно, понял, что куколка изображает Лукьяныча, с мизинец размером, оловянного, раскрашенного, в кителе и фуражке.

— Быстро работают, — сказал Жора.

— Кто?

Но Жора не ответил. Он быстро побежал вперед. Перед ним мелькнуло какое-то живое существо.

— Стой! — крикнул Жора, кидаясь вперед.

Раздался вой.

Я подошел. Жора лежал на земле между бревен, навалившись телом на ободранную худую собаку.

Собака повизгивала и вырывалась.

— Ты не видел здесь девочку? — спрашивал Жора у собаки.

Собака не отвечала. Только скулила.

— Ну и черт с тобой! — сказал Жора и отбросил собаку. Та кинулась в сторону.

Жора проследил, куда она побежала.

— За ней, — сказал он.

Нам пришлось перебраться через быстрый пахнувший карболкой мутный ручей, пробраться сквозь завал картонных коробок, набитых тряпьем. Там была дверь. Из-за нее вырвался луч света.

Жора приоткрыл дверь, и странное зрелище предстало моим глазам.

Вокруг низкого длинного стола сидело множество собак, ободранных, худых, во всем схожих с той собакой, которую поймал Жора.

Собаки смотрели, не отрываясь, на стол. Там, освещенные толстыми горящими свечами, бегали автомобильчики и паровозики. На большом блюде посреди стола — грудой блестящие украшения. Некоторые из автомобильчиков вдруг начинали толкаться, слабые падали со стола.

— Эй! — сказал Жора. — Кто видел девочку?

Собаки как по команде повернулись к двери. Одна из них зарычала.

И тут мы услышали далекий детский плач.

— Это она! — сказал Жора.

Он побежал через комнату с собаками, и те отступали, рыча. Я бежал за ним. Собаки нас не тронули.

Мы выскочили из воронки, и пришлось долго пробираться через расползающиеся тюки с шерстью, потом по щиколотку в грязи шлепать в мертвом кустарнике, и неожиданно перед нами открылась грязная поляна, по краям которой было вырыто множество выгребных ям, источающих мрачное зловоние.

Посреди поляны возвышалось странное сооружение, похожее на башню рыцарского замка. И я не сразу сообразил, что это нижняя часть громадной фабричной трубы. В трубе была сделана дверь. Из нее на землю падал тусклый квадрат света. Оттуда и доносился детский плач.

Глава пятая. Сталкер Жора

Это был замок Сольвейга. Как его в самом деле зовут, даже он сам не помнит. Я единственный живой человек, который его видел. В прошлом году я добрался до его башни. Это самая дальняя точка, до которой я забирался

в Зону. Сольвейг тогда сказал мне, что озера Желаний нету. И я ему поверил. Он знает.

Он его искал много лет.

Он сам себя называл Сольвейг. Я проверял. Есть такая опера, там Сольвейг прибегала к нему на лыжах. Но старик, наверно, спутал ее с соловьем. У него раньше был патефон. Но сломалась игла. Я обещал ему принести иглу, но не нашел — теперь их не делают.

Как же эта Галка добралась до старика? Здоровые мужики погибают, а она добралась.

У него в замке стоит золотой трон. Обшарпанный, правда, но золотой. Галку он привязал к трону. Она была чуть живая, рубаха в клочья, джинсы разодраны... Ох и напереживалась эта дура! А тут попасть в плен к маньяку!

Старик стоял перед ней. В одной руке банка со сгущенным молоком. В другой гнутая алюминиевая ложка. Глаза дикие, ополоумевшие.

Она ела это молоко, вся физиономия в молоке, по распашонке, по лифчику течет молоко, джинсы в молоке, даже волосы в молоке — видно, она сопротивлялась вначале, мотала головой. А теперь уже ничего не соображает, только кричит иногда, как воет.

— Кушай, — говорил-скрипел старик. — Кушай, моя королева. Мне ничего для тебя не жалко.

Он совал ей ложку в рот, она старалась отвернуться, он топал ногами и сердился.

— Оставь Галку! — сказал я.

Он не сразу сообразил, что мы пришли. Потом испугался, кинулся в угол, схватил лом. Халат запахнулся, он под ним в чем мать родила, но жилистый. Он поднял лом и пошел на нас.

Я нагнулся, уклонился от лома и врезал ему в левую скулу.

А Шукин тем временем стал распутывать Галку. Она только всхлипывала. Вокруг на полу валялись пустые банки, и весь пол — сплошная липкая белесая лужа.

Шукин скользил по молоку, я помог ему освободить Галку. Она не могла стоять, и мы отнесли ее к старому дивану, на котором обычно спал старик. Пауки кинулись во все стороны. Пауки у него ручные, умеют танцевать, он мне сам показывал.

— Дядя Жора, — повторяла Галка, — дядя Жора...

Я открыл флягу с коньяком, заставил ее глотнуть. И тут же Галку начало рвать стуженным молоком.

Я думал, что она помрет. Но ничего, через несколько минут отошла. Оказывается, старик кормил ее больше часа, банок пять как минимум в нее всадил. Он псих, он самое дорогое ей отдавал.

Пока мы откачивали Галку, старик очнулся, стал плакать, чтобы мы у него ее не отбирали.

Я поглядел наружу. Уже почти совсем стемнело.

— Будем ночевать здесь, — сказал я.

— Нельзя, нас ждут, — сказал мой технолог. — Ес мать сходит с ума.

— Моя мать с утра пьяная, — сказала Галка.

— Ты хочешь остаться здесь?

— Нет, уведи меня, дядя Жора.

— А что тебя в эту дырку потянуло?

— Мне нужно было... нужно было озеро Желаний.

— Из-за мамы? — спросил Щукин.

— Из-за мамы? А зачем ей? Мне нужна любовь одного человека, — сказала Галка.

— Сколько лет этому человеку? — спросил я.

— Сорок. У него жена. Толстая, гадкая, я бы ее убила!

— Дура! — сказал я. — Жалко, что пошел тебя вытаскивать.

Старик очнулся, стал просить, чтобы мы оставили ему Галку.

— Пошли, — сказал Щукин. — Уже поздно.

— И куда ты пойдешь? — спросил я.

— Обратно.

— Обратно мы не пройдем, — сказал я. — Даже днем мы чудом прорвались. Ночью погибнем. Хуже Лукьяныча.

— Отдайте мне королеву, — сказал старик с угрозой. — А то скоро Ночные придут. Они вас скушают.

— Это правда, — сказал я. — Пошли.

Мы вышли, старик бежал следом, просил, чтобы я отдал ему его лом. Но я оттолкнул его, а шагов через пятьдесят велел моим спутникам затаиться в остатках трансформаторной будки. И шепотом сказал им:

— Сейчас сидим тихо. Десять минут. Пускай он думает, что мы обратно пошли.

— А мы? — спросил Щукин.
— А мы пойдем дальше.
— А разве вы там были?
— Там никто не был. Но зато я знаю — на обратном пути нас точно убьют. А впереди — не знаю.

Они ничего мне не ответили. Они устали. Им было почти все равно. Я их понимал, мне самому было почти все равно. Только я упрямый. Я хотел, чтобы Галка все-таки вернулась домой.

— А кто этот старик? — шепотом спросила Галка. Видно, начала оживать. Они живучие, как кошки.

— Сумасшедший, — сказал Щукин.

— Он дезертир, — сказал я. — Так он мне сказал.

— Какой дезертир?

— В сорок первом здесь спрятался. А может, троцкист.

— А что же он ест?

— Сгущенное молоко, — сказал я. — В войну по ленд-лизу состав со сгущенкой шел, ветка недалеко, его в Зону затянуло, потеряли. А может, врут.

На груди зашекотало. Я испугался. Может, ядовитое. Запустил руку за пазуху. Оказалось — зеленый глаз. Я выбросил его, он покатился к Галке. Она взвизгнула. Пришлось его раздавить.

Когда мне показалось, что все тихо, я повел их дальше. Но незаметно уйти не удалось.

Раздался такой грохот, которого я в жизни не слышал.

Особенный, страшный, гулкий, будто тысячи человек принялись молотить по пустым бочкам.

Меня отшвырнуло, понесло... Кинуло на землю, погребло...

И, наверное, сто лет прошло, прежде чем я сообразил, что случилось: Галка наткнулась на край Великой пирамиды. Той самой, которую мне старик показывал в прошлом году. Она из пустых банок. Пятьдесят лет он жрет это молоко. Две, три банки в день. Простая арифметика — сколько банок? И всю эту пирамиду мы развалили.

С нами-то ничего страшного, если не считать нервов. Но, конечно, мы переполошили весь этот скорпионник. А места дальше мне незнакомые, самые древние, самые загадочные...

Мы побежали по колючкам и мертвому лесу, мы про-

бивались сквозь цветущие оранжевыми одуванчиками заросли медной проволоки. Сумерки еще не кончились, так что, к счастью, мы кое-что видели.

А может, не к счастью.

Галка и так была еле живая. И именно она натолкнулась на скелет. Весь разможенный, на черепе сохранились длинные волосы, обрывки джинсов и даже цепочка на вывернутой шее. И Галка начала вопить — она этого парня знала. Хипповый парень, весной пропал. Значит, идиот, полез в Зону.

Галка начала снова рыдать, ее рвало, а по нашим следам уже шли Железные люди, заводные, без голов, раскрашенные. Хорошо еще, что у меня лом был, я отбивался, пока Щукин тащил Галку дальше.

Мы чуть было не погорели совсем, когда оказались перед ущельем. Я никогда и не слышал, что здесь есть ущелье. Без дна.

Как переползли на тот берег — до сих пор не представляю. Мы по паутине ползли. Двух пауков я убил. Третий половину волос у меня выдрал... Но ушли. И Железные люди отстали.

Но пауки позвали других на помощь.

Это, может, и не пауки — они плюшевые, желтые, ноги у них из пружин. Не прыгают, но качаются.

Они были осторожные, как шакалы, ждали, когда мы помрем или ослабеем. И видно было, что ждать им недолго. Я все надеялся, что Зона кончится, но точно не знал, когда. Да и шли мы по луне, по звездам. И уверенности не было.

Пауки загнали нас к бетонной стене. Не знаю, кто и когда ее поставил. Метра три, поверх колючая проволока. Надо было эту стену одолеть, но сил одолеть не было.

Мы сидели в рядок, прижавшись к стене спинами.

Пауки дежурили полукругом, тоже ждали, раскачивались, как один футбольный тренер.

И тогда я услышал, что за стеной стук. Быстрый частый стук. И я понял, что мы погибли — мы вышли к Бездне. Никто там не был, но некоторые слышали. Там работа всю идет, как будто ничего не было, а кто работает, неизвестно... А может, это Сборный червяк, что еще хуже...

Тут пауки пошли в наступление.

Я встал, я один смог встать. Я поднял лом и начал махать им.

Пауки, улыбаясь беззубыми ртами, отступили. Глаза светятся, как тарелки.

Я с отчаяния размахнулся и ударил ломом по стене. От нее отлетел кусок бетона. Я стал с отчаянием рубить по стене — пускай Бездна, но умереть от этих пауков куда хуже.

Я вошел в раж. Я бил, бил и ничего не слышал. Но, когда Галка завизжала, я обернулся.

И увидел, что моего Щукина уволакивают пауки.

Они рвут его, тянут, а он почти не сопротивляется. Сам как тряпичная кукла.

Я кинулся на пауков, я дробил их ломом, мне уже было на все наплевать.

Они оставили Щукина. Он был без сознания. Я поволок его к стене, и пауки пошли за мной следом.

И тогда я снова набросился на стену.

Наверное, никогда еще во мне не было такой силы. Как последние сто метров в марафоне — а потом человек умирает.

Кусок стены выломился, выпал в ту сторону.

Лом провалился в дыру, звякнул там.

Теперь, даже если там ждет немедленная смерть, все равно другого пути нет. Мое оружие там.

Нас спасла Нога. Ее пауки боятся. Она вышла из темноты, скрипя суставами, сапог с меня ростом, из него торчит каменный палец. Пауки — в стороны. А Нога медленно попрыгала к нам, чтобы растоптать.

Я буквально выкинул в дыру Галку, а потом вытащил Щукина.

Там был асфальт.

Я упал рядом с Щукиным. Галка лежала на мостовой.

За стеной скрипела Нога. Потом стало тихо. Я закрыл глаза.

Знакомое постукивание послышалось вдали. Все ближе и ближе...

Дребезжал, надвигаясь, Сборный червяк... Я начал шарить руками, хотел найти лом. Лома не было. Я поднялся на четвереньки и тут увидел, что это не Сборный червяк, а к нам едет трамвай.

Обыкновенный трамвай, поздний, почти пустой. Я и не знал, что в Зоне есть такие места.

Пускай проедет. Это, наверное, трамвай-убийца.

Но трамвай не проехал. Он закрипел тормозами, останавливаясь. Где лом? Где лом, черт побери! Я же не могу его голыми руками!

Из трамвая выскочила женщина в синем сарафане.

Она побежала к нам.

Это была Лариска, Галкина мать. Я ее всегда узнаю издали. Старая любовь. Хотя она теперь спилась, а у меня Людмила и Пашка, но от старой любви что-то всегда остается.

— Я прямо почувствовала! — закричала Лариска — и сразу к Галке.

А Галка начала плакать. Снова.

— Мама, я больше не буду! — Ну как маленькая.

И только тогда я понял, что над улицей горят фонари. Редкие фонари, обыкновенные фонари.

Я сел на тротуар.

Из трамвая вышел водитель. Колька Максаков, я его знаю.

Они с Лариской повели к трамваю Галку.

Надвинулись фары.

Это была директорская «волга».

Директор первым подошел к нам. Он зачем-то пытался трясти мне руку. А мне было плевать... Я сказал, чтобы Шукина отвезли в больницу, он много крови потерял. Про Лукьяныча никто не спрашивал. Видно, и так поняли.

Директор приказал вызвать бригаду, чтобы заделать стену.

Глава шестая. Технолог Щукин

Меня выпустили из больницы на третий день. За это время я подготовил докладную о мерах по ликвидации заводской свалки, которая в настоящем виде представляет опасность для завода и окрестного населения.

Я напомнил в докладной, что наш завод построен еще до революции как фабрика механических игрушек немецкого фабриканта фон Бюхнера. Свалка родилась, когда завод разрушили в гражданскую войну.

К несчастью, вместо того, чтобы разобрать развалины завода и складов, решено было строить новые корпуса завода заводных игрушек имени Лассалья по соседству с разрушенными. А когда завод в двадцать пятом сгорел, то, восстанавливая, его подвинули вновь. С тех пор свалка стала использоваться и некоторыми другими городскими предприятиями. Свалка приобрела самостоятельное значение, и постепенно завод отступал под ее напором, оставляя в ее владении подъездные пути и заброшенные склады. А свалка все росла и надвигалась. Было много постановлений о ликвидации свалки, как-то ее пробовали снести, но два бульдозера сгнули там, одного бульдозериста так и не нашли, второй вышел, но сошел с ума... В городе свалку начали называть Зоной и даже появились сталкеры... Теперь же завод отодвинут свалкой от Молодежной улицы на шесть километров, и никто толком не знает, что происходит внутри. Я писал, что свалка превратилась в замкнутую экосистему. В любой момент в ней может произойти качественный скачок и она нападет на завод или на Молодежную улицу, с которой граничит, отделенная лишь бетонным забором. Потому я потребовал, чтобы свалку немедленно разбомбили военной авиацией.

По выходе из больницы я подал докладную директору.

Он прочел ее при мне. И предложил уйти в отпуск. Сказал, что я заслужил отдых:

— А как же свалка? — спросил я.

— Тут у вас некоторые преувеличения. Но источник их понятен, — сказал директор. Он прятал глаза. — Нервы.

— Вы там не были! — кричал я. — Вы не знаете! Это страшно! Вспомните о судьбе Лукьяныча.

— Мы обязательно примем меры, — сказал директор. — Но вот насчет авиации вы преувеличиваете. Так что лечитесь, отдыхайте.

Директору два года до пенсии...

Глава седьмая. Из приказа № 176 по заводу заводных игрушек имени Фердинанда Лассалья

«...Исходя из вышеизложенного, принять следующие безотлагательные меры:

1. Возвести за счет сэкономленных средств соцбыт-

сектора временное ограждение свалки со стороны цеха № 3.

2. Усилить охрану периферии свалки в ночное время, для чего изыскать возможности увеличения штата специализированной охраны на два человека.

3. Временно, вплоть до особого разрешения, прекратить посещение завода экскурсантами, а также запретить проникновение на территорию Предприятия представителей прессы, которые безответственными выступлениями могут дезориентировать общественность.

4. Принять к сведению постановление местной организации Предприятия об обращении к Главному управлению заводных игрушек Министерства местной промышленности о выделении дополнительных ассигнований на приведение в порядок заводской территории.

5. Строго указать всему личному составу Предприятия о недопустимости распространения слухов касательно предположительного существования неопознанных явлений в районе заводской территории. С этой целью провести собрания в коллективах цехов и заводоуправления.

6. Ходатайствовать перед соответствующими организациями социального обеспечения об установлении повышенной пенсии вдове сотрудника специализированной охраны Варнавского Г.Л., как погибшего при исполнении служебных обязанностей.

7. Отметить сборщика Васюнина Г.В. премией в объеме двухнедельного оклада.

8. Предоставить заместителю главного технолога Щукину Н.Р. внеочередной отпуск для лечения.

Директор завода заводных игрушек
имени Фердинанда Лассаля».

1988 г.

ЧАС ПОЛНОЧНЫЙ

Телевизор произнес сердитым голосом:

— Ушкин, ты что, новости смотреть не хочешь?

— Хочу, — отозвался я. — Только доем и приду.

Телевизор немного помолчал, затем возразил:

— Потом доешь.

— Потом остынет.

— Не пойдешь меня смотреть, сообщу. Ты меня знаешь.

Я проклял его последними словами, вышел из кухни в комнату к этому ящику.

В самом деле начинались последние известия.

Сначала международные новости: наши оставили Томск, но взяли почти весь Симферополь. Жуткая резня белых в ЮАР.

Вел программу экстрасенс Калюженко. Парфен Калюженко. Он все время пялил глаза, чтобы я не заснул. Я был не такой голодный, чтобы спать. И не такой сытый. В самый раз для телевизора. Потом показали, как жгут ведьму на Сахалине. Их там много развелось от радиоактивной воды. Ведьма сопротивлялась и предлагала себя в рабыни всем желающим. Но больше оказалось желающих поглядеть на ее агонию. Я обернулся к Василию. Василий не смотрел на экран. А там показывали чудо-ребенка, который испепелял взглядом всех желающих. Желающих не нашлось — привезли заросшего бородой седого демократа из тюрьмы, и ребенок его удачно испепелил. Потом пошли внутренние новости: конференция телепатов, которые молчали — обменивались неслышной информацией. Диктор тоже не знал, о чем они говорят. Потом показали дискуссию двух прорицателей, первый обещал землетрясение в Москве шестого сентября, а второй — извержение вулкана на Тверской примерно к

концу июля. Мне стало жалко Тверскую. Потом показали, что делать со скептиком, если попадется в руки. Оказывается, сначала надо отрубить ему правую руку, потом левую, а если он не будет сопротивляться, то и голову. В студию привели скептика — внучатого племянника какого-то атеиста — и стали отрубать ему правую руку. Племянник, совсем еще юный, бился и вопил. Все хлопали в ладоши. В конце показали новости культуры. Премьеру телевизионного театра миниатюр «Сон в летнюю ночь». Там плясали сильфиды, обнаженные, но, как требуют приличия, в чадрах. В конце астрологи супруги Догробы дали прогноз погоды и жизни на завтрашний день. Они объяснили мне, что до десяти-тридцати я не должен надевать носки, желательно идти на службу босиком, но не замочить левую пятку. В двенадцать-двадцать меня ждет неблагоприятная встреча, от которой я должен спрятаться под столом, домой мне следует возвращаться ползком и ничего не есть на ужин. Мне показалось, что Василий вздохнул, хотя этого быть не могло. Мне очень хотелось выключить телевизор, но он не дался — отъехал в дальний угол и бил меня маленькими голубыми молниями. Так что мне пришлось смотреть на пиршество вампиров, которые господствуют на второй общероссийской программе. Сначала они всем племенем сосали кровь у хорошенькой дикторши, пока ее не погубили, а затем перешли на малышей из капеллы мальчиков.

Только я обрадовался, что передача кончается, как телевизор сам переключился на московскую программу и известный колдун начал рассказывать, как избавиться от тещи, не оставляя следов, а затем другой такой же демонстрировал приготовление приворотного зелья из разных трав и пресмыкающихся.

После учебного часа началась комедия из жизни нечисти, телевизор стал сам по себе сыто похохатывать и забыл обо мне. Я отступил от экрана и тут-то услышал, как кто-то скребется в дверь.

Давно никто не скребся ко мне в дверь, с тех пор, как меня покинула графиня Нечипоренок. Я подошел на цыпочках к двери. Там продолжали скрестись и постукивать.

Я подумал, что это может быть нечистая сила, сбежавшая с экрана. Теперь ее немало и в городе.

С тех пор, как кончилась бумага для газет и книжек, как закрылись за ненадобностью школы, а за нехваткой электроэнергии театры и филармонии, вся сила перешла в руки телевидения. Мне еще повезло — у меня телевизор попался старый, ленивый, увлекающийся. Он разрешал мне спать и даже выключался, пока я ужинаю или завтракаю. У других телевизоры новенькие, шустрые и ужасно строгие. Ни на секунду не дают себя выключить. А если выключишь — бьют током...

Я подошел вплотную к двери и спросил шепотом:

— Кто там?

— Это я, — прошелестело в замочную скважину. — Откройте и впустите. Мне опасно оставаться на лестнице. Могут увидеть.

— А не врете?

— Честное слово.

Я приоткрыл дверь. В дверь вполз человек, накрытый серым одеялом. Сразу и не догадаешься, что человек. Сразу решишь, что ползет одеяло — мало ли зачем ему надо ползти. Теперь по улицам кто только не ползает. Все равно жрать нечего.

— Заходите, — сказал я, потому что хорошо воспитан. Мою маму сожгли на костре за то, что не хотела летать на шабаш, всего шесть лет назад, и я не успел забыть все, чему она меня учила.

— Нельзя. Я не хочу, чтобы он меня увидел, — прошептал в ответ мой гость. — Вы лучше пойдите и включите его на полную громкость. Тогда он нас не услышит.

Я пошел, включил телевизор на полную громкость. Теперь он нас не услышал бы, даже если мы будем кричать.

Человек откинул одеяло. Он был куда старше меня, лысый, глаз подбит, один ус меньше другого, седина на висках.

— Разрешите представиться, — сказал он. — Яков Мяков, начальник телевидения.

— Как же, — сказал я, — помню. Вы недавно интервью давали — представляли новую поросль вампиров спортивной редакции.

— Тишше! — умолял Яков Мяков. — Они везде. Они следят... Я вынужден притворяться, что и сам верю в черную и белую магию.

— Но у меня нечисти не бывает, — возразил я.

— Вот именно!

Яков Мяков сидел на корточках, прижавшись спиной к вешалке.

— Перейдем в санузел, — приказал он. — Он у вас совмещенный? Да? Пускайте воду в ванну.

В Якове Мякове, несмотря на его трагическое положение, было что-то полководческое.

Только я закрыл дверь в санузел, как в вентиляционном стояке зашуршало, решетка вывалилась и упала на пол, а из отверстия показалась черноволосая головка спортивной комментаторши Жанны Акуловой.

— Вот мы и в сборе, — сказал Яков. — Начнем совещание.

— Ко мне гости так не ходят, — заметил я.

— И давно у вас были гости? — спросила сверху Жанна.

— Вы же знаете, теперь никто никуда не ходит.

— Именно это нас к вам и привело, — сказал Яков Мяков.

Клубы пара поднимались из ванны и скрыли лицо Жанны.

— Прыгайте вниз, — сказал я ей.

Мы с Яковом вытянули ее из трубы и поставили на пол. Жанна оказалась легкой, гибкой и упругой. Это мне понравилось.

— Нам нужна ваша помощь, Ушкин, — сказал Яков Мяков. — Власть на телевидении захватили черти, вампиры, астрологи, прорицатели, упыри и прочая нечисть.

— Завтра они покорят все государство, — добавила Жанна.

— Согласен, — сказал я. — Рад бы не смотреть на эту мразь да телевизор сердится. Он у них на службе.

— Да, многие жалуются, — вздохнул Яков. — Вчера у президента в спальне вампирчика нашли. Пришлось кровь переливать.

Жанна всхлипнула. Она схватила меня за пальцы и крепко держала. Пар все плотнее заполнял санузел.

Мои гости словно плавали в тумане.

— Нормальные люди лишены власти и здравого смысла, — продолжал Яков Мяков. — Страна впала в ничтожество. На площадях пылают костры, вампиры безнаказанно пьют кровь в детских домах и даже губят новорожденных младенцев, ведьмы готовят ветчину из подающих надежды юношей, а русалки сексуально измываются над подростками.

— И это тоже на телевидении? — удивился я.

— Это за пределами, — быстро сказала Жанна. — Можно сделать воду попрохладнее?

Я согласился с Жанной и сделал воду не такой горячей.

Яков Мяков между тем страстно продолжал:

— Не сегодня-завтра рухнут последние остатки цивилизации. И тогда мир вернется в первобытное состояние.

— Мы сами виноваты, — сказала Жанна Акулова, глядя на меня черными глазами.

— Конечно, вы сами, — согласился я. — Я же помню, как это начиналось. Сначала вы проводили какие-то астрологические беседы, потом с экранов начали плясать и вещать экстрасенсы и прорицатели, затем появились первые колдуны...

— Не надо, не надо! — прервал меня Яков Мяков. — Все это было до того, как меня назначили на пост начальника телевидения...

— В тщетной надежде, — подхватила Жанна, — остановить поток мистики и чернокнижья.

— Я был осажден в моем кабинете, — вздохнул Яков Мяков. — И даже сегодня я выбрался из него по веревочной лестнице.

— Которую я пронесла под юбкой, — объяснила отчаянная Жанна.

— Вы должны нам помочь! — воскликнул Яков Мяков, бросаясь мне в ноги.

Сделать это было трудно, потому что в моем стандартном санузле три человека размещаются с трудом, и, если один из них начинает бросаться в ноги, то остальным приходится прижаться к стенам. Жанне пришлось даже взобраться на унитаз, и я разглядел, какие у нее стройные ноги.

— Как я могу помочь? — удивился я.

— А вы когда-нибудь задумывались, почему у вас в доме нет ни одного вампира или астролога? — спросила Жанна.

— Ни одного инопланетного пришельца или экстрасенса! — добавил Яков.

Он поднялся с пола, а я помог Жанне сойти с унитаза.

В полуоткрытую дверь заглянул Василий, но я шикнул на него, чтобы он вернулся в комнату, к телевизору, а то тот заметит мое отсутствие.

— А в других домах? — спросил я.

— Не валяйте дурака, Ушкин! — рассердился Яков Мяков. — Ваш дом в Москве единственный. И вы знаете, почему вас избегает нечисть!

— Нет!

— Нет, знаете!

Я не успел вновь возразить, как почувствовал щекой прикосновение горячих губ Жанны Акуловой.

— Милый, — шептала она, — подумай о детях с выпитой кровью, о жертвах полтергейта, о людях, замученных привидениями, утопленных русалками, обманутых экстрасенсами, разоренных гадалками! О тех, кто боится прийти в свой дом и скрывается в лесах. Подумай о будущем человечества, которое уже вынуждено отказаться от воздушных сообщений, потому что самолеты мешают летучим ведьмам, и закрыло школы, так как скопление детей привлекает толпы вампиров!

— Но как? — спросил я, растроганный доверием, которое мне оказывали такие важные люди.

— Так же, как ты сделал это у себя дома. Но только ты должен сделать это на телестудии в Останкине — центре, где гнездятся, размножаются и откуда распространяются по всей Москве, по всему миру эти твари!

— Когда? — спросил я. Мне хотелось отсрочки. Мне было страшно.

— Сегодня, — сказал Яков Мяков. — Сегодня они все собираются в телецентре, чтобы назначить решительное наступление на людей.

— Может, завтра?

— Дорогой! — Жанна жарко обняла меня. — Если ты совершишь подвиг, я твоя!

— Но я не из-за этого, — обиделся я. — Еще чего не хватало!

Яков Мяков тонко улыбнулся, полагая, видно, что победил.

Часы пробили девять-тридцать.

Мы не стали говорить телевизору, что уходим. Почти наверняка нечисть уже подключилась к нему. Мы взяли мой рыжий чемодан. Мы уходили по крыше — через чердак, затем между труб и телевизионных антенн. Когда мы спускались по пожарной лестнице в районе Маломосковской, нас заметил какой-то астролог, стоявший в халате на крыше соседнего дома и глядевший на звезды. Уже спустившись на асфальт, я увидел, как он, подобрав полы халата, несется к телефону-автомату.

Яков Мяков хотел его догнать и придушить, но возобладала точка зрения Жанны, которая предложила нам бежать дворами до развилки, а там между домами за кинотеатром «Космос».

Если нас и видел кто из нечисти, когда мы совершали этот маневр, мы этого не заметили. Мы углубились в заросшие тополями и осинами дворы между новых домов. Кое-где еще горел свет, и я мельком увидел на первом этаже экран телевизора, с которого грозно смотрел на зрителей бритый йога, на плече его восседала поющая тенором ворона.

Мы бежали, передавая друг другу чемодан, мы устали. Под ногами хлопал мягкий мокрый снег.

Первый тревожный сигнал мы получили, когда вышли на улицу Королева и увидели далеко впереди огни телецентра. Похожее на светящуюся медузу привидение выплыло из-за угла и замахало короткими конечностями, чтобы испугать нас до смерти. Испугать нас оно не могло, но зрелище было отвратительным. Сколько я этих привидений перевидал, а никак не могу привыкнуть.

Мои спутники плюхнулись в снежную жижу и дальше ползли рядом со мной — у них не выдерживали нервы. Я бежал, тащил чемодан, отмахивался от привидения, вызавшего на подмогу летающего экстрасенса, который вился надо мной и делал пасы.

Яков Мяков полз впереди и все забирал левее.

— Через главный вход нам не пробиться! — крикнул он. — Гляди, они все перекрыли! Испугались, сволочи!

И в самом деле, у главного входа происходило мельтешение фигур и блеск каких-то предметов или фонариков. Жанна попала в глубокую лужу, и я вытащил ее. При этом еще раз убедился, что у нее очень красивые ноги.

— Сколько временннн? — спросила она, стуча зубами.

— Без двадцати двенадцать, — сказал я.

— Они постараются остановить время, — сказал Яков Мяков. Он улегся в снег и был почти незаметен. — Но на Спасской башне у нас стоят пограничники, славные ребята, безработные, их так просто не возьмешь.

Толпа от главного входа неслась к нам. Хоть и было темно, под светом редких тусклых фонарей мне были видны оскаленные пасти вампиров и светящиеся глаза Наблюдателей за летающими тарелками.

— А теперь за мной!

Распрямившейся пружиной начальник телевидения, надежда демократии, вскочил на ноги и кинулся к незаметной дверце в здании технических служб. Мы побежали за ним.

Наш рывок был неожиданным для нечисти, и мы успели захлопнуть за собой и запереть на засов дверь быстрее, чем они нас настигли. Дверь сотрясалась от ударов и воплей, но мы уже бежали по коридору.

Через десять минут, миновав подземным переходом улицу, мы побежали к пожарной шахте, ведущей на второй этаж, к кабинету Якова Мякова.

Первым по шахте карабкался Яков. У меня перед глазами все время двигались красивые ноги Жанны Акуловой. Чемодан оттягивал руку.

— Все в порядке, — сказал Яков.

Мы вылезли в коридор и бросились к его кабинету. Но как назло на ручке двери дремал маленький чертенок, из тех сволочей, что используют мафиозно-потусторонними кланами.

— Ага! — пискнул чертенок и отпрыгнул прежде, чем Яков Мяков успел его поймать. — Донесу, донесу, донесу!

Жанна кинулась за ним по коридору, да разве уго-
нишься?

Яков Мяков отпер дверь к себе в кабинет.

Впрочем, он мог бы и не трудиться, не запирает его. На диване вальяжно возлежала обнаженная прорицательница с книгой судеб, раскрытой на середине, и курила кальян, две старые цыганки играли в карты-тарроты на полу у стола, рядом с монитором корчился корень мандрагоры.

Яков прошел к селектору. Включил его.

— Центральная? — спросил он. — Отвечайте!

На мониторе появилось взволнованное лицо моей любимой дикторши Танечки.

— Мы держимся из последних сил! — воскликнула она. — Где же обещанная помощь?

Тут рука скелета вошла в кадр и зажала белыми пальцами ротик дикторши, которая потеряла сознание.

— Сколько времени? — спросил Яков.

— Без восьми двенадцать, — ответила Жанна Акулова. Она заметно дрожала.

— У нас нет иного выхода, как бежать в первую студию!

— Они могут отключить энергию, — предположил я.

— К счастью, они неграмотны и совершенно не разбираются в технике. Они даже полагают, что науки и техники не существует. Что свет горит сам по себе... — и Яков Мяков сдержанно засмеялся, хотя ему было совсем не смешно.

Меня не радовала перспектива снова бегать по коридорам, наполненным нечистью, но я видел свой долг в том, чтобы помочь родине вернуться к нормальной жизни. Семьдесят пять лет мы жили под властью оборотней, которые звали себя коммунистами, затем, после короткого периода демократии, снова угодили под власть оборотней — теперь уже настоящих. И они плодятся и плодятся, благоденствуя, как паразиты, на наших суевериях, страхах и надеждах. Недаром больше всего этих астрологов, экстрасенсов, прорицателей и вампиров крутится возле больниц — чем хуже человеку, тем лучше всякой кашпировщине...

Мы шли по коридорам телецентра, делая вид, что ничего особенного не происходит.

Вот шагает начальник Яков Мяков, смирившийся с тем, что власть захватили упыри, вот идет обаятельная худенькая Жанна Акулова с новым мужественным поклонником, который несет в руке чемодан... Нас обгоняли сотрудники, каждый спешил по своим делам. Ведь на телевидении должны работать обычные люди, иначе останутся машины, потому что нечисть не знает, как устроен паровоз. Навстречу нам шел черт высокого разряда, его ветвистые рога нависли надо лбом. Рядом с ним, оживленно щебеча, семенила пожилая брюнетка Джуна, за которой хвостом бежали телохранители, порой открывавшие беспорядочную стрельбу. Поэтому нам приходилось перешагивать через трупы.

Мы уж решили было, что доберемся до пульта без приключений, но нечисть нас обманула.

Как только Яков Мяков открыл дверь, на нас со всех сторон накнулись упыри и астрологи, вампиры и вер-вульфы, хищные русалки и предсказатели с желтой ватой в волосатых ушах. Руководила засадой гнусного вида ведьма, которая не вылезала при этом из ступы и за неимением метлы размахивала половой щеткой.

Нас скрутили и поволокли на сцену, над которой сохранилась еще вывеска «Радуга народного творчества».

— Пускай все видят! — завопила ведьма. — Включите все программы! Вы меня слышите?

— Слышим, — грустно отозвались подневольные операторы и режиссеры.

— Включить систему Интервидения и Евровидения! Включить вольный город Брест! Пускай весь мир видит, что мы делаем с предателями и врагами великого мистического братства.

С правой руки на мне висела молодая русалочка, от которой сильно пахло тухлой рыбой, слева меня держал оборотень, который то начинал превращаться в волка, то спохватывался и вновь принимал человеческие черты.

Зажглись мониторы.

— В студии тишина! — закричал астролог из известной банды, которая по выходным дням выходила грабить интуристов на большую Смоленскую дорогу.

Ведьма грохнула ступой по сцене. Юпитеры повернулись к нам ослепительными рожами. Я знал, я чувствовал, что студия буквально набита нечистью, которая сбежалась торжествовать гибель последнего человеческого начальника телевидения, несгибаемой Жанны Акуловой и меня — скромного оплота трезвых сил в мире безумия.

— Ровно в полночь, — вопила ведьма, — под моим руководством на глазах миллиардов телезрителей мы коллективно растерзаем эту зловещую троицу!

Оставалась минута...

Жанна смотрела на меня.

— Как жаль, — сказала она тихо, — как жаль, что мы встретились так поздно.

— Мы еще посмотрим, — возразил я.

— Господа, товарищи, граждане! — закричал Яков Мяков, который и в такой момент оставался отважным и несгибаемым демократом. — Торжество темных сил ирреальности недолговечно! Люди победят! Вы все провалитесь в свои тартарары!

— Кончай их! — завопил возмущенный зал.

Громко и гулко ударили часы. Первый удар...

И тут под рев набегающей толпы я приподнял руку с повисшей на ней русалочкой и шмякнул этой русалочкой по голове оборотня, который вцепился в нее волчьими зубами.

Я отпрыгнул назад.

Я наклонился и открыл застешки чемодана.

Почувяв неладное, на меня накинулись вампиры, упыри и астрологи...

Но было поздно.

Часы ударили второй раз, третий, четвертый...

Василий, выпущенный из чемодана, взлетел на какую-то перекладину и громко, во всю свою мощную глотку закричал:

— Кукарекууууу!

Как громом пораженные, замерли вампиры, поникли русалки, ахнули лешие, задрожали экстрасенсы...

Пять, шесть, семь...

— Кукареку! — торжествующе звучала победная песня Василия.

Мой герой и друг надежно охранял мою квартиру от

нечисти, которая как смерти боится петушиного крика... Теперь пришла очередь телевидения и всей моей прекрасной страны.

Восемь, девять, десять, одиннадцать...

— Кукаррреку! — в третий раз запел петух.

И все они исчезли — и ведьмы, и прорицательницы, и гадалки, и колдуны, и упыри, и водяные, и кандидаты медицинских наук...

В зале было гулко и слишком пусто... Золотая заколка старенькой гадалки-акушерки блестела на полу.

Кто-то робко захлопал в ладоши. Наверное, кто-то из техников.

Жанна обернулась ко мне и спросила:

— Вы что делаете завтра вечером?

— Что прикажете, то и сделаю, — ответил я.

Петух слетел ко мне на плечо.

— Не переоценивайте своих достижений, Ушкин, — строго сказал Яков Мяков. — Борьба только начинается. Нечисть практически неистребима.

1992 г.

УТЕШЕНИЕ

Льву Разгону посвящается

Изобретатель машины времени Матвей Сергеевич Ползунков, будучи человеком относительно молодым и, как говорится, не от мира сего, когда не работал — не знал, на что себя употребить. А в его жизни, как и в жизни любого человека, возникали моменты и даже периоды вынужденного безделья, как, например, вечер 6 марта прошлого года, когда домашний компьютер сломался, а институт до утра закрыт. Можно было поехать к маме, у которой он не был уже три месяца, но у мамы всегда было скучно и надо было общаться с отчимом. Можно было позвонить Людмиле, но Людмила так хотела его на себе женить — нет, не из-за его научных достижений и благополучия, а потому что жаждала с ним спать. И это тоже было скучно.

Поэтому, отказавшись от изъезженных путей, Матвей Сергеевич пошел по улице Герцена и в нескольких шагах от площади Восстания увидел на ДOME литераторов объявление о том, что сегодня там писатель Леонид Ларин читает свои рассказы о прошлом, а устраивает этот вечер общество «Мемориал», целям которого Матвей Сергеевич глубоко сочувствовал, хотя никто из его родственников от репрессий не пострадал, а отец погиб на фронте в мае 1945 года в возрасте двадцати лет, на четвертый день после свадьбы со связисткой Семеновой, которая и стала потом матерью Матвея Сергеевича.

Матвей Сергеевич вошел в Дом литераторов, сдал на вешалку пальто и был встречен двумя прозрачными бабушками в школьных платьях с белыми воротничками, которые обрадовались его приходу. От такой встречи Мат-

вей Сергеевич решил, что зал будет пуст и Леонид Ларин будет читать свои рассказы лишь ему и двум прозрачным бабушкам.

Матвей Сергеевич ошибся, потому что зал был почти полон, если не считать пустых мест спереди, в третьем и четвертом рядах, видно, припасенных для литературного начальства, которому было недосуг сюда прийти.

Леонид Ларин, вышедший на сцену точно в девятнадцать часов, оказался прямым пожилым мужчиной с лицом, склонным к улыбке, даже когда оно было совершенно серьезным. Такими же оказались и его рассказы. Они повествовали о вещах страшных и вещах необыкновенных, о жизни в лагерях и ссылке и, наверное, были бы, безусловно, трагичны и безысходны, если бы и в них не было всегдашней легкой улыбки автора, которая, конечно, и спасла его и не только позволила выжить там, встретить высокой красоты женщину и жениться на ней, но и остаться моложавым, подтянутым и легким в походке.

Сидя в этом зале, Матвей Сергеевич не аплодировал и ничем не показывал своего одобрения, потому что это казалось ему неуважением к Леониду Ларину, ведь не аплодируют в церкви священнику, а в лесу — пению птиц. Его не оставляло забытое детское опасение, что рассказы вот-вот кончатся и ему скажут, что пора домой, пора спать.

Так и случилось сразу после того, как Ларин прочел рассказ о жене президента нашей страны, которая стирала белье в лагерной прачечной, тогда как ее супруг, покорный тирану, раздавал ордена палачам и подписывал смертные приговоры другим женам и мужьям.

Выйдя на улицу, Матвей Сергеевич долго стоял у входа в Дом литераторов, словно поклонник, ожидающий любимую певицу. Но все разошлись, а Ларина он не дождался; видно, тот остался в ресторане или вышел другим путем.

Матвей Сергеевич внимательно следил в «Вечерней Москве», не будут ли объявлены другие выступления Ларина, потому что он бы с удовольствием туда пошел, но в газете таких объявлений не было. Тогда Матвей Сергеевич, отличавшийся логическим складом ума, предположил, что Ларин не занимается чтением своих рассказов профессионально, а делает это лишь по просьбе людей из

«Мемориала». Рассудив так, Матвей Сергеевич отыскал телефон «Мемориала», и там ему ответила очень любезная женщина, которая подтвердила его подозрения и даже помогла узнать, где через две недели Ларин будет выступать вновь.

Выступление было дневное, в городской библиотеке, в пользу инвалидов, и Матвею Сергеевичу стоило немалых трудов туда вырваться. По парадоксальной причине: он сам назначил на это время совещание с поставщиками, деликатное и неимоверно трудное. И вдруг пренебрег им и, к полному изумлению его сотрудников и соратников, переложил переговоры на недалекого заместителя, который обязательно их провалит.

На выступление Ларина Матвей Сергеевич шел как на свидание. Он хотел даже купить букет цветов, но смутился, представив себя идущим по проходу с букетом — нескладного, худого и сутулого. Застыдился и букета не купил.

Ларин отвечал на записки, удивляясь их однообразию. На этот раз в зале библиотеки народу было куда меньше и в основном пожилые женщины. Ларин обратил внимание на худого, плохо подстриженного человека и даже подумал, что лицо его чем-то знакомо. То ли встречал его когда-то раньше, то ли уже видел на собственном выступлении.

Этот худой человек сидел серьезно, неподвижно, будто принимал лечебную процедуру, во время которой рекомендуется не двигаться. Выделив его лицо из ряда иных лиц, Ларин уже поглядывал на него, но ничего более интересного в поведении слушателя не заметил и даже почему-то подумал, что это мог быть наблюдатель из КГБ, собирающий, например, сведения для доклада о состоянии общественного мнения.

Второй встречей с Лариным Матвей Сергеевич не был удовлетворен, но не потому, что рассказы ему приелись или автор стал менее привлекателен. На самом деле, хоть он и не мог себе в этом признаться, его подсознательно волновал результат переговоров в институте и предчувствие их провала. Что и случилось.

В мае, после третьего выступления, Матвей Сергеевич набрался смелости и подошел к Ларину. В тот день Ларин плохо себя чувствовал и очень беспокоился о жене, которой сделали операцию. Он сам с трудом досидел до конца

собственного вечера, отменить который помешала лишь совестливость и всегдашнее чувство ответственности перед людьми, от него каким-то образом зависящими.

Матвей Сергеевич почувствовал состояние Ларина и, подойдя к нему, предложил довести до дома. Ларин с благодарностью согласился. У подъезда клуба «Металлист», где выступал Ларин, Матвея Сергеевича в тот день ждала служебная серая «волга». Это удивило Ларина, среди его знакомых и друзей почти не было людей со служебными серыми «волгами», и он, понимая, что как-то надо поддерживать разговор, хотя бы из благодарности к человеку, везущему его домой, спросил, где тот работает. Матвей Сергеевич ответил, что в институте. Это была чистая правда, которая не удовлетворила Ларина, но он ничем не показал этого.

Для Матвея Сергеевича посещения выступлений Ларина стали обязательными, как для иного человека — посещение церковной службы. Ларину даже бывало неловко оттого, что он читает те же рассказы, с теми же интонациями и даже одинаково шутит по поводу удручающе одинаковых записок. Он привык уже видеть Матвея Сергеевича и считал его чем-то вроде дворового сумасшедшего, безобидного и не очень надоедливого: не тронь, он и промолчит.

А Матвей Сергеевич был влюблен в Ларина. В его писательский талант, в стать его стройной фигуры, в его голос, а главное — в сдержанную улыбку. Наверное, психоаналитик объяснил бы эту привязанность последствием безотцовщины и бесконечным внутренним одиночеством талантливого человека, вынужденного зачастую притворяться банальным ради того, чтобы сдвинуть с места свое великое дело. Ведь никто, даже ближайшие сотрудники не верили в успех их предприятия, и с каждым месяцем все труднее было доставать ассигнования, в первую очередь валютные.

Матвей Сергеевич настолько сжился с миром Ларина, с лагерями, с сибирской зимой, вышками над колючей проволокой, голодом, холодом и смертями, что порой просыпался ночью будто в бараке и, даже открыв глаза, не мог отделаться от видения. И страшнее всего ему было не за себя, — если бы не дело, он бы вообще себя не берег, — а за Ларина, которого считал куда более тонкой

и благородной натурой, а значит, человеком, которого надо оберегать.

Один раз, уже в августе, ему удалось оказать Ларину небольшую услугу. Матвей Сергеевич услышал, подойдя к Ларину после выступления, как тот сказал какой-то пожилой даме из «Мемориала», что послезавтра уезжает во Францию по приглашению издателя и что трепещет перед этой поездкой, потому что за границей никогда не был. К тому же такси никак не вызовешь, а жена еще слаба после операции. Дама из «Мемориала» вздыхала и искренне сочувствовала, но была бедной женщиной и ничем помочь не могла. Тогда Матвей Сергеевич, который в тот вечер был без машины, потому что считал неудобным использовать ее в позднее время, подошел к Ларину, спросил, когда у того самолет, и сказал тоном, не терпящим возражений, что отвезет своего кумира на аэродром. Ларин был благодарен и не мог отказаться от такой любезности. Потом, дома, его жена смеялась, что наконец-то Леонид обзавелся настоящим поклонником. И скоро к нему в двухкомнатную блочную квартирку будут приходить ходоки, как к Льву Толстому.

В назначенное время машина была у подъезда. Матвей Сергеевич поднялся, помог перенести вещи, и они поехали. Погода была плохая, шел дождь. Ларин спрашивал жену, откуда ему знакомо лицо Матвея Сергеевича, может, она помнит, а Матвей Сергеевич смеялся, что его лицо приелось Ларину и тому кажется, будто они встречались раньше.

И тут случилась беда.

Спустилось колесо, потом сломался домкрат, а машины пролетали мимо и не хотели останавливаться, потому что все спешили в аэропорт. В результате Матвей Сергеевич пережил, не признавшись никому, приступ стенокардии, а к самолету они, изволновавшись, устав от убежденности в провале французской поездки, приехали за двадцать минут до отлета.

Вялый молодой таможенник, отлично зная, что каждая минута на счету и пожилые люди не смогут бегать по коридорам, с добрым служебным садизмом потребовал открыть чемодан и стал пересчитывать матрешек, бутылки шампанского и прочие вещи, что везли Ларины в подарок людям, которых знали в Париже.

И вот тогда, не в силах более терпеть это издевательство, Матвей Сергеевич, наблюдавший за процедурой из-за ограды, сметая все на своем пути, вылетел в таможенный зал и закричал, обращаясь и к тому вялому таможеннику, который досматривал Лариных, и ко всем таможенникам и пограничникам аэропорта:

— Вы читали «Жену президента»? Нет, скажите, вы читали «Жену президента»? В «Огоньке»?

— Читал, — сказал таможенник. — Кто не читал?

— А теперь вы хотите, чтобы человек, который написал этот рассказ, который провел в сталинских лагерях почти двадцать лет, — вы хотите, чтобы он опоздал на самолет? Вы преступник! Да!

Пауза, наступившая после этого взрыва, была недолгой, может быть, секундной, но казалось, что она тянется вечно. И нарушил ее начальственный голос, прогремевший со стороны:

— Семенов, а ну пропустить товарища писателя!

А молодой таможенник, уже сам спеша, засовывал обратно в чемодан вещи, защелкнул его и сказал:

— Я понимаю, вы не думайте, у меня же дядя сидел, я ваши произведения читал!

Таможенный начальник взял чемодан, чтобы они успели на самолет, и повел Лариных к пограничному контролю, а на Матвея Сергеевича больше никто не обращал внимания, и он, страшно подавленный своим поступком, вернулся к машине, где его ждал такой же удрученный и виноватый шофер, и сказал ему: «Вроде обошлось», — и до Москвы больше не произнес ни слова. Шофер тоже мочал.

Когда Ларин вернулся из Парижа, Матвей Сергеевич не явился на его вечер в Доме литераторов, и Ларин был удивлен, что тот не подошел к нему. А Матвей Сергеевич все не мог пережить позора, ведь по его вине с писателем случился такой казус. Да и вел он себя нетактично, и, наверное, Ларин сердится на него.

В то же время Матвей Сергеевич видел определенную историческую справедливость в запомнившейся картинке: грузный таможенный чин ведет к границе, поддерживая под локоть, бывшего заключенного, выкинутого и чуть не убитого этим обществом. Ах, если бы человек мог знать заранее, что его ждет! И, заглянув в будущее, увидеть,

что справедливость в конце концов обязательно торжествует! Может, тогда садист-следователь поостерегся бы избивать старую женщину, а лжесвидетель лгать и подличать? И с глубокой горечью Матвей Сергеевич понимал, что многие годы в тюрьме, лагерях, ссылке его кумир Леонид Ларин мог лишь смутно надеяться на смерть Сталина, но не на смерть эпохи. И ждал лишь худшего... И никто не мог прийти к нему и сказать: «Дорогой Леонид! Все обойдется! Ты еще пройдешь под руку со своей прекрасной женой по Лазурному берегу во Франции. Правда, лучше бы вам это сделать сейчас, но и в преклонном возрасте Лазурный берег очарователен, не так ли?»

...Ларин сам позвонил Матвею Сергеевичу. Когда-то раньше тот сообщил ему, как называется его институт. Ларин нашел телефон и позвонил. Не видя Матвея Сергеевича более месяца, он решил, что тот в обиде, ведь человеку пришлось из-за него кричать и волноваться в Шереметьеве.

Матвей Сергеевич, несмотря на то что в институте шли испытания и сам он трое суток уже не спал, был счастлив звонку. Он обещал, как станет свободнее, обязательно навестить Ларина. Когда ходовые испытания завершились, Матвей Сергеевич пришел на встречу писателя с читателями по поводу выхода в свет его новой книги. Во время выступления Ларина спросили, каково после стольких лет страданий переносить теперь писательскую популярность. На что тот с юмором рассказал об истории в аэропорту, в которой, правда, Матвей Сергеевич совсем не выглядел глупым. Больше всего смеялись, когда Ларин изобразил таможенного начальника.

Не подойдя к Ларину после встречи, потому что торопился в институт, Матвей Сергеевич вдруг понял, что его поступок вовсе не плох и не смешон — он всего-навсего отражение нашего глупого, трагического и смешного времени.

В последующие две недели он не забывал о писателе, но института не покидал — проходили пробные запуски. Сначала на десять минут, затем на полчаса, наконец — на год. В прошлое и будущее улетали крысы и кошки, то исчезали, то возвращались — обо всем этом можно было бы прочесть в специальной, но пока засекреченной литературе.

К нашему рассказу это не имеет отношения до того дня,

когда, подобно врачу, привившему себе чуму, в машину времени вошел ее создатель — директор НИИВП, действительный член АН СССР, генерал-лейтенант Матвей Сергеевич Ползунков, о чем его мама Нина Сергеевна, конечно же, не знала, иначе бы она этого не пережила.

Благополучно прошли три путешествия — в недалекое прошлое, недалекое будущее, и наконец наступил момент испытания максимальных возможностей машины, на чем настаивал министр обороны.

Разумеется, все знали (хотя министр обороны этому не верил), что ничего в прошлом изменить нельзя, да и не надо, потому что от этого непредсказуемо изменится настоящее. Но если действовать осмотрительно, то последствия поступков постепенно нивелируются.

В ночь перед основным запуском Матвей Сергеевич не спал.

Он думал о собственной ответственности перед человечеством и о том, что обязательно найдутся силы, желающие манипулировать историей. Это будет трагедией для всей Земли, и невинные жертвы этих манипуляций будут проклинать именно его, Матвея Ползункова. И будут правы, хотя, не будь Ползункова, через полгода нашелся бы кто-то другой.

Если человек имеет хоть малую возможность уравновесить причиненное им зло каким-нибудь добрым поступком, он обязан к этому стремиться. И надеяться, что сумма добрых дел в конечном счете перевесит гирю подлости. А Матвей Сергеевич заранее решил, какое доброе дело он совершит.

Опасаясь, что его не поймут, а не поняв, захотят помешать, Ползунков проводил основной эксперимент, не поставив в известность министра и своих коллег. Он отлично использовал нашу страсть к засекречиванию всего, вплоть до имени покойной тещи командующего военным округом, и ввел в курс дела, и то не полностью, лишь экипаж своего вертолета и Людмилу.

Вертолетчики подготовили машину и взяли в штабе карты нужного района к северу от Воркуты. Людмила раздобыла на бабушкиной даче — месте их недолгих и неуютных встреч — потрепанный дедушкин ватник, штаны, в которых тот копал картошку, и ветхие сапоги. У

мамы, ничего не объясняя, Матвей Сергеевич реквизиrowвал трех, которым раньше натирали пол.

Именно в таком виде Матвей Сергеевич вышел из дома на рассвете 5 ноября и уверенно прошел к ожидавшей у подъезда машине. Охранник хотел было обезвредить бродягу приемом самбо, но вовремя узнал генерал-лейтенанта.

Вертолет Ползункова был комбинированной машиной, могущей превращаться в ракету и достигать скорости в две тысячи километров в час. Поднявшись на борт и поздоровавшись с изумленными пилотами, Ползунков отметил на полетной карте точку, в которой вертолет должен опуститься ровно через два часа.

Вертолет снизился посреди обширной старой вырубki на берегу Малого Воронца. Сыпал редкий снег, и ветер был ледяным. Ватник совсем не грел. Ассистенты и охранники вытащили на берег мобильную модификацию машины времени, схожую с будкой телефона-автомата, и подключили ее к блоку питания. Несуwственно одетый директор института вошел в будку и на глазах у всех растворился в воздухе. В его распоряжении было десять минут — через десять минут сеанс связи кончался и исполнитель рисковал остаться в прошлом навечно.

Но ни один из помощников и наблюдателей, собравшихся у вертолета, не знал, куда и с какой целью полетел Ползунков.

Они ждали начальника, приготовив термос с горячим чаем.

Стояла глубокая осень. Ночью ударил крепкий мороз, а сейчас, к десяти утра, хоть и потеплело, но все еще было градусов семь-восемь ниже нуля.

Будучи внимательным читателем Ларина, Матвей Сергеевич отлично знал обстоятельства, давшие повод к появлению на свет рассказа «Случай на Воронце».

Он знал, что вечером 4 ноября 1947 года садист начальник лагеря приказал троим заключенным отнести за двадцать километров плакаты и лозунги к тридцатой годовщине Октября, потому что на восьмой шахте требовался праздничный агитматериал. Шли они без конвоя, деваться было некуда — единственная дорога вела к шахте. Из рассказа было известно, что дошел до поста один Леонид Ларин, который очень любил одну молодую красивую женщину,

ставшую потом его женой, и он не мог нанести ей, посевшей в том мире, еще один непереносимый удар. И он шел к тому посту, как будто шел к ней. Его спутники с полпути повернули назад и замерзли. Такая вот случилась простая история.

Искушенному читателю несложно теперь понять ход рассуждений Ползункова.

Чем долее он ходил на выступления Ларина, тем более проникался сочувствием и жалостью к нему, тем тяжелее ему было сознавать масштабы двадцатилетней казни, которой подвергся незаслуженно и жестоко этот умнейший и талантливый человек, подобно миллионам других таких же людей. И возможно, не случись встречи с Лариным, Матвей Сергеевич изобретал бы свою машину на год или два дольше — именно подсознательная вначале и вполне осознанная с ходом времени надежда каким-то образом помочь Ларину заставила Ползункова торопиться. Вначале он предполагал, что сможет как-то помочь Ларину бежать или, скажем, подменить того в лагере, спасая незаурядный талант... Было много планов, но невозможность изменения прошлого заставила от них отказаться.

Матвей Сергеевич знал уже, что не сможет увести с собой Ларина, что не сможет даже дать ему теплые сапоги или полушубок — отнимут и еще накажут! Он не может сделать ничего! Ничего ли?

Матвей Сергеевич давно уже догадался, что он сделает.

...Леонид Ларин тупо считал шаги, зная, что умрет в этой тайге, потому что сил не осталось, мороз не утихал, пальцы рук и ног были отморожены, но тяжелый рулон плакатов и лозунгов выбросить было нельзя — на них многократно были написаны самые дорогие слова: «Сталин» и «Партия»... Ларин шел и считал шаги, сбивался и снова считал...

И в этот момент он услышал голос:

— Простите, Леонид Борисович.

Ларин решил, что у него снова начинается бред — бред начинался раньше, может, час. может, два назад, казалось, что наступило лето и можно остановиться, прилечь отдохнуть и сладко заснуть...

— Леонид Борисович, — сказал человек, похожий на эзка, но не эзк.

Намстанный за долгие жестокие годы глаз Ларина сразу разгадал в нем ряженого человека, лишенного страха — страха замерзнуть, страха попасться охране, страха подохнуть от голода... Встреченный в лесу человек не был голодным, он никогда не был голодным, он не представлял себе, что такое голод, и хоть он был худ и костляв — это была иная худоба и иная костлявость. Сколько можно встретить по лагерям умирающих от голода, но вовсе не худых, а распухших сизошеких доходяг... И главное — он был чисто выбрит.

— Леонид Борисович? — неуверенно повторил встреченный человек.

И тогда Ларин понял, что ему предстало видение, разновидность бреда, ибо здесь не может быть никого, знающего отчество Ларина.

И все же Ларин остановился. И сразу сбился со спасительного счета шагов.

— Простите, что я остановил вас, — сказал Матвей Сергеевич, — но мне нужно сообщить вам нечто очень важное.

— Вы мне кажетесь? — спросил Ларин.

— Ничего подобного! У вас все будет в порядке! У вас все будет в порядке! Я не могу долго оставаться с вами. — Глаза доходяги радостно сияли. — Но я должен сказать, что до шахты остался всего километр и через час вы там будете. И даже пальцы у вас останутся целы. Честное слово, я знаю.

Ларин почувствовал раздражение против этого Луки-утешителя, который сбил его с размеренного шага, могущего спасти в морозной тайге. Какой километр? Неужели еще целый километр? А он так надеялся, что шахта откроется за поворотом.

— Но я о другом! Я о главном! Вы доживете до освобождения!

Ларин пошатнулся под грузом тяжелого рулона с плакатами и пошел дальше.

Человек шел рядом.

— Я не могу вам помочь, — говорил он быстро, будто робея. — Я скоро должен отсюда уйти, но я вам скажу самое главное...

Ларин старался вернуться в привычный спасительный

ритм — шаг-секунда-шаг-секунда — он пошел дальше, скользя по обледенелой тропе. Молодой человек говорил быстро и восторженно:

— Вы выйдете отсюда. Все будет хорошо. Вы женитесь на Лике, вы будете с ней в Париже, слышите — в Париже! Да слушайте меня, я сам видел! Представьте себе — на таможне вас не пускают в Париж. Вы меня слышите? На таможне вас не пускают, а я говорю: это ж Ларин, который написал «Жену президента»! И тогда открываются все ворота! Я не шучу, мне сейчас хочется плакать — сегодня самый трудный день вашей жизни, но ваша жизнь будет долгой и счастливой!

Ползунков скользил, спешил, дыхание сбивалось, а Ларин считал шаги и думал: ну почему эта сука не поможет нести рулон? Он понимал, что этот человек — фантом, рожденный его умирающим воображением, но сердился на него.

За поворотом, далско впереди, он увидел дымок и копер шахты.

А увидев, забыл о нелепом спутнике.

Человек остался у поворота и кричал вслед:

— А я вас сразу узнал! Вы не отчаивайтесь, я даю честное слово!

Академик Ползунков поднялся на борт вертолета. Следом за ним подняли кабину времени. Он подумал: как странно, прошло больше сорока лет, а мне он показался старым, хотя был моложе меня...

Матвей Сергеевич откинулся назад.

Все в вертолете молчали.

Наконец полковник Минский спросил:

— Перемещение получилось?

— Получилось, — ответил директор.

Он должен был запомнить, думал Матвей Сергеевич. Он не может не запомнить эту встречу. Теперь ему станет легче терпеть лишения. И по мере того, как будут сбываться предсказания незнакомца, он поймет и поверит...

Вернувшись в Москву и вновь включившись в упорную работу, Матвей Сергеевич был счастлив.

Он знал, что, если ему выпало сделать в жизни хоть одно доброе дело, то он его сделал.

Он знал, что теперь, пускай с улыбкой, пускай с долей недоверия, Ларин будет вспоминать странного человека на

тропе и его предсказания. И пусть не до конца, но все же научится верить в собственное доброе будущее.

Академик Ползунков был счастлив.

После доклада на правительственной комиссии осунувшийся Ползунков пришел на торжественный вечер «Мемориала» в Дом кино. Ларин увидел его еще до начала и обрадовался.

— Куда вы пропали? — сказал он. — Мне вас не хватает. Я привык к вам.

— Вы говорили, что мое лицо вам знакомо. Вы так и не вспомнили, откуда? — спросил академик.

— Нет, не вспомнил. А вы?

— А я вспомнил! — торжественно воскликнул академик.

— Тогда признавайтесь, не томите, мне скоро на сцену.

На Ларине был новый костюм и красный галстук. Наверное, из Парижа.

— Помните ноябрь сорок седьмого года, как вы несли на восьмую шахту плакаты?

— Конечно, помню, — сказал Ларин и взглянул на часы. — Я же об этом написал рассказ. Двое повернули назад и погибли, а я... а меня вела Лика. — Ларин смущенно улыбнулся. Он не любил громких слов.

— Помните человека, которого вы там встретили?

— Где?

— В тайге, в конце пути, недалеко от шахты?

— Если там кто и был, я его не заметил — я считал шаги. Это очень помогает.

— Там был я, — сказал академик. — Я был в ватнике. Я вам рассказал про Париж, про то, как вы будете жить потом... после лагеря.

Зазвенел звонок. Ларину было пора на сцену. Он сразу потерял интерес к собеседнику.

— Вы не можете этого забыть! — Академик готов был заплакать.

— И сколько же вам тогда было лет? — спросил Ларин, делая шаг к сцене. — Два года? Три?

Он засмеялся, махнул рукой и ушел.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАСКОПОК

Я медленно шел длинным коридором корабля. Двери кают были раскрыты, в некоторых каютах уже было пусто — их обитатели, собрав пожитки, спустились в сектор погрузки. В других запоздавшие еще складывали в сумки и контейнеры вещи и приборы, что окружали их во время нашего долгого пути. Как обростает человек мелочами, как быстро умудряется он создать вокруг себя ограды вещей, без которых он лишается индивидуальности! Ничего лишнего, говорится нам в день начала полета. И мы, профессиональные археологи, знаем, насколько дорог каждый грамм лишнего веса. Но разве можно улететь на долгое время, не взяв фотографии родных, любимый талисман, три ролика нового романа, носки, связанные бабушкой, ту самую старую куртку, в которой ты копал уже три сезона... А моя красная сумка? Она оттягивает плечо, она куда тяжелей и объемистей, чем положено правилами, но почему она так велика и тяжела, я не могу сказать — вроде бы ничего лишнего.

Я обогнал двух лаборанток, они щебетали, волоча здоровенный баул, растягивая его за ручки, и он покачивался между ними словно колыбель с младенцем.

Но бывают исключения. Мой заместитель вышел из каюты, аккуратно закрыл за собой дверь. В его руке стандартный металлический контейнер, содержащий стандартный набор предметов, которые, как выяснено в соответствующем институте, могут понадобиться археологу в лагере на дальней планете. И ничего более. Счастливый человек. Он всегда знает, как себя вести, о чем думать и чем питаться. К счастью, я отношусь к неорганизованному большинству человечества и постоянно удручен мыслью о том, что он вскоре сменит меня, возглавит нашу экспедицию и заставит всех обходиться стандартным набором в стандартном

контейнере. Наверное, половина археологов тогда разбежится.

Сектор погрузки являл собой привычное глазу, приятное, но для непосвященного странное зрелище: через час высадка на планете.

Казалось, что здесь вдвое больше людей, чем те сто двадцать, которые спустятся сегодня на планету, разобьют там лагерь и начнут работать — искать давно умершие города, следы великих битв и остатки строений, столетия назад поражавшие воображение современников, и аналогии с вечностью, которой не бывает. Вот эта лаборантка станет очищать от зеленой окиси древние монеты, а эта отыщет почти целую мраморную статую, и мы будем восхищаться ею, собравшись после пыльного дня под рабочим куполом. А потом, может, через десять дней, может, через сто, наступит момент пресыщения — оно придет раньше, чем понимание умершего мира, и будет казаться, что нам все известно, а новые тысячи осколков и обломков уже ничего не дадут знанию. И лишь мой заместитель, не подвластный чувствам, будет докладывать каждый вечер, пощелкивая ногтем по инфорэкрану, что за день открыто захоронений столько-то, жилых помещений столько-то, строений культового назначения столько-то, больных в экспедиции нет, один сотрудник укушен змеей, один получил тепловой удар, а пропавший биоискатель обнаружен на тринадцатом раскопе, где он был легкомысленно забыт, хотя никто не признается в том, что легкомысленно забыл ценный прибор.

Я подошел к первому модулю и передал сумку ассистенту. Тот молча взял сумку и исчез с ней в чреве модуля. Никто не задавал вопросов, но гул в погрузочном отсеке стих — они смотрели на меня. Начинался ритуал, от которого я не в силах отказаться: сейчас я войду в разведочную капсулу, закрою за собой люк и один, за час до модулей экспедиции, опущусь на планету.

Это мое право и мое чудачество — провести первый час одному.

Пролететь, пройти будущие дни находок и разочарований, возвращения к жизни того, что окончательно умерло сотни лет назад, ощутить, впитать в себя весь

этот мир за мгновение до того, как его вечный покой будет разрушен экскаваторами, металлоискателями, руками молодых людей, охотников, хищников по натуре, для которых гробоискательство — увлекательный спорт сродни, пожалуй, походу за грибами. Порой, в моменты дурного настроения, меня посещают мысли о безнравственности моей профессии. Ведь прийти на кладбище и разворошить могилу — преступление. Сделать то же с могилой, которой тысяча лет и в силу чего, казалось бы, ее неприкосновенность освящена временем, — это достижение археологической науки. Значит ли это, что и я в душе хищник? Не знаю.

Я попрощался с капитаном корабля и сказал заместителю, чтобы через час он начинал отправку модулей. Тот кивнул, но смотрел в сторону. Он не одобряет моих одиночных полетов, потому что они не предусмотрены инструкциями, подают плохой пример молодым ученым и чреваты опасностью. Местная фауна недостаточна изучена.

Я стартовал к планете, которая еще не имеет названия, если не считать цифрового кода и звездных координат. А через месяц или год по местному времени мы узнаем ее название, вернее, несколько названий, если на планете обитали разные народы и было там много языков.

Капсула пронзила слой кучевых облаков, прошла низко над снежными вершинами, которым еще предстоит дать имя, потом подо мной потянулась высокогорная пустыня. На пульте сверкнул, замигал огонек — там, внизу, работает партия геологов, их аппаратура засекла мою капсулу. Я набрал приветствие коллегам. Огонек вспыхнул ярко, подтверждая прием, и погас.

Я шел к северу, в умеренную зону, именно там когда-то находились крупнейшие города, да и работать в умеренном климате лучше. Если потом возникнет нужда, я отправлю партии в другие климатические зоны.

В районе, выбранном для первых раскопок, я снизил скорость и пошел на небольшой высоте, так что мог рассмотреть каждый лист на деревьях.

Лес покрывал эту равнину сплошным одеялом, лишь кое-где, в основном по берегам рек, встречались проплешины. Лес там сменялся редким кустарником, и я знал,

что такие места следует проверить — там могли таиться остатки поселений.

И тут я увидел просвет — остаток дороги. Когда-то она была широкой, бетонной, лесу нелегко взламывать корнями бетон, и кое-где участки дороги остались почти нетронутыми.

Я опустил капсулу на бетон. Ему недолго оставалось прикрывать собой землю — широкие трещины, из которых вылезали кусты, исчертили его. На открытом месте грелась серая змейка с двумя головами. Она не испугалась меня — ей в жизни не приходилось видеть человека, да и крупных хищников здесь не водится. Почему-то змеи смогли приспособиться, когда погибли не только теплокровные, но и многие насекомые. Геологи сообщили нам, что в некоторых местах змеи буквально кишат. Но чем они питаются? Жаль, что забыл спросить.

— Ты чем питаешься? — обратился я к змейке. Она смотрела на меня в упор — обе головы поднялись, глаза — черными точками.

В кустах что-то зашуршало. Змейка распрямилась и скользнула в трещину бетона. Листья дрожали. Я непроизвольно опустил пальцы к поясу. Тихо. Неприятная тишина чужого мира. Разведчики обозрели эту планету поверхностно, и никто не знает, что же сохранилось под покровом леса, что нового возникло за прошедшие столетия.

Я вернулся к капсуле. Когда стоишь один, совершенно один на много тысяч шагов вокруг, понимаешь, как ты мал, ничтожен и незащищен.

Я поднял капсулу в воздух и не удержался — кинул ее к кустам, включив сирену. Кусты расступились — нечто темное, мохнатое, громоздкое, ломая кусты, понеслось к деревьям, в чащу. Вот и верь разведчикам. Жаль, что здесь есть крупные существа, — придется устанавливать охрану вокруг раскопок. А я-то думал, что поработаем без охраны.

Я полетел дальше вдоль дороги. Порой она пропадала в чаще, порой возникала вновь. В одном месте дорогу перегораживало бревно. Гнилое, толстое. Таких деревьев на планете больше нет — это остаток того времени, когда прокладывали дорогу. Теперь леса планеты состоят из

кустов-переростков и тех растений-мутантов, что смогли выжить во время экологической катастрофы, преодолеть «мусорный кризис», вспышку атомных войн, когда жители планеты отчаянно боролись за последние незагубленные участки суши и губили их в этих войнах.

В одном месте у дороги виднелись опутанные сизыми лианами, затянутые мхом и лишайниками развалины. Может быть, здесь было придорожное кафе, возле него останавливались машины, люди выходили из них, разминаясь, громко разговаривая, смеясь, усаживались за столики, пили прохладительные напитки и рассуждали о вещах обыденных, стараясь не говорить о том, что случится завтра.

Удивительно, насколько разумные существа умеют себя обманывать. Мне приходилось сталкиваться с этим феноменом на многих планетах, которые я раскапывал. Возможно, именно те цивилизации обречены на гибель, которые не могут заставить себя принять правду. Ты расшифровываешь хрупкие страницы книг и газет и понимаешь, что в те дни, когда лишь отчаянным общим усилием можно было сохранить хрупкий баланс между правом разумного существа жить далее и сопротивлением природы, люди искали виновников где угодно, лишь не в себе, придумывая фантомы зла или теша себя иллюзорными выдумками о доброте и терпении их мира. Великий закон Терпения природы, который гласит: «Планета извергает из себя сообщество, которое угрожает ее жизни», столь редко доходит до сознания разумных существ, что гибель цивилизаций в Галактике становится скорее правилом, чем исключением. И природа добивается своего спасения (а порой и опаздывает), натравливая людей друг на друга, толкая их к самоуничтожению. И ты, археолог, могильщик наоборот, по роду работы своей вынужденный вновь и вновь сталкиваться с действием закона, понимаешь, что его универсальность банальна и обыкновенна настолько, что поражаешься, почему же Они не увидели этой истины и предпочли погибнуть, но не смириться. Как здесь, на этой обыкновенной планете.

Зажужжал счетчик радиации — лес подо мной мельчал, становился темнее, уходил вглубь, в колоссальную воронку — видно, здесь когда-то взорвалась атомная стан-

ция. Синие папоротники высотой в человеческий рост густо заселили воронку, и пройдет еще много столетий, прежде чем обычные, искони присущие этой планете виды растений смогут вытеснить цепких posledышей ядерных войн и глупых попыток спастись, уничтожая себе подобных.

Впереди был большой город. Его определили с орбиты. Там мы начнем работать.

Пошли холмы, поросшие кустами и редкими деревьями. Почти нет высших, цветковых растений. Флора, после последних катаклизмов, отступила далеко назад, к лишайникам и мхам, и лишь постепенно, шаг за шагом снова начинается эволюция. Уже без человека.

Холмы становились все выше, иногда сквозь слой мха прорывался зуб разрушенного строения. Впереди поднимались остатки какой-то древней крепости. Полуразрушенные стены были опутаны лианами, поросли лишайником, крыши и верхушки башен давно упали. Но крепости всегда живут дольше, чем обычные дома.

Я спустился перед крепостью. Славные стены, подумал я, вы видели нашествия врагов, над вами развевались яркие флаги и гремела музыка. Вы смотрели и последнего человека, который скрывался, отравленный, оглушенный, испуганный, доживал последние часы в пустом уже городе. Был ли он последним человеком на планете? Или еще годы где-то в горах скрывались одичавшие обыватели, травясь испорченной ими же водой, задыхаясь в отравленном ими же воздухе, — последние самоубийцы, наказанные за вековые преступления.

На самой большой островерхой башне сохранились круглые часы. Одна из стрелок исчезла, вторая показывала на цифру «3». Возможно, эти часы когда-то гулким звоном отбивали время. Слева от башни, замыкая площадь, стоял полуразрушенный, многоверхий, некогда расписной храм. У подножия его когда-то стоял монумент. У сидящей фигуры откололась голова. От того, кто стоял, остались лишь ноги. Чем прославились эти люди? Узнаем ли мы когда-нибудь?

Я представил, как злобствовали над этой крепостью страшные пылевые бури, хлестали по зубцам стен снежные заряды, как рушились от напора стихии красные

кирпичные башни и сухими листьями неслись беспомощные тела людей.

Мне захотелось уйти, улететь, навсегда, никогда не возвращаться, ни сюда, ни в подобные мертвые миры.

Пошелкивал вызов. Я подошел к капсуле.

— У вас все в порядке? — узнал я голос моего заместителя. — Начинаем отправку модулей.

— У меня все в порядке. Начинайте.

Наваждение пропало. Оболочка капсулы была теплой, облака разошлись, и мягкое солнце согревало кустарник и красные развалины. Я увидел бабочку, небольшую, желтую, она лениво порхала над кустами. Значит, где-то уже возродились цветковые растения.

Воздух был чистый, хрустальный, планета лечила себя, освобожденная от проклятия неразумных обитателей.

Нет, я не грабитель, не хищник. Я пришел сюда, чтобы найти то доброе, что жило в тех людях, их мысли и надежды, которым не довелось сбыться, те свершения, которые позволили им прожить тысячи лет на планете, построить эту кирпичную крепость и этот многоглавый храм, создать скульптуры, осколки которых мы найдем, и картины, которые мы, вернее всего, не отыщем. Мой долг — спасение памяти.

Когда через много лет сюда прилетят разумные люди, они будут знать и соблюдать не только незыблемый закон Терпения природы, но и деяния своих предшественников. По неведению и дикости своей они убили себя. Но я их спасу — спасу от забвения.

Подул свежий ветер, и бабочка взмыла к небу. Посмотри вокруг, сказал я себе: вот чудесный, светлый, добрый мир, и он ждет человека. Я представил себе, каким веселым гомоном моих молодых коллег наполнится через час эта мертвая площадь. И улыбнулся. И пошел к башне по брусчатой мостовой. Следовало определить, где начинать первый раскоп.

...Археолог, улыбаясь, шел по Красной площади.

ОДНА НОЧЬ

За этот день я безумно устал.

Еще на рассвете проводник заставил меня покинуть уютную каюту «Гиацинта», который мирно покоился на спящей воде залива. Одевшись тяжело и неудобно, чтобы защитить себя от гадов, таящихся в зарослях, мы отправились в путь, чтобы пересечь Пустошь до жары.

Первые два часа оказались самыми легкими, но я тогда об этом не знал и проклинал стужу, сухие кочки, каменные россыпи и сладкую пыль. По-настоящему трудно стало, когда солнце поднялось повыше и в несколько минут раскалило воздух, разбудив мириады злобных мошек и зубастых змей.

Мы успели спрятаться в тень леса как раз в тот момент, когда закипела кровь в жилах, но это не значило, что в лесу было значительно легче. Там было сумрачно, от болота поднимался пар. Телохранители, высланные нам навстречу Господином Тумана, шумные и бестолковые, подняли зверя, схожего с медведем, и погнали его. Мой проводник боялся, что, оставшись без охраны, мы станем добычей каких-то карликов леса, которые, к счастью, не появились, и я до сих пор не знаю, как они выглядят и что делают со случайными путниками.

Телохранители догнали нас уже на подходе к Городу Тумана. Медведя они не убили, но громко хвастались тем, как могли бы его убить.

Телохранители были вооружены грубо изготовленными пистолетами и замечательно сделанными арбалетами. У городских ворот они подняли страшную стрельбу, будто на город наступала вражеская армия. В ответ городская стража тоже кричала и стреляла. К счастью, никого не убили.

Господин Тумана выехал навстречу мне из своего

дома — глинобитного двухэтажного сооружения на берегу грязного пруда. Могучий конь покачивался под неподъемной ношей — сам Господин весил килограммов сто пятьдесят, да и золото, которым он был увешан, как рождественская елка, тянуло не меньше.

При виде меня Господин прыгнул с коня, и я могу поклясться, что земля дрогнула и с ближних домов посыпалась штукатурка.

— Я счастлив! — сказал Господин. — Я ждал этого момента всю мою жизнь.

Я думал, что он спутал меня с комиссаром, но Господин отлично разбирался в тонкостях галактических отношений.

— Как здоровье драгоценнейшего комиссара? — спросил он, сжимая мою кисть в пухлых горячих ручищах. — Хорошо ли он перенес дальнюю дорогу? Не занемог ли он?

— Комиссар здоров, — ответил я. — Чего желает и вам. Он выслал меня вперед, чтобы по правилам вежливости предупредить о своем приезде. Он просит, чтобы к его приезду не было никаких особенных приготовлений. Комиссар желал бы поселиться в тех же условиях, в каких обитают жители вашего государства.

Господин Тумана огорчился. Он объяснил мне, что всегда подозревал, что завистники и недоброжелатели нашли путь к благородным ушам драгоценного комиссара и нашептали злобные наветы на Государство Тумана.

— Ни в коем случае, — ответил я, поднимаясь по неровным кирпичным ступенькам в дом Господина. — Комиссар всегда и на всех планетах, куда он прилетает для переговоров, просит не предпринимать никаких специальных усилий ради его скромной персоны.

— О, нет! — Господин был возмущен. Господин воспринимал мои слова как намек на свою отсталость. Звеня браслетами, Господин заявил, что и он, и его подданные сделают все возможное, чтобы загладить проступок. Глаза его покраснели, на полных щеках образовались малиновые жилки.

Я сказал, что желал бы, приведя себя в порядок с дороги, оговорить с Господином некоторые вопросы, которые подлежат завтрашнему обсуждению. Господин сам проводил меня в апартаменты, выделенные для посланца

комиссара. В дверях меня встретила милая девушка, она настойчиво смотрела на меня и шурилась. Я догадался, что она близорука, но не знал, носят ли здесь очки.

— Я никогда еще не видела инопланетян, — сказала она. — У нас так много о вас говорили, и мне было трудно поверить в то, что вы так похожи на людей.

— Это зависит от точки отсчета, — сказал я. — Например, моя мама с самого рождения считала меня человеком, а вас — инопланетянкой.

— Чувство юмора свойственно разумным существам, — неожиданно сообщила мне серьезная девушка. — На вашем месте животное не стало бы шутить.

— А чем вы занимаетесь? — спросил я.

— Сейчас разговариваю с вами.

— Я ни на секунду не ставил под сомнение ваше чувство юмора.

— Я художник. Я исторический художник.

— Вы изучаете старых художников?

— Ах, нет! Вам не понять! Я сама — старый художник.

— Потом я пойму? — спросил я.

— Потом вы поймете.

Другая девушка выбежала на лестничную площадку откуда-то из темного коридора.

— Что ты делаешь, Лиина? — пропела она сердито, словно не замечая меня. — Нас ждут.

— Прости, — сказала Лиина.

Она посмотрела на меня, прищурившись более обычного.

— Мне надо идти, — сказала она.

— Когда я вас увижу? — спросил я ее вслед.

Девушки уже убежали. Мне еще долго казалось, что я слышу сухое шуршание материи, схожей с шелком.

Оказалось, что я не заметил, как она была причесана и одета. Видно, она слишком быстро исчезла, я больше слушал, чем смотрел.

Покои, отведенные мне, были скромны и скудно обставлены. Очевидно, здесь никто не жил, комнату берегли для гостей. Густой паутиной затянуло темные углы и провалы между подушками на диванах. Никому не пришлось в голову вытереть пыль со стола и подмести пол. Я

прошел к небольшой двери, за которой, как надеялся, располагался туалет. От каждого моего шага небольшие клубы пыли поднимались с ковра.

Умывальник, представлявший собой неглубокий керамический чан, был пуст и пылен. Никакого крана к нему не вело.

Пожалуй, если этот Господин также встретит комиссара, его ставка на галактическую помощь бита. Неужели он этого не понимает? Не сам комиссар ему страшен — тот может и не обратить внимания на афронт, зато свита, советники и референты — мои дорогие коллеги не преминут сделать выводы. Никакой комиссар не переспорит своего штаба...

Пока я стоял посреди тесной туалетной комнаты, слышался грохот несущегося ко мне стада носорогов.

Я с опаской выглянул в большую комнату и увидел, как туда вбежала бригада тяжело вооруженных водопроводчиков или подобных им существ. Они тащили дымящийся котел с кипятком, а следом за первой бригадой водопроводчиков прибежали рабы или вельможи с щетками, швабрами и тряпками. Отшвырнув меня в угол, эта толпа занялась приведением в порядок моей опочивальни, отчего я чуть не задохнулся от пыли, будто снова очутился на Пустоши.

Я еще не успел прийти в себя, как всю эту братию как корова языком слизала. Я стоял посреди чистой комнаты, хлопья пыли медленно опускались на диваны, чтобы занять свои законные места, а из ванной тянуло густым паром.

И тут вошел Господин Тумана, разодетый, как на похороны Початка — главный здешний праздник. С удовольствием обзоревав мои покои, он произнес:

— А вас, как я погляжу, недурно устроили.

Он был фанфароном и демагогом. И хоть здесь митинги строго запрещены, я отлично представил его на трибуне митинга, выступающего за права матерей-одиночек либо отцов-алиментщиков и связывающего их судьбу с судьбами вселенской демократии.

— Спасибо, — сдержанно ответил я. К счастью, я не дипломат и в мои задачи не входит утряска, увязка и

сглаживание углов. — Но я не понимаю, зачем надо было проводить уборку в моем присутствии.

Господин печально улыбнулся.

— Ни на кого нельзя положиться, — сообщил он мне доверительно. — Когда дама Лиина сказала мне, что вы проследовали в опочивальню, я решил проверить, все ли готово. А мне сообщили, что скоро будет готово... Они, видите ли, решили, что вы приезжаете завтра!

И этот мерзавец рассмеялся, полагая, что провел меня.

— Лиины здесь не было, — сказал я.

— Дама Лиина видит сквозь стены, — сказал Господин, не скрывая издевательской усмешки. — Она уже далеко, но видит вас.

— Хорошо, — сказал я, стараясь сократить встречу, ведь я так и не успел умыться. — Первое, о чем мне хотелось бы вам сообщить...

— Не надо, не сейчас! — Он выставил перед собой короткую пухлую руку и растопырил пальцы, словно намереваясь собрать в горсть мое лицо. — Мы все обсудим после ужина.

— Но один вопрос... — настаивал я.

— Только коротко. Потому что вам хочется умыться.

— Меня, конечно же, не смущают такие апартаменты, — сказал я. — Но завтра приедет комиссар, один из наиболее уважаемых...

— Мы постараемся не ударить в грязь лицом, — сказал Господин. — Скоро начнется подготовка. Вот именно.

Он не хотел со мной говорить. Он тайлся... Впрочем, я не намеревался тешить себя надеждами на свою особую проницательность — известно немало смешных, а то и трагических случаев, когда самомнение авторитета из Галактического центра дорого обходилось окружающим. Какие обычаи и неведомые мне законы скрываются за усмешкой Господина?

— Будет построен замок. Или дворец. Мы нашли рисунки, привезенные с Земли. Мы надеемся, что земной дворец достаточно престижен для самого комиссара.

— Это лишнее, — сказал я. — Дворец — жилище короля.

— Лишнего не бывает. Когда речь идет о встрече такого человека.

Господин был доволен моей реакцией. Ему удалось меня удивить.

— Вы хотите посмотреть на чертежи? — спросил он. — Они уже готовы. Разумеется, не окончательные, но настоящие чертежи.

Я не успел ничего ответить, как Господин направился к выходу. От двери он обернулся и заявил:

— Через час вас ждут в моем рабочем кабинете. Там мы все увидим и все обсудим.

К счастью, вода в ванной — чане, в котором я смог поместиться, присев на корточки, — еще не остыла. К сожалению, они еще не изобрели мыла, а я не догадался взять его с собой. Вместо мыла они употребляли желтую скользкую глину. Глина пахла глухим подземельем. И трудно смывалась.

Через два часа меня ввели в кабинет Господина.

Кабинет был чуть больше моей опочивальни, так же устлан коврами, но обжит, завален рулонами бумаги, книгами, а также разного рода холодным оружием зловещего изысканного вида.

За низким письменным столом возвышался трон с резной спинкой. На нем восседал Господин Тумана, упреков взгляд в сидевших напротив него в ряд у стены старцев, облаченных в черные и синие тоги, расшитые геометрическими знаками и буквами.

Коротким выразительным жестом Господин Тумана указал мне место у стола на круглом табурете, и я подчинился. Тут же вошла знакомая мне дама Лиина в сопровождении двух молодых людей с длинными волосами, схваченными золотыми тесемками. Я только тогда подумал, что женские и мужские одежды у них не различаются — те же широкие, до пола тоги, скрывающие фигуру и развевающиеся при ходьбе.

Лиина сказала:

— Ты меня ждал, Господин?

— Мы ждали тебя, — согласился тот.

Лиина и молодые люди коротко поклонились старцам у стены. Старцы игнорировали приветствия.

Лиина развернула рулон, и молодые люди придавили его углы взятыми со стола кинжалами. На метровом квадрате бумаги был изображен сказочный замок — творение

гения Перро или скорее даже Гауфа — в нем сочетались элементы готики и восточной архитектуры в понимании ископаемого европейского эстета.

Высокие башни с коническими, чуть выгнутыми крышами поднимались над стенами, усеянными бойницами и узкими стрельчатыми окнами, — неясно, зачем нужны стены, если ты тут же пронзаешь их отверстиями. Ворота, арки и калитки у подножия стен и башен также были изысканны и капризны.

Скорее это было не архитектурное, а кондитерское произведение — гениальная фантазия сумасшедшего кондитера.

Господин Тумана склонил голову, снисходительно разглядывая картину, потом перевел взгляд на меня. Я понял, что он уже знаком с проектом.

Старцы в колпаках вытянули черепаший шеи, разглядывая картину.

В зале было тихо.

— Подойдет? — спросил меня Господин Тумана.

Я собирался пошутить, сказать что-то о кондитерском деле... и тут увидел, что у стены замка нарисованы путники, люди, — и тогда осознал размеры этого чудища. Не надо было прибегать к линейке, чтобы понять — башни замка достигнут в высоту ста метров.

— Это... существует? — спросил я.

Лиина смотрела на меня близорукими глазами — впрочем, что я знаю о близорукости в этих краях?

— Это будет возведено к приезду сюда уважаемого комиссара Галактического центра, — медленно произнес Господин Тумана. Каждое слово падало, как слон об асфальт с десятого этажа.

— Да, конечно, — согласился я, как соглашаются с балованным ребенком.

Вдруг заговорила Лиина. Заговорила уверенно, как хозяйка дома.

— Дело не в том, может это быть построено или нет, — произнесла она. — Дело в том, произведет ли это нужное впечатление на господина комиссара?

— Безусловно, — поспешил я с ответом. — Ничего подобного ему еще не приходилось видеть.

— Он испытывает уважение к нашему народу? — спросил Господин.

Они не шутили. Они попросту сошли с ума и пытались затянуть меня в это помешательство.

— Он испытывает уважение, — тупо повторил я.

Старцы покачивали бородами.

— Тогда мы приступаем к строительству, — сказал Господин. — Хоть нам нелегко будет построить этот дворец за одну ночь.

— За одну ночь?

— Комиссар прибывает завтра днем, — сообщил мне Господин Тумана. Видно, он решил, что я тоже сошел с ума.

Я промолчал. Потому что пришел к странному, но единственно возможному объяснению: строительство замка не является актом реальности, это некое ритуальное действие, подобно детской игре, по окончании которой будет вылеплена модель замка из песка и все начнут хлопать в ладоши, убежденные в том, что замок уже существует.

Не дождавшись моей реакции, Господин продолжил далее, словно все еще отвечал на мой вопрос:

— Подобное действо мой народ не совершал уже более сотни лет.

— Семьдесят три года, — неожиданно произнес басом один из старцев. — Я помню.

— Семьдесят три года, — согласился Господин. — Но тогда это был не замок.

— Нет, — заговорил другой старец. — Это был мост. Это был мост длиной в тысячу локтей через пропасть, которая образовалась, когда опрокинулась от землетрясения гора Малого Льва и Господин Тумана, ваш достойный дед, а также войско его остались по ту сторону пропасти в опасности быть настигнутыми и убитыми ордами Каравака.

— Ордами Каравака! — с отвращением воскликнул третий старец.

— Мы построили мост длиной в тысячу локтей над бездонной пропастью за одну ночь, — сказал Господин Тумана, глядя на меня, — и некоторые об этом помнят.

Я отвел взгляд. Я ничего не понимал, а в таких

случаях лучше не смотреть в глаза, чтобы не показаться агрессивным.

— Мы построим за ночь этот дворец, и обставим его, и украсим его коврами и картинами... Убери картину, дама Лиина. Начнешь в полночь.

— Слушаюсь, Господин Тумана, — сказала Лиина.

Она свернула рисунок и передала его одному из молодых людей.

— Тебя не интересует, как это будет сделано? — Господин был несколько задет моей пассивностью. Видно, ему приятней было бы, если бы я катался по полу и кричал, что дворец высотой в сто метров за ночь даже на цивилизованной планете построить невозможно. Не говоря уж о его убранстве и готовности принять первого Гостя из Галактического центра.

— У каждого народа свои обычаи, — ответил я.

— Ты хочешь сказать, что и на других планетах это возможно?

— Не знаю, — сказал я. — Я не бывал на многих из них.

— Ты лжешь! — обиделся Господин Тумана. — Я собрал всех магов и волшебников, всех колдунов и заклинателей моей планеты. — Он ткнул пальцем в сторону скамьи, на которой сидели старцы. Старцы послушно склонили бородатые головы.

— Разумеется, — согласился я.

— Я призвал на строительство шесть тысяч лучших каменщиков, ткачей, художников, камнетесов планеты...

— Разумеется!

— Да перестаньте говорить со мной, как с недоумком! Подойдите к окну!

Он первым дошел до окна и резким жестом раздвинул шторы.

За окном расстилалась громадная площадь, которая спускалась к широкой реке. На площади, собираясь в кучки, готовя пищу у костров, отдыхая, беседуя, подготавливая инструмент, существовало множество людей. Со стороны города и со стороны леса стягивались все новые группы людей.

— Это строители, — сказал Господин. — Они готовы начать.

— Сколько у вас длится ночь? — спросил я все еще в ожидании подвоха.

Господин снисходительно засмеялся.

— Как и у вас, — сказал он. — Как и у вас.

— Мы пойдем, — произнес самый старый из старцев. — Нам тоже следует подготовиться. Наши заклинания и движения должны быть точными.

Старцы по очереди поднимались со скамьи. Их тоги шуршали словно сухой шелк. Они кланялись Господину и мне и мелкими шажками уплывали из кабинета. Я не привык общаться с волшебниками, не знал, как себя вести. Я зеркально кланялся им — стараясь наклонять голову, как они.

— А теперь, — произнес Господин Тумана, — нам принесут пищу и мы будем говорить о пустяках.

Лиина осталась с нами. Мы прошли в соседнюю комнату, где был накрыт небольшой стол. За ним нас уже ждали три жены Господина, его взрослый сын и какой-то вельможа. Кормили нас кашей с приправами — я знал, что на Тумане в высоких домах не употребляют мяса. Потом принесли шипучий солоноватый, не очень вкусный напиток, и Господин сказал, что напиток будет мне полезен, потому что я устал. Мы обсуждали завтрашние дела. Обсуждение было мирным, понятным. Теперь, когда проблема с жильем для комиссара с точки зрения Господина утряслась, он старался выяснить у меня, до каких пределов Галактический центр может пойти навстречу его желаниям. Я старался не сказать лишнего и в то же время показывал, что ничего от него не скрываю. Лиина была печальна. Она вяло ковыряла в своей миске золотой ложечкой и рассеянно прислушивалась к рассуждениям Господина о пользе прогресса. Конец обеда я помню плохо — боюсь, что их зелье меня не взбодрило, а лишь усугубило усталость. Мне было душно, голова кружилась — так хотелось выйти на свежий воздух. Господин Тумана и его семейство — три толстые, так похожие друг на друга жены — проводили меня до выхода и уговаривали пойти поглядеть, как радеют волшебники. Я же не верю в волшебников, потому что на свете действует закон сохранения энергии и ничто не берется из ничего.

Я отказался от провожатых и от охраны — идти было

недалеко, а Лиина предложила показать мне дорогу. На это я согласился. По небу неслись быстрые луны, волосы девушки вспыхивали то голубым, то серебряным светом. На улице мне стало легче, но все равно хотелось спать.

Мне было грустно, что я настолько состарился, что могу думать о сне и усталости в обществе такой очаровательной женщины.

— Вы к нам надолго? — спросила она светски, потому что надо было говорить, а она не знала, как говорить с Посланцем Звезд.

— Я надеюсь, что пробуду здесь дня три, — ответил я. — Переговоры займут не меньше двух дней.

— Странно, — сказала Лиина. — Три дня. Из-за этого вся страна идет на такое испытание.

— Это вы придумали такой красивый замок? — спросил я.

— Вам понравилось? — Мой вопрос был ей приятен.

— Никогда еще не видел ничего подобного.

— Честно говоря, если бы я была свободна в своем выборе, — сказала Лиина, — я бы придумала куда более скромное сооружение, как наши старинные дворцы. Такой есть в Старой столице. Может быть, вас отвезут туда, в лес...

— Лиина, — сказал я, — я здесь чужой, и мне не все понятно. Но я знаю одно — нельзя построить такой дворец за ночь. Совершенно невозможно.

— Почему? — удивилась она. — Конечно же, можно.

— Сейчас вы будете говорить мне, что семьдесят три года назад...

— Так этот мост стоит по сей день! Вы можете завтра туда поехать. Это недалеко.

Я был сражен. Я стоял перед стеной. В близоруких глазах этой прекрасной женщины отражались сумасшедшие луны. Она не смеялась. Она в это искренне верила.

— Вы завтра встанете и посмотрите. Он будет виден из окна.

— Конечно, — капитулировал я.

Один раз на нашем пути в щель пересекающей наш путь улицы я увидел площадь, где должно было начаться строительство. Над площадью установили высокие фона-

ри, и люди, маленькие, как муравьи, деловито сновали по ней.

Затем мы миновали темную башню, над вершиной которой дрожало зеленое сияние. Изнутри башни, откуда-то снизу, доносилось низкое утробное жужжание.

— Там мудрецы, — сказала Лиина. — Они готовятся.

— Волшебники?

— Вы их видели. У Господина Тумана.

— А что они делают?

— Они думают... они заклинают. Чтобы все получилось правильно.

— Но если они заклинают, — я постарался призвать на помощь память о сказках моего детства, — зачем тогда все вы? Зачем рисовать проект, зачем собирать каменщиков и землекопов? Зачем все те люди на площади?

Зеленое сияние над башней стало ослепительно белым. Я зажмурился. Когда я открыл глаза, то увидел, как в небо уносится светящийся плазменный шар.

— Глупый, — сказала Лиина с мудростью юной ведьмы. — Разве вам непонятно, что мудрецы не могут делать вещи — построить дворец должна я сама.

— Как лягушка! — вспомнил я.

— Почему как лягушка? — Возможно, она не знала такого слова, но интуитивно она почувствовала в нем нечто принижающее.

— Это наша сказка. Старая сказка.

— Наш дворец — не сказка! Это очень важно понять!

Стараясь донести до меня всю серьезность ситуации, Лиина даже схватила меня за руку и дергала меня за пальцы в такт словам, словно подчеркивая их значение.

Мы остановились.

— Вот и ваш дом, — сказала Лиина. — Вам надо спать.

Она смотрела на меня с каким-то отчаянием, и ее ногти врезались мне в ладонь. Мне передалось ее состояние. Я не мог расстаться с ней.

— Мы пойдем ко мне? — спросил я.

— Почему?

— Потому что я не хочу, чтобы вы уходили.

— Как жаль!

— Не уходите.

— Я рада пойти к вам, — сказала Лиина. — Я хочу остаться с вами. Я ждала, но ко мне еще не пришел мой мужчина.

Может, это не было признанием в любви, но как признаются здесь? Во мне кипело смятение, я был во власти невнятности ощущений и рефлексов — я стремился к Лиине, но в то же время она казалась мне бесплотной, прозрачной, недостижимой...

— У нас нет времени, — сказала она, но в то же время она вела меня к дому, к моим дверям и с каждым шагом все более спешила. — Пожалуйста, мне так нужно...

И тут ударил колокол.

Звон его донесся сверху, с неба, из облаков, мне показалось даже, что от глубины и гулкости этого звучания приостановили свой бег луны и вздрогнула земля. Хватка пальцев Лиины сразу ослабла, будто ее ударили.

Она стояла рядом со мной, опустив руки.

— Что случилось? — спросил я, уже понимая, что случившееся необратимо.

— Мне пора. — сказала она.

— Но мы шли ко мне?

— Поздно.

— Ты придешь к ним потом... когда захочешь.

Слова мои звучали двусмысленно и неубедительно.

В городе происходило какое-то движение — словно на улицу вышли школьники и спешат в школу. Стоит ноябрь, и потому темно.

Она провела пальцами по моей щеке.

— Ты иди и спи, — сказала она. — Утром проснешься, и будет дворец. Такой, какого еще никогда не было. Я придумала его. Ты будешь рад за меня. А сейчас спи, спи... Ты же хочешь спать...

Она словно гипнотизировала меня. Сонливость навалилась на мои глаза невероятной тяжестью. Я готов был улечься и заснуть тут же, не доходя до двери. Лиина помогла мне — кажется, что это было так — помогла мне войти в дом.

Потом я нашел в темноте свою комнату и в ней, при свете лун, диван, накрытый колючим ковром... Я заснул.

Ничего мне не снилось. И ночь прошла мгновением.

Когда мгновение миновало, я очнулся.

Я лежал, еще не открывая глаз и вспоминая необыкновенный вчерашний день. Он сплетался из перехода через Пустошь, шумного толстого Господина Тумана и похожих на худых ворон мудрецов... И Лиина с ее сказочным и нелепым дворцом. И ночная прогулка, которая завершилась сценой из «Золушки» — впору искать у дверей потерянный ею башмачок.

А как же дворец для господина комиссара? Это не просто пустая выдумка — я вспомнил башню с зеленым сиянием над ней и суету муравьев на площади...

Я поглядел на часы. Половина десятого. Я долго спал.

Я подошел к окну. Шторы были раздвинуты, но за моим окном была лишь пустынная улица с глухими белеными стенами.

Мой дом был пуст, ни звука, ни движения. Обо мне забыли.

В умывальнике осталось немного чистой воды. Я умылся. На ладони были три красные точки — следы ее ногтей.

Я оттягивал выход из дома. Я не знал, что лучше — свершение дворца либо его отсутствие.

Наконец дальше стало невозможно тянуть время.

Я вышел на улицу.

Улица была пуста. Я сделал шаг на мостовую и тут же отступил назад — мимо быстро проехал экипаж, запряженный пони. Створки окошек были наглухо закрыты.

Я пошел по улице туда, где вчера заметил поворот к площади. Мои шаги гулко отдавались в пустоте улицы.

Стена замка перекрывала щель улицы и вторгалась в утреннее небо. Я побежал по улице к площади. С каждым шагом замок вырастал, он был белым, мраморным, легким и изощренно бессмысленным, но если на проекте он казался кондитерским чудом, то сейчас он был громаден и невесом — он был сродни облакам и сверкающим снежным вершинам. Разноцветные стекла перехватывали косые утренние лучи солнца и под причудливыми углами кидали их на площадь.

По мере того как я приближался к замку, занимавшему, как я понял, всю площадь, количество людей вокруг меня все увеличивалось — из домов выбегали зеваки, подтягивались экипажи и путники. У рва, окружающего замок, широким кольцом ожидали чего-то тысячи чело-

век. Вопреки ожиданию толпа была молчалива — от нее лишь исходил легкий шорох голосов.

Меня узнавали и расступались, чтобы пропустить.

Я достиг поднятого моста. Башни вознеслись уже выше возможного воображения — ничего более грандиозного в Галактике я не видел.

Замок был молчалив, ненаселен. Он еще ждал своих обитателей.

Мой мозг требовал объяснения, разум отказывался мириться с тем, что видели мои глаза, и, подходя к замку, я вертел головой в тщетной надежде увидеть Лиину, которая объяснит мне то, что, вернее всего, не поддается объяснению.

Лиины нигде не было.

Толпа колыхнулась — приближались крики и грохот железных колес.

Господин Тумана появился на боевой колеснице. Люди ринулись в стороны, толкаясь и сшибая друг друга — колеса повозки были снабжены острыми шипами.

Он увидел меня сразу. Словно ожидал увидеть именно здесь.

— Впечатляющее зрелище! — закричал он. — Я и не ожидал. Честное слово, трудно вообразить.

Господин прыгнул с колесницы.

— Теперь приступим к осмотру. Я рад, что вы будете со мной. Это знаменательный момент в истории всего нашего государства. Ведь признайтесь, что мало где такое возможно. А?

Он игриво ткнул меня в бок пальцем.

Стоявший на колеснице трубач пронзительно загудел.

Толпа онемела.

Подъемный мост медленно опустился, завис на секунду над землей и с глухим стуком упал. Тут же начали открываться кованые металлические врата.

Господин полез обратно на колесницу и позвал меня.

— Так надо, — сказал он. — Так гласят древние законы.

На колеснице было тесно — возникший, Господин, трубач и еще я. Лошади с трудом взяли с места.

Подковы четко звенели о торцы мостовой.

Внутренний двор замка был невелик — дворцу в нем

было тесно. Колесница смогла лишь развернуться перед подъездом. Сойдя с колесницы, мы пошли к высоким стеклянным дверям, которые при нашем приближении медленно растворились — два старых лакея в красных ливреях вытянулись, пропуская нас внутрь. Они были первыми людьми, которых мы увидели в замке.

Может быть, я жертва волшебства? Может быть, я проспал годы, а мне кажется, что прошла ночь? Я посмотрел на часы. Вчера было шестнадцатое. Часы показывали семнадцатое. Да и вся версия о сне могла прийти в голову лишь законченному идиоту, ведь не станет же комиссар ждать годами, пока ему подготовят жилье на Тумане.

Я ждал, когда увижу Лиину. Она откроет мне тайну, если тайна лежит в пределах моего понимания. Я боялся того, что понять ее не смогу. Как не смогу никогда осознать физический смысл бесконечности.

Я хотел спросить о Лиине, а спросил другое:

— А где ваши волшебники? Старцы?

— Их нет, — ответил Господин и не стал вдаваться в подробности.

Холл дворца был невероятно высок. Пожалуй, конструктивно Лиине не было смысла так поднимать потолок — впечатление на визитера это производило оглушающее.

Арки свода сходились на уровне облаков, и разноцветные стекла витражей создавали в воздухе скорее видимый, чем слышимый, перезвон детства. Голубь, залетевший в открытое там, в выси, окно, неспешными кругами осваивал новое пространство.

— Ну вот, — сказал укоризненно Господин. — Когда дождь пойдет, как закроете?

Один из лакеев ответил:

— Здесь предусмотрен подъемник для того, чтобы снимать пыль или мыть окна.

Господин уже шел к лестнице, которая вольными полукружьями раздвигалась, ведя на второй этаж.

Спеша за ним, я взялся за перила, и предупреждающий оклик лакея запоздал — на подушечках пальцев и ладони остались пятна белой краски.

— Можно было бы предусмотреть, — рассердился Господин Тумана. — А вы бы лучше смотрели, за что хватаетесь!

Я удивился раздражению в мой адрес.

Господин Тумана задрал тогу, под которой обнаружились широкие штаны, вытащил из кармана большой кружевной платок и кинул мне.

Платок белым скатом приплыл мне на руки.

— Так жаль, когда хоть пылинка падает на законченную работу, — сказал Господин, и я примирился с его раздражением.

Я вытер пальцы. Мы поднялись на второй этаж.

Заиграла музыка — она лилась сверху, но оркестра не было видно.

Открылись двери в главный зал — он был так же высок, как вестибюль, видно, размещался в соседней с ним башне. Стены были белыми в золотых узорах, по стенам были развешаны гигантские полотна, изображающие пейзажи, мозаичный пол искусно изображал морское дно.

Посреди зала стояла небольшая группа людей.

Господин Тумана быстро прошел к возвышению в торце зала, где стояло кресло.

Он уселся в кресло и, увидев, что я отстал, крикнул мне:

— Да скорее же! Идите сюда.

Группа людей потянулась к возвышению. Они шли молча.

Я прошел близко от них и понял, что все они бедняки. Именно таким было мое первое впечатление. Бедняки. Бедные несчастные люди. Поднявшись на возвышение, я оказался с этими людьми лицом к лицу.

И понял, откуда возникло это ощущение бедности.

Одежда этих людей являла собой крайнюю степень изношенности, как будто была протерта многолетним употреблением, штопана-перештопана, заплатана, но при том и дырява. То же было и с обувью... И волосы у этих людей были длинными, кое-как обрезанными. И седыми.

Все они были седыми, старыми, как сама смерть.

Даже Господин Тумана, лишенный сентиментальности, был, по-моему, поражен видом этих людей.

— И это все? — спросил он.

— Все, — ответил старик из первого ряда.

— А остальные? — спросил Господин и первым ответил: — Умерли.

— Умерли, — прошелестело в толпе.

— Это чудесный дворец, — сказал Господин и смахнул слезу, чему я был удивлен. Голос его прервался, словно слезы душили его. — Это лучший в мире дворец. Можно положить тысячу жизней, но не построить такого дворца. И пускай наш гость, — он смотрел на меня наполненными слезами глазами, — пускай он подтвердит, что никогда и нигде не видел ничего подобного.

Я сказал тогда:

— Я бывал на очень многих планетах, я посетил тысячу миров. И я клянусь вам, что подобного замка и подобного дворца нет нигде. И я думаю, что никогда не будет.

Старые бедняки молчали и не смотрели на меня.

— Вы слышали? — громко спросил Господин. — Сегодня прилетает сам комиссар Галактики, и он увидит, какой дворец есть на нашей планете. Так что теперь вы можете идти и отдыхать. У вас все будет — пока вы будете жить, у вас все будет.

И тогда я, обшаривая взором эти лица, озаренный черным светом понимания, кто они и почему они так бедны и стары, увидел наконец лицо Лиины. Она почему-то держала в старческой лапке измочаленный и почерневший от старости рулон с проектом дворца. Она высохла и была непохожа на вчерашнюю Лиину, но глаза остались прежними — если видеть только глаза.

Она не хотела узнавания. После первого проблеска радости от встречи наших взглядов она отвела глаза и сразу растворилась в кучке стариков и старух.

— Идите, — сказал Господин, — идите, помойтесь, отдохните. Вы можете выбрать одежду в моих кладовых.

Они пошли прочь. Покорно. Уже забытые. Я ждал, что Лиина обернется, а она не обернулась.

— Сколько их было? — спросил я.

Один за другим старики втягивались в открытые двери. И исчезали.

— Когда? — спросил Господин Тумана.

— Вчера вечером.

— Шесть тысяч. Если нужна более точная цифра, я ее для вас прикажу найти. Но сами понимаете... многие умерли. Но не от беды, не от случайности — от старости.

Я думаю, что не надо рассказывать господину комиссару о том, что этот замок построен за одну ночь.

Я согласился с Господином Тумана. Но он, словно не был уверен, правильно ли я его понял, пояснил:

— А то у вас будут думать, что мы можем делать такое всегда... Но у нас есть один мост, он был построен семьдесят три года назад, когда...

— Я помню.

— И этот дворец. А больше такого не будет. Ведь он строится раз в жизни.

Я знал, что все равно комиссар узнает об этом. Или узнают люди, сопровождающие его. Я сам могу проговориться.

Днем приехал комиссар. Он милый человек, мы давно с ним работаем вместе. Я тогда же, вечером, когда мы остались в каминной — схожей с готическим храмом, устланной коврами и шкурами зверей зале, — рассказал ему, что дворец был построен за ночь, что вчера еще — я сам уверен в этом — на месте дворца был пустырь.

Господин комиссар не поверил мне. Сначала не поверил. Может быть, потому, что в моем голосе не было уверенности. Может быть, потому, что я все равно подозревал себя в странном состоянии безумия.

На следующий день по холодку мы гуляли с комиссаром по городу. Город все еще был тих и словно задумчив.

— Наверное, многие, — сказал комиссар, и я понял, что он уже поверил мне, — за ту ночь потеряли близких. А если они возвратились... то это печальный парадокс.

Я услышал, как наверху скрипнуло. Я поднял взгляд. На втором этаже распахнулось окно, и оттуда к моим ногам упал ветхий рулон бумаги. Комиссар поднял его, а я смотрел вверх и увидел Лиину, которая сначала отшатнулась от окна, но затем вновь приблизилась к нему. Ее сухие сморщенные губы раздвинулись словно в улыбке, она хотела что-то сказать мне, но не сказала — я думаю, что в моем горестном взгляде она увидела нечто обидевшее ее. Но во мне не было желания ее обидеть.

Окно закрылось.

Комиссар протянул мне рулон.

— Это вам? — спросил он.

— Да, — сказал я. — Это первый проект вашего двор-

ца. Он был нарисован вчера. Его нарисовала девушка, и мы с ней гуляли вчера вечером по этому городу... Вы ее видели сегодня:

Мы шли молча. Город был пуст и печален.

— А давно вы впервые поцеловали девушку? — вдруг сердито спросил комиссар. — Давно выпили первый бокал вина, давно похоронили мать? Давно?

— Вы хотите сказать, что вчера? — улыбнулся я.

— Да. Я вчера стал комиссаром этой маленькой Галактики. Вчера!

Он говорил настойчиво и сердито.

— Но почему они согласились? — спросил я.

Комиссар отмахнулся. И пошел вперед. Не оглядываясь. Потом, дойдя до перекрестка, вдруг обернулся и крикнул мне:

— А вы возражали против собственного рождения? Против совершеннолетия? Против старости? Как возразишь, ну как, черт побери, возразишь, если еще не знаешь, что жизнь пролетает мгновенно?

Содержание

От автора	3
Усилия любви	5
Шум за стеной	7
Чечак в пустыне	24
Усилия любви	39
Из жизни дантистов	54
Петушок	62
Юбилей «200»	85
Хочешь улететь со мной?	101
Разум для кота	117
В одной лаборатории	123
Детективная история	127
...Хоть потоп	143
Обозримое будущее	158
Письма разных лет	169
Кому это нужно?	186
Рассказы из письменного стола	193
Морские течения	197
О страхе	203
Цветы	221
О возмездии	227
Пора спать!	237
Встреча тиранов под Ровно	243
Единая воля советского народа	252
Рассказы последних лет	267
Звенящий кирпич	273
Апология	279
Дискуссия о звездах	285
Старенький Иванов	299
Тебе, простой марсианин!	309
Тревога! Тревога! Тревога!	321
Последние сто минут	331
«Спасите Галю!»	341
Час полночный	363
Утешение	375
Первый день раскопок	388
Одна ночь	395

Кир Булычев
(Игорь Всеволодович Можейко)

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Серия «Взрослая фантастика»

Обозримое будущее

Составитель А.В. Алексеев
Художник К.А. Сошинская
Ответственный редактор Т.В. Бобрынина
Технический редактор А.Н. Аникеев
Корректор Л.М. Гусева
Оригинал-макет Л.И. Шмелева-Агинская, О.В. Новикова

Издательство «Хронос»
121099, Москва, а/я 880

Подписано в печать 01.06.95. Формат 84×108½. Бумага офсетная.
Объем 21,84 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 21,00. Печать офсетная.
Тираж 10 000. Заказ № 540. Цена договорная.

ПРИ УЧАСТИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АРМЭ»

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии издательства «Пресса»,
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Качество печати соответствует качеству диапозитивов,
предоставленных заказчиком.



